

Джон Ле Карре Наша Игра

Глава 1

Официально исчезновение Ларри было зарегистрировано в десять минут двенадцатого второго понедельника октября, когда он не явился на свою первую лекцию нового учебного года.

Я в состоянии вспомнить все сопутствовавшее этому весьма точно, потому что в этот день погода стояла такая же характерная для Бата, такая же гнусная, как и в тот день, когда я впервые затащил Ларри в эту провинциальную дыру. С этим днем у меня связаны грызущие мою совесть воспоминания об обитых грубыми досками барачных стенах, сомкнувшихся над ним, подобно стенам его нового узилища. И о юношеской спине Ларри, делающего шаг на цементный пол университетского коридора подобно человеку, шагающему навстречу своей Немезиде. Думаю, будь у меня сын, я вот так же смотрел бы ему вслед, впервые отведя его в начальную школу.

– Знаешь, Тимбо, – шепчет он через плечо, как он может делать, даже зная, что ты в нескольких милях от него.

– Да, Ларри?

– Вот это оно и есть.

– Что оно?

– Будущее. Когда все кончается. Остаток жизни.

– Наоборот, это только начало, – произнес я лояльно.

Лояльно по отношению к кому? К нему? К себе? К Конторе?

– Придется смириться, – сказал я. – Смириться нам обоим.

День его исчезновения был во всех отношениях столь же удручающ. Пересыщенный влагой туман стелился по серому университетскому кампусу и лип к металлическим рамам окон мрачной аудитории Ларри. Два десятка студентов сидели за столами перед пустой сосновой кафедрой ядовито-желтого цвета, изрядно поцарапанной. Тема его лекции была написана мелом на доске неизвестной рукой, скорее всего, рукой фанатично преданного ученика. «Карл Маркс в супермаркете: революция и современный материализм». По аудитории время от времени пробегал смешок. Студенты одинаковы по всему миру. В первый день семестра они готовы смеяться над чем угодно. Потом они притихли и только обменивались ухмылками, поглядывая на дверь в ожидании приближающихся шагов Ларри. Добросовестно прождав его ровно десять минут, они с чувством исполненного долга собрали свои тетрадки и авторучки и по неровному цементному полу коридора затопали в буфет.

За чашкой кофе выяснилось, что новички, как и можно было ожидать, обескуражены первой встречей с непредсказуемостью Ларри. В школе такого с нами не случалось *никогда!* Как же нам заниматься? Нам дадут тезисы! О Боже! Но ветераны, фанаты Ларри, только смеялись. Это Ларри, радостно объясняли они, в следующий раз Ларри будет говорить без передышки три часа, и вы забудете про ленч. Они строили догадки о том, что же могло задержать Ларри: тяжелое похмелье, внезапное любовное приключение, которые без числа приписывали Ларри, потому что в свои сорок с лишним он выглядел так, что в него можно было влюбиться: так и не ставший взрослым поэт, потерявшийся маленький мальчик.

Университетские власти новость об отсутствии Ларри приняли так же спокойно. Не из самых дружеских побуждений о нарушении распорядка через час коллегами по преподавательской было доложено наверх. Тем не

менее администрация выждала до следующего понедельника и только после следующей неявки профессора на лекцию сочла необходимым позвонить его квартирной хозяйке и, не получив от последней удовлетворительных сведений, сообщить в полицию Бата. Потребовалось еще шесть дней, чтобы из полиции пришли ко мне, – можете себе представить, в воскресенье, в десять вечера. У меня был не самый легкий день – я сопровождал автобус наших местных старичков на экскурсию в Лонлит – и довольно утомительный вечер, который я провел у немецкого виноградного прессы, прозванного моим покойным дядей Бобом «глупым Фрицем». И все же, когда я услышал их звонок в дверь, мое сердце упало, и я представил себе, что это Ларри стоит на моем пороге, смотрит своими обвиняющими карими глазами, улыбается своей заискивающей улыбкой и говорит: «Слушай, Тимбо, налей нам по большому стакану виски, и к чертовой матери всех баб».

Их было двое.

Шел проливной дождь, и им пришлось жаться друг к другу на крыльце, ожидая, когда я открою. Они были в штатском нарочито узнаваемого покроя. На ведущей к моему крыльцу дорожке стояла их машина, 306-я модель «пежо» с дизельным двигателем, до блеска умытая дождем, с надписью «Полиция» и обычным набором зеркал и антенн. В дверной глазок я видел их обращенные ко мне лица (шляп на них не было), превращенные оптикой во вздутые лица утопленников. Черты лица старшего были грубы, он был усат. Младший напоминал козла, а его продолговатый покатым лоб был похож на крышку гроба с пулевыми отверстиями маленьких круглых глаз.

Не надо спешить, говорю я себе. Выдержи темп. Хладнокровие – это умение выдерживать темп. Это твой дом, и на дворе ночь. Только после паузы я снисхожу до того, чтобы открыть им дверь. Окованную железом в семнадцатом веке дверь весом в тонну. Ночное небо беспокойно. Деревья тревожно шумят под порывами ветра. Несмотря на темноту, с карканьем все еще летают вороны. Днем вдруг повалил снег, и его серые остатки еще лежат на дорожке.

– Здравствуйте, – говорю я, – не стоит мерзнуть на пороге. Входите.

Моя прихожая, пристроенная к дому еще дедом, обилием стекла и красного дерева наводит на мысль об огромной кабине лифта и служит преддверием большого холла. С минуту мы все трое стоим в ней под бронзовой люстрой, не двигаясь ни вперед, ни назад и разглядывая друг друга.

– Это поместье Ханибрук, не так ли, сэр? – с улыбкой спросил усатый. – Снаружи мы не нашли таблички.

– Теперь оно называется Виньярд, – ответил я. – Чем могу быть полезен?

Хотя мои слова были вежливы, тон, которым они произнесены, вежливым не был. Это был тон, которым я обычно обращаюсь к нарушителям чужого землевладения: «Простите, чем я могу помочь вам?»

– В таком случае вы, должно быть, мистер Крэнмер, не так ли, сэр? – предположил усатый, все еще улыбаясь. Почему я называю выражение его лица улыбкой, сам не знаю: формально, будучи ласковым, оно было напрочь лишено и намек на юмор или доброжелательность.

– Да, Крэнмер – это я, – ответил я, сохраняя, однако, в своем голосе вопросительную интонацию.

– Мистер Тимоти Крэнмер? С вашего позволения, простая формальность, сэр. Надеюсь, это не затруднит вас?

Из-под его усов проглядывал вертикальный белый шрам. Операция по исправлению «заячьей губы», решил я. А может, кто-то пырнул горлышком разбитой бутылки: шрам был неровный и узловатый.

– Формальность? – повторил я с откровенным недоверием в голосе. – В это время суток? Только не говорите мне, что истек срок действия моих водительских прав.

– Нет, сэр, речь не о ваших водительских правах. Мы занимаемся делом доктора Лоуренса Петтифера из Батского университета.

Я снова позволил себе воспитательную паузу, потом нахмурил лицо, придав ему выражение, среднее между интересом и досадой.

– Вы имеете в виду Ларри? Господи, что он натворил на этот раз?

Вместо ответа на меня молча смотрели, и я продолжил:

– Ничего *плохого*, я надеюсь?

– Нам сказали, что с доктором вы знакомы, если не сказать, близкие друзья. Это соответствует действительности?

Даже, пожалуй, чересчур соответствует, подумал я.

– *Близкие?* – переспросил я, словно мысль о нашей близости была новостью для меня. – Не думаю, что мы продвинулись так далеко.

Разом они передали мне свои пальто и разглядывали меня, пока я пристраивал их на вешалку, а потом снова разглядывали, когда я открывал внутреннюю дверь. Большинство впервые попавших в Ханибрук на этом месте делают невольную почтительную паузу, увидев перед собой огромный обеденный зал с галереей для менестрелей, величественным камином, портретами предков на стенах и полукруглым сводом с геральдической эмблемой. Но только не усатый. И только не гробоголовый, до сих пор мрачно наблюдавший за нашим обменом мнениями из-за плеча своего старшего товарища, но теперь решивший обратиться ко мне невыразительным, монотонным и раздраженным голосом:

– Мы слышали, что вы и Петтифер были неразлучными друзьями, – возразил он, – мы слышали, еще с Вестминстерского колледжа. Вы учились там вместе.

– Да, три года. В детстве это большой срок.

– *Говорят*, что дружба, начавшаяся в частной школе, на всю жизнь. *Кроме того*, вы еще три года вместе учились в Оксфорде, – добавил он прокурорским тоном.

– Что случилось с Ларри? – спросил я.

Нахально оставленный ими обоими без ответа, мой вопрос повис в воздухе. Было похоже, что они колебались, заслуживаю ли я ответа. Наконец ответил старший, игравший, видимо, у них роль представителя по связям с общественностью. Его творческий метод, как я решил, заключался в том, чтобы строить из себя шута. А также в том, чтобы выдавать из себя сведения в час по чайной ложке.

– Да, ну, ваш друг доктор несколько *пропал*, сказать вам по правде, мистер Крэнмер, сэр, – сделал он признание тоном колеблющегося инспектора Плода. – Оснований подозревать розыгрыш нет, во всяком случае, на данном этапе. Тем не менее он отсутствует на своей квартире и на работе. И, как мы можем *констатировать*, – его нахмуренный лоб проиллюстрировал, насколько ему нравилось это слово, – он никому не написал прощальной писульки. Если, конечно, он не написал ее вам. Кстати, сэр, а он случайно не у вас? Наверху задает, так сказать, храпака?

– Разумеется, нет. Смешно даже подумать.

Его украшенные шрамом усы внезапно поднялись, продемонстрировав гнев и скверные зубы.

– Вот как? И чем же это я рассмешил вас, мистер Крэнмер, сэр?

– Если бы он был наверху, я сразу же сказал бы вам об этом. Зачем мне было бы тратить ваше и свое время, притворяясь, что его нет?

Снова он не удостоил меня ответом. Это у него хорошо получалось. Я начинал думать, что хорошо получались у него и другие вещи. Он сознательно играл на моем предубеждении относительно сотрудников полиции, которое я, правда, старался изжить. Частично это было классовое предубеждение, частично оно коренилось в моей прошлой профессии, где полицейских считали бедными родственниками. А частично оно было связано с самим Ларри, про которого в Конторе говорили, что ему не повезло оказаться в одном городишке с полицейским, которого следовало бы арестовать за воспрепятствование Ларри в исполнении служебных обязанностей.

– Однако, видите ли, сэр, похоже, что у доктора нет ни жены, ни соседа по квартире, ни вообще кого-нибудь близкого. – В голосе усатого звучала неподдельная скорбь. – Он пользуется высоким авторитетом у студентов, считающих его выдающейся личностью, но, когда заговариваешь о нем с его коллегами-преподавателями, наталкиваешься на то, что я назвал бы стеной молчания, за которой могут быть и неприязнь, и зависть.

– Он вольнодумец, – сказал я, – а в ученой среде этого не любят.

– Простите, сэр?

– Он не делает секрета из того, что думает. Особенно об ученой среде.

– К которой, однако, сам доктор принадлежит, – заметил усатый, с вызовом подняв брови.

– Он был сыном приходского священника, – неосторожно брякнул я.

– Был, сэр?

– Был. Его отец умер.

– Тем не менее он и сейчас сын своего отца, – с укором произнес усатый.

Его фальшивое благочестие начинало действовать мне на нервы. Вы считаете, словно говорил он мне, что такими мы, невежественные полицейские, должны быть: так вот же, я такой и есть.

Длинный коридор с акварелями девятнадцатого века ведет в мою гостиную. Я шел впереди, слыша их шаги за своей спиной. На моем стереопроекторе стоял Шостакович, но я не счел его соответствующим случаю и выключил. По долгу гостеприимства я налил три стакана нашего «ханибрукского красного» урожая 93-го года. Усатый пробормотал:

– Ваше здоровье, – выпил и сказал: – Просто поразительно, что это сделано прямо в этом доме, сэр.

Но его угловатый пристяжной протянул свой стакан к пылавшему в очаге огню, чтобы изучить цвет вина. Потом он сунул в него свой длинный нос и принялся. После этого пригубил с видом знатока и пожевал губами, разглядывая роскошный кабинетный «Бехштейн», купленный мной Эмме в припадке безумия.

– Похоже на пино, если я не ошибаюсь? – спросил он. – И очень много таннина, это уж точно.

– Это и есть пино, – сквозь зубы отозвался я.

– Я не знал, что пино вызревает в Англии.

– Он не вызревает. Разве что в исключительно благоприятных условиях.

– А у вас именно такой участок?

– Нет.

– Тогда зачем же вы выращиваете его?
– А я не выращиваю. Выращивал мой дядя. Он был неисправимый оптимист.

– Почему вы так говорите?

Я взял себя в руки. Почти.

– По нескольким причинам. Почва участка слишком богата, он плохо дренирован и расположен слишком высоко над уровнем моря. Мой дядя решил не обращать внимания на эти проблемы. Другие местные виноградники процветали, виноградник дяди нет, но он винил в этом случай и год за годом возобновлял свои попытки. – Я повернулся к усатому. – Возможно, мне будет позволено узнать ваши имена?

С должной степенью демонстрации замешательства они протянули мне свои удостоверения, но я рукой отвел их. В прошлом я сам размахивал столькими удостоверениями, в большинстве случаев фальшивыми. Усатый сказал, что он пытался по телефону предварительно договориться со мной о встрече, но обнаружил, что моего номера в телефонном справочнике нет. Поэтому, оказавшись поблизости по другому делу, они взяли на себя смелость обратиться ко мне лично. Я не поверил в эту историю. Номер их «пежо» лондонский. Туфли у них были городского фасона. Цвет лица у них был не сельский. Их звали, как они сообщили, Оливером Лаком и Перси Брайантом. Лак, гробоголовый, был сержантом, а Брайант, усатый, инспектором.

Лак произвел инвентаризацию моей гостиной: моих семейных миниатюр, моей мебели семнадцатого века в готическом стиле, моих книг – воспоминаний Герцена, военных трудов Клаузевица.

– А вы много читаете, – заметил он.

– Когда удастся, – ответил я.

– А языки не являются для вас препятствием?

– Одни являются, другие нет.

– А какие не являются?

– Я знаю немецкий, русский.

– А французский?

– Читаю.

Их глаза, обе пары, все время устремлены на меня. Интересно, видят ли нас полицейские такими же, какими видим себя мы? Напоминает ли им что-нибудь в нас их самих? Месяцев, проведенных мной в отставке, вдруг словно не стало. Я снова почувствовал себя агентом и задавался вопросом, видно ли это со стороны. И какую роль здесь играет Контора? Эмма, спрашивал я, нашли ли они тебя? Устроили тебе допрос? Заставили заговорить?

Четыре утра. Она сидит в своей студии на втором этаже за своим столиком розового дерева, еще одним моим экстравагантным подарком. Она печатает. Она печатала всю ночь, пианистка, пристрастившаяся к печатной машинке.

– Эмма, – умоляю ее я, стоя в дверном проеме, – зачем все это?

Ответа нет.

– Ты истязашь себя. *Пожалуйста*, иди спать.

Инспектор Брайант трет ладони друг о друга между своими коленями, словно человек, отделяющий зерно от шелухи.

– Итак, мистер Крэнмер, – говорит он с улыбкой-отмычкой на лице, – когда, осмелюсь спросить, вы в последний раз видели вашего друга доктора или беседовали с ним, сэр?

К ответу именно на этот вопрос я готовился день и ночь последние пять недель.

Но я ему не ответил. Твердо решив сбить его со следовательского ритма, я удержался в расслабленном тоне, так соответствовавшем атмосфере неторопливой беседы у камина.

– Вы сказали, что у него не было *соседа*, – начал я.

– Да, сэр?

– Так вот, кстати, – я рассмеялся, – у Ларри всегда был кто-нибудь под боком.

Лак вмешался. Грубо, невоспитанно. Он мог либо стоять на месте, либо мчаться сломя голову. Малого хода у него не было.

– Вы имеете в виду *женщину*! – выпалил он.

– Когда я знал его, у него всегда был их целый табун, – ответил я. – И не говорите мне, что к старости он дал обет безбрачия.

Некоторое время Брайант взвешивал мои слова.

– Да, именно такую репутацию он снискал себе сразу после переезда в Бат, мистер Крэнмер, сэр. Но сейчас ситуация, как мы обнаружили, несколько иная, не правда ли, Оливер? – Лак не стал отрывать взгляд от огня. – Мы подробно расспросили его квартирную хозяйку, и мы расспросили его коллег по университету. Осторожно, без лишнего шума. Естественно, что на этой ранней стадии нашего расследования лишний шум ни к чему.

Он перевел дыхание, и меня тронуло, насколько точно он скопировал скорбную мину своего до идиотизма успешного телевизионного прототипа.

– Начать с того, что первое время по переезде в Бат он вел себя именно так, как вы подразумеваете. Он часто посещал питейные заведения, он был равнодушен к хорошеньким студенткам, и, похоже, ни одна из них не устояла перед его чарами. Со временем, однако, в его поведении мы видим перемену. Он становится серьезен. Он перестает ходить на вечеринки. Многие вечера он проводит вне дома. Иногда и ночи. Меньше пьет. *Притих* – слово, которое произносилось то и дело. *Целеустремленность* – еще одно. В новых привычках доктора появилась, мягко говоря, скрытность, за стену которой, похоже, нам не проникнуть.

Вот это профессионализм, подумал я.

– Возможно, он наконец повзрослел, – беззаботно предположил я, но вложил, видимо, в эти слова больше чувства, чем собирался, потому что продолговатая голова Лака повернулась в мою сторону. На жилах его шеи переливались красные и оранжевые отблески огня камина.

– Насколько нам известно, последние двенадцать месяцев его единственным эпизодическим визитером был иностранный джентльмен, известный как «профессор», – продолжал Брайант. – Профессор чего и откуда – мы можем только гадать. Профессор никогда не гостил подолгу, он приезжал, похоже, без предварительного уведомления, но доктор всегда был рад ему. Обычно они брали из ресторана готовое мясо под соусом, упаковку пива. Виски тоже пользовалось успехом. Из квартиры доносился смех. Согласно нашему источнику, профессор явно был остроумен. Ночевал он обычно на диване и уезжал на следующий день. Весь багаж его состоял из одного небольшого чемодана, он весьма неприхотлив. Кошка, которая ходит сама по себе, так она окрестила его. Его имя никогда не упоминалось, по крайней мере при хозяйке: просто профессор, познакомьтесь с профессором. Кроме того, он и доктор беседовали между собой на очень иностранном языке и часто допоздна.

Я кивнул, стараясь продемонстрировать вежливый интерес вместо сжигавшего меня любопытства.

– Они говорили не по-русски, потому что квартирная хозяйка узнала бы этот язык: ее покойный муж, морской офицер, брал уроки русского, и она слышала русские слова. В университете мы навели справки, никто из официальных гостей университета этому описанию не отвечает. Профессор приезжал как частное лицо и как частное лицо уезжал.

Пятью годами раньше я иду по Хэмпстед-Хит, и Ларри идет рядом. Мы почти бежим. Когда мы вместе, мы ходим так всегда. И в лондонском парке, и по выходным на норфолкской базе Конторы ходим так, словно мы два бегуна, соревнующиеся и на отдыхе.

– Чечеев совсем помешался на мясе с соусом, – объявляет мне Ларри, – шесть месяцев только и слышу от него, что ягненок – это ягненок и что соусы стали ни к черту. Вчера вечером мы ходили к вице-королю Индии, так он набросился на виндалу из цыпленка и был на седьмом небе.

– Невысокого роста, на вид крепкого телосложения, – рассказывает Брайант, – по ее мнению, пятидесяти ему еще нет, с зачесанными назад черными волосами. Баки, густые усы с опущенными концами. Обычно в кожаной куртке и кроссовках. Цвет лица, по ее словам, *смуглый*, но кожа все же *белая*. Рябой, словно в детстве страдал от прыщей. Юмор у него какой-то сдержанный. Часто подмигивает. Словом, совсем не похож на профессоров, которых она видела. Как, никого вам это не напоминает?

– Боюсь, что нет, – отвечаю я, стараясь не слышать кричащий в голове голос: «Напоминает, напоминает!»

– И еще она назвала его *интригующим*, так, Оливер? Мы даже решили, что она, возможно, к нему равнодушна.

Вместо ответа Лак неожиданно обратился ко мне:

– А какие конкретно языки Петтифер знает, кроме русского?

– *Конкретно* я не знаю. – Лаку это не понравилось. – Он специалист по славянским языкам. Языки – его конек, особенно языки малочисленных народов. У меня сложилось впечатление, что он выучивал их шутя. Я думаю, что у него природный талант филолога.

– Он словно родился, уже зная их?

– Насколько я знаю, нет. Ему нравится их учить.

– Как и вам?

– Для меня это средство.

– А для Петтифера нет?

– У него нет нужды в нем. Я уже сказал, ему это нравится.

– Когда, по вашим сведениям, он последний раз ездил за границу?

– За границу? Господи, он путешествует не переставая. Это его любимое занятие. И чем глуше место, тем больше оно ему нравится.

– Когда это было в *последний* раз?

18 сентября, подумал я. *Когда еще? Когда была последняя, его самая последняя поездка, его самая последняя тайная встреча, его самый-самый последний смех?*

– Когда он в последний раз путешествовал, вы имеете в виду? – уточнил я. – Боюсь, я не имею об этом ни малейшего представления. Если бы я отважился на догадку, я просто-напросто направил бы вас по ложному следу. А вы не можете проверить по спискам пассажиров? Мне казалось, что теперь такие сведения заносятся в компьютер.

Лак посмотрел на Брайанта. Брайант посмотрел на меня, и его улыбка затянулась до пределов, поставленных ей его выносливостью.

– Ну что ж, мистер Крэнмер, сэр, с вашего позволения мы вернемся к моему первоначальному вопросу, – с предельной вежливостью в голосе сказал он. – *Когда* – это, без сомнения, ключевой вопрос. И с вашей стороны было бы исключительно любезно открыть нам наконец секрет и сообщить, *когда* вы в последний раз контактировали с исчезнувшим человеком.

Второй раз правда почти выплыла на поверхность. *Контактировал, хотелось мне сказать, контактировал, мистер Брайант! Пять недель тому назад, 18 сентября, у пруда в Придди, мистер Брайант! И контактировал так тесно, как вы и представить себе не можете!*

– Полагаю, что это было спустя некоторое время после того, как университет предложил ему постоянную должность, – ответил я. – Он был в восторге. Ему осточертели временные лекции и случайные журналистские заработки. Бат предлагал ему уверенность в будущем, о которой он мечтал. Он ухватился за это предложение обеими руками.

– И? – спросил Лак, для которого, судя по всему, беспощадность была добродетелью.

– И он написал мне. Он считал своим долгом фиксировать свои заявления письменно. Это и был наш последний контакт.

– Что именно там было написано? – спросил Лак.

Что Батский университет в точности таков, каким он был, когда я впервые привел в него Ларри: серый, пронизывающе холодный и пахнущий кошачьей мочой. Я перелопатил в своем мозгу глубоко зарытую там правду. Что он заживо гниет, начиная с головы, в этом мире без веры или антиверы. Что от Лубянки Батский университет отличается только тем, что в нем не смеются, и что во всем, как всегда, он винит лично меня. Подпись: Ларри.

– Что он получил письмо с официальным приглашением, что его радости нет пределов и что он хотел бы, чтобы все разделили его счастье, – ответил я вежливо.

– И *когда* точно это произошло?

– Боюсь, я не очень силен в датах, как я уже сказал. Если только они не относятся к винам.

– Это письмо у вас сохранилось?

– Я не храню старых писем.

– И вы ему ответили?

– Тотчас же. Когда я получаю личное послание, я поступаю так всегда. Не выношу, когда в папке приходящей корреспонденции накапливаются письма.

– Полагаю, что это закваска старого государственного служащего?

– Думаю, да.

– Так вы сейчас на покое?

– Спасибо, мистер Лак, но это что угодно, только не покой. Более занятым я не был никогда в жизни.

В ответ Брайант еще раз продемонстрировал свою улыбку и шрам под усами.

– Я полагаю, что речь идет о разнообразной и полезной общественной деятельности. Мне говорили, что мистер Крэнмер, сэр, среди соседей пользуется репутацией настоящего святого.

– Не соседей. Жителей деревни, – спокойно заметил я.

– Не говоря уж о церковной общине. Помощь престарелым. Деревенские каникулы для наших обездоленных детей городских кварталов. Дом и

поместье открыты для нужд пациентов местного дома престарелых. Я был потрясен, ведь правда, Оливер?

– Очень, – отозвался Лак.

– Так когда в последний раз мы *встречались* с доктором, сэр, лицом к лицу – забудем о нашем вынужденном обмене письмами? – вернулся к своей теме Брайант.

Я помедлил. Помедлил нарочно.

– Месяца три назад... или четыре? Или пять? – Я давал ему свободу выбора.

– Это произошло здесь, сэр? В Ханибруке?

– Он бывал здесь, да.

– Как часто, вы не могли бы припомнить?

– О Господи, с Ларри вы собьетесь со счета: он забегает, вы на кухне варите ему яйцо и выпроваживаете, и так за последнюю пару лет полдюжины раз. Может быть, восемь.

– А в *самый* последний раз, сэр?

– Вот я и пытаюсь вспомнить. В июле, вероятно. Мы решили устроить предварительную чистку винных бочек. Лучший способ избавиться от Ларри – дать ему работу. Он почистил бочки, съел хлеба с сыром, выпил четыре порции джина с тоником и был таков.

– Значит, в июле, – сказал Брайант.

– Думаю, да. В июле.

– А число не помните? Или день недели? Это было в выходной?

– Да, скорее в выходной.

– Почему вы так думаете?

– Не было рабочих.

– Мне показалось, что вы сказали «мы решили»?

– Дети некоторых из живущих в имении работников за фунт в час помогали мне, – ответил я, деликатно избегая упоминания Эммы.

– Так говорим ли мы о середине июля или речь идет о его начале или конце?

– Середина. Думаю, это была середина. – Я встал, скорее всего, чтобы продемонстрировать, как я спокоен, и устроил представление с исследованием календаря винодела, который Эмма повесила возле телефона. – Вот. Тетушка Мадлен, с двенадцатого по девятнадцатое. Моя старая тетушка гостила у меня. Ларри, по всему, приходил именно в этот уик-энд. Он заговорил мою тетку до головокружения.

Свою тетку Мадлен я не видел уже лет двадцать. Но, если они начнут разыскивать свидетелей, я предпочел бы, чтобы они отправились к тете Мадлен, а не к Эмме.

– Так вот, мистер Крэнмер, – лукаво начал Брайант, – *говорят*, что доктор Петтифер также весьма неумеренно пользовался *телефоном*.

Я весело рассмеялся. Мы вступали на еще одну трясину, и мне требовалось все мое самообладание.

– Не сомневаюсь, что говорят. И не без оснований.

– Вы наверняка что-то припоминаете, не так ли, сэр?

– Боже, ну конечно же, конечно, припоминаю. Были случаи, когда Ларри при помощи телефона превращал чью-нибудь жизнь в сущий ад. Он мог позвонить вам в любое время дня и ночи. Причем не вам одному, он обзванивал всех, чьи номера были у него в записной книжке.

Я снова рассмеялся, и Брайант засмеялся со мной, а пуританин Лак продолжал созерцать огонь.

– Каждый из нас встречал такого типа, не правда ли, сэр? – сказал Брайант. – Я зову их доморощенными трагиками, не в обиду им будь сказано. Они сами придумывают себе трагедию – будь то ссора с другом или подругой или проблема, покупать ли им занятый дом, который они только что увидели с крыши автобуса, – и не успокаиваются до тех пор, пока не доведут вас ею до белого каления. Я думаю, сказать по правде, что в мой дом их приманивает моя жена. У меня никогда не хватает терпения выслушивать их. Так когда доктор Петтифер допек вас этим последний раз?

– Чем этим?

– Своей трагедией, сэр. Тем, что я называю чепухой на постном масле.

– А, уже довольно давно.

– Несколько месяцев назад, да?

Я снова притворился, что роюсь в памяти. Есть два золотых правила поведения на допросе, и я уже нарушил их оба. Первое предписывает никогда не вдаваться в детали. Второе рекомендует прибегать к прямой лжи только в самых крайних случаях.

– Возможно, вы смогли бы припомнить сюжет этой «трагедии», сэр, чтобы мы легче могли датировать это событие? – предложил он таким тоном, словно в домашнем кругу приглашал сыграть партию в лото.

Передо мной стояла нешуточная дилемма. В моей предыдущей инкарнации считалось само собой разумеющимся, что в отличие от нас полиция мало пользуется микрофонами и «жучками». В своих по недоразумению именуемых тайными расследованиях они ограничивались расспросами соседей, продавцов и банковских клерков, но воздерживались от применения средств электронной слежки, которыми пользовались мы. Или нам казалось, что это так. Я решил вести себя так, словно идиллические времена еще не миновали.

– Насколько я помню, в том случае Ларри устраивал своего рода публичное прощание с леворадикальным социализмом и желал, чтобы в этой процедуре приняли участие и его друзья.

Сидевший у камина Лак держал свою длинную ладонь у щеки, успокаивая, очевидно, невралгическую боль.

– Мы говорим о *русской* разновидности социализма? – спросил он угрюмо.

– Да о какой угодно. Ларри собирался дерадикализироваться – такой термин он употребил, – и ему было нужно, чтобы друзья наблюдали за тем, как он будет делать это.

– А вы не могли бы точно датировать это событие, мистер Крэнмер, сэр? – подал голос Брайант с моего другого фланга.

– Это было пару лет назад. Нет, еще раньше. Он тогда подчищал свою анкету перед тем, как подать заявление о желании занять университетскую должность.

– Ноябрь девяносто второго, – сказал Лак.

– Прошу прощения?

– Если мы говорим о публичном отречении доктора от радикального социализма, то мы говорим о его статье «Смерть эксперимента», опубликованной в «Социалист ревью» в ноябре девяносто второго года. Доктор связал свое решение с анализом того, что он обозначил как подпольный континуум русского экспансионизма, будь то под царским, советским или теперь федеративным флагом. Он также писал там о новоявленном моральном догматизме Запада, который сравнивал с ранними коммунистическими общественными догмами, но лишенными

идеалистического фундамента. Пара его леворадикальных ученых коллег сочла эту статью изменническим актом. Вы тоже были того же мнения?

– У меня не было никакого мнения о ней.

– Вы не обсуждали ее с ним?

– Нет. Я просто поздравил его.

– Почему?

– Потому что он ждал от меня именно этого.

– Вы всегда говорите людям то, чего они ждут от вас?

– Когда речь идет о том, чтобы ублажать смертельно надоевшего мне человека, мистер Лак, и когда мне и дальше придется иметь с ним дело, то, скорее всего, да, – сказал я и рискнул бросить взгляд на свои французские куранты в остекленном футляре. Но Лак был не из тех, кого легко смутить.

– И ноябрь 1992 года, когда Петтифер *написал* эту знаменитую статью, это примерно то время, когда вы оставили свои прежние занятия в Лондоне, я правильно понимаю?

Мне не понравились параллели, которые Лак проводил между нашими с Ларри биографиями, и меня тошнило от его самоуверенного тона.

– Возможно.

– А вы одобрили его разрыв с социализмом?

– Вы спрашиваете о моих политических убеждениях, мистер Лак?

– Я просто подумал, что для вас знакомство с ним могло быть несколько рискованным во времена «холодной войны». Вы были на государственной службе, а он тогда, как вы только что сказали, был революционным социалистом.

– Я никогда не делал секрета из своего знакомства с Петтифером. Не было никакого криминала в том, что мы вместе учились в университете, или в том, что ходили в одну школу, хотя вы, похоже, думаете иначе. Этот вопрос никогда не возникал у меня на работе.

– Вы когда-нибудь встречались с кем-нибудь из его друзей из советского блока? С кем-нибудь из русских, поляков, чехов и так далее, с которыми он общался?

Я сижу в комнате на верхнем этаже здания нашей базы на Шепард-маркет на прощальной выпивке с советником по экономическим вопросам русского посольства Володей Зориным, в действительности главным резидентом наскоро переформированной русской разведывательной службы в Лондоне. Это последняя из наших полуофициальных встреч. Через три недели я ухожу из мира секретных служб и всех их секретных дел. Зорин – старый служака разведки времен «холодной войны» в звании полковника. Попрощаться с ним – для меня все равно что попрощаться со своим прошлым.

– Тимоти, дружище, так чем ты будешь заниматься остаток своей жизни? – спрашивает он.

– Круг моих занятий я сильно сокращу, – отвечаю я, – я буду читать Руссо. Меня не будут больше интересовать грандиозные идеи, я займусь своим виноградником и постараюсь сделать что-нибудь приличное в области миниатюры.

– Ты собираешься выстроить вокруг себя «берлинскую стену»?

– К несчастью, Володя, она уже стоит вокруг меня. Мой дядя Боб разбил свой виноградник в саду, огороженном стеной еще в восемнадцатом веке. Она замечательно усиливает заморозки и создает питомник для болезней лозы.

– Нет, доктор Петтифер никогда не вводил меня в круг знакомств такого рода, – ответил я.

– А он рассказывал вам о них? Кто они? Что у него с ними общего? Что за делишки они вместе прокручивали? Какие услуги друг другу оказывали, что-нибудь в этом роде?

– Делишки? Разумеется, нет.

– Сделки, взаимные услуги. *Поручения*, – со зловещим нажимом пояснил Лак.

– Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Нет, ничего подобного со мной он никогда не обсуждал. Нет, я не знаю, что они делали вместе. Трепались, скорее всего. Решали мировые проблемы между двумя стаканами.

– Вы не любите Петтифера, да?

– Я его ни люблю, ни не люблю, мистер Лак. В отличие, по-видимому, от вас я не испытываю потребности судить людей. Он мой старый знакомый, и, если не злоупотреблять дозой общения с ним, он забавен. Мое отношение к нему всегда было таким.

– Были ли у вас с ним серьезные ссоры?

– Ни серьезных ссор, ни серьезной дружбы.

– Не пытался ли Петтифер когда-либо вовлечь вас в свои дела в обмен на какую-нибудь услугу? Вы государственный служащий. Или были им. Возможно, ему требовалась ваша протекция или он хотел, чтобы вы замолвили за него где-нибудь слово?

Если Лак поставил себе целью надоесть мне, то он в этом преуспел.

– Ваше предположение абсолютно неуместно, – парировал я. – С равным успехом я мог бы спросить вас, берете ли вы взятки.

И снова с тщательно выверенным намерением вывести меня из равновесия Брайант поспешил мне на помощь:

– Простите его, мистер Крэнмер, сэр, Оливер еще молод. – Брайант сложил ладони шутливо-умоляющим жестом. – Мистер Крэнмер, сэр, *пожалуйста*, если бы я осмелился, сэр.

– Да, мистер Брайант?

– Мне кажется, что мы еще раз отвлеклись, ушли в сторону, сэр. По-моему, с этим у нас не все благополучно. Мы говорим о телефоне и вдруг оказываемся в прошлом, за двести лет от наших дней. Нельзя ли вернуться в *настоящее*, сэр? Когда состоялся ваш самый *последний* разговор с доктором Петтифером по электрическому телефону, употребим этот термин? Не затрудняйте себя темой разговора, просто скажите мне, когда он состоялся. Именно это меня интересует, и мне начинает казаться, что по каким-то причинам вы не хотите дать мне прямой ответ, из-за чего наш юный Оливер, собственно, и погорячился немного. Итак, сэр?

– Я все еще пытаюсь это вспомнить.

– В вашем распоряжении сколько угодно времени, сэр.

– С этим обстоит точно так же, как и с его визитами. О его звонках вы просто-напросто забываете. Для них он всегда выбирает время, когда вы по уши чем-нибудь заняты.

Любовью с Эммой, например, в те времена, когда любовь была в числе наших занятий.

– В какой газетной статье я встречал эту фамилию? Где я раньше видел этого недоумка, который нагло лжет сейчас с телеэкрана? Вот что случается с друзьями студенческих лет. То, что очаровывало четверть века назад, сейчас хуже чумы. Вы повзрослели. Ваши друзья – нет. Вы приспособились.

Они остались теми же. Сначала они превращаются во взрослых детей, потом начинают вызывать раздражение. Вот тогда-то вы и отключаетесь.

Блеск в глазах Лака нравился мне не больше, чем процеженные через усы хитрости Брайанта.

– Об отключении, сэр, – сказал Брайант. – Следует ли понимать вас буквально? Говорите ли вы об отключении вашего телефона? Вы не выдернули его вилку из розетки? Я спрашиваю об этом, мистер Крэнмер, сэр, потому что именно это, мне кажется, вы сделали первого августа этого года и после этого не возобновляли контакта с внешним миром полные три недели. После чего оформили новый номер.

К этому вопросу я был готов и с ответным ударом не стал мешкать. Ударом по ним обоим.

– Ну вот что, инспектор Брайант, и вы, сержант Лак. С меня хватит. То вы разыскиваете пропавшего человека, то через минуту начинаете задавать не имеющие к этому ровно никакого отношения вопросы о моих неэтичных контактах в то время, когда я был на государственной службе, о моих политических взглядах, о моей предполагаемой неблагонадежности и о причинах того, что я получил не включенный в справочники телефонный номер.

– Так почему вы получили его? – спросил Лак.

– Я подвергался преследованию.

– Со стороны кого?

– Никого, кто мог бы заинтересовать вас.

Наступила очередь Брайанта.

– Но если это так, сэр, то почему вы не обратились в полицию? Мы были бы рады помочь вам избавиться от нежелательных телефонных звонков, будь то звонки с угрозами или с непристойными предложениями. При содействии «Бритиш телеком», разумеется. Не было никакой нужды отгораживаться от внешнего мира на целых три недели.

– Звонки, которые я счел нежелательными, не содержали ни угроз, ни непристойностей.

– Вот как? Так что же они содержали, сэр, с вашего позволения?

– Их содержание вас не касается. Теперь они прекратились.

Я добавил второе объяснение там, где и одного было много:

– Кроме того, три недели без телефона – прекрасное лекарство для нервов.

Брайант порылся в своем нагрудном кармане и извлек из него блокнот в черном переплете, перехваченный резинкой. Сняв резинку, он развернул его у себя на коленях.

– Видите ли, сэр, мы с Оливером предприняли настоящее исследование телефонных звонков доктора, начиная еще с его появления в Бате, – объяснил он. – Нам очень повезло в том, что его телефон спарен с телефоном его квартирной хозяйки, а она настоящая шотландка. Каждый телефонный звонок с этого аппарата она фиксировала, записывая его время. Завел эту практику ее ныне покойный муж, командер Макартур, а она после его смерти продолжила его дело.

Брайант послушив палец и пролистал страницы.

– Что касается поступающих звонков, то доктору звонили много, и звонки, судя по звучанию голоса в трубке, часто были издали и нередко прерывались на половине. Весьма часто доктор говорил на иностранном языке, определить который она также не может. Но с исходящими звонками положение совершенно иное. Если говорить об исходящих звонках, то,

согласно миссис Макартур, самым главным телефонным собеседником доктора до первого августа этого года были вы. Только в мае и июне доктор протрепался с вами шесть часов двадцать минут.

Он сделал паузу, но я не стал прерывать его. Я отважился на блеф и проиграл. Я им льстил и кружился ужом, надеясь, что они удовлетворятся полуправдой. Но против так тщательно спланированной осады средства защиты у меня не было. Оглядываясь вокруг в поисках козла отпущения, я видел только Контору. Если эти кретины из Конторы знали об исчезновении Ларри, то какого черта они не сообщили мне о нем заблаговременно? Они должны были знать, что полиция станет разыскивать его. Тогда почему они не остановили их? А если они не могли остановить их, то почему бросили меня болтаться на ветру в полном неведении о том, кому что известно и почему?

Я на моем последнем приеме у Джейка Мерримена^[1], начальника отдела кадров. Он сидит в своем устланном коврами кабинете с видом на Беркли-сквер и талдычит про Колесо Истории, откусывая по половине жирного бисквита к чаю за раз. Мерримен так долго изображал из себя английского дурака, что теперь ни он сам, ни кто-нибудь другой уже не сможет сказать, кто же он на самом деле.

– Ты выполнил свой долг, Тим, старина, – причитает он своим занудным, бесцветным голосом. – Ты выдержал бури своего времени. От кого можно требовать большего?

– Действительно, от кого? – отзываюсь я.

Но Мерримен глух к чьей-либо иронии, кроме собственной.

– Они были, и они были опасны, но ты разнюхал о них кучу вещей, и вот они позади. Я имею в виду, что мы не скажем, что не было смысла сражаться, только потому, что мы победили, ведь мы не скажем так? Гораздо правильнее сказать: ура, мы всыпали им, коммунистическая собака издохла и зарыта, пора двигать на следующую вечеринку! – Удачность найденного сравнения он подтвердил похожим на свинячье взвизгивание смешком. – Не на банкет, а именно на маленькую вечеринку.

Перед погружением в чашку кофе была отломлена очередная порция печенья.

– Но меня на новую вечеринку уже не приглашают, не так ли? – заметил я.

Мерримен никогда не ошарашит вас плохой новостью. Он предпочтет вытащить ее клещами из вашей глотки.

– Да, мне кажется, что так, Тим, – соглашается он, сочувственно кивая своей мясистой головой. – Я хочу сказать, что за двадцать пять лет службы мозги настраиваются на определенный лад, ведь так? Мне вот пришло в голову, что тебе было бы гораздо лучше согласиться с тем, что ты свое отпахал, и поискать себе новый лужок. В конце концов, ведь ты же не какой-нибудь босьяк. В деревне у тебя отличное гнездышко, маленький кусочек твоей собственности. Твой дядя Роберт предусмотрительно умер, а не про всякого богатого дядюшку это можно сказать. Чего тебе еще?

В Конторе бытует поговорка, что с Меррименом следует быть осторожным, чтобы тебя не уволили по ошибке, вместо того чтобы дать ему время отловить тебя в его сачок.

– Я не считаю себя слишком старым для новых заданий, – заметил я.

– Сорокасемилетние участники «холодной войны» не подлежат вторичной переработке, Тим. Вы все чересчур натасканы на одно. Старые правила игры

слишком крепко сидят у вас в голове. Ты скажешь об этом и Петтиферу, ладно? Будет лучше, если он узнает об этом от тебя.

– Скажу ему конкретно что?

– Ну, я думаю, то, что я тебе сказал. Ведь ты не считаешь, что мы можем бросить его на борьбу с терроризмом, не так ли? Ты *знаешь*, кстати, во что он мне обходится? Одни только счета его адвокатов? Не говоря уже о его расходах, о которых ходят анекдоты?

– Поскольку его расходы оплачивает моя секция, да.

– И позволь тебя спросить, за что ему платить дальше? Черт побери, когда тебе надо убедить людей вступать в «Багдадское братство» или во что-нибудь в том же роде, тебе понадобится каждый закатившийся под шкаф пенни. А Петтиферы – это динозавры в сегодняшнем мире, согласишься со мной.

Как обычно, я начинаю выходить из себя слишком поздно:

– На Верхнем Этаже так не думали на последнем обсуждении его дела. Все сошлись на том, что нам следует подождать и посмотреть, какую новую роль Москва придумает для него.

– Мы ждали, и нам надоело ждать. – Через стол он протянул мне вырезку из «Гардиан». – Петтиферу нужна легенда, иначе с ним нас ждут неприятности. Я говорил с людьми из отдела трудоустройства. Батскому университету требуется лингвист, который также мог бы читать курс чего-то с названием «глобальная безопасность», что для меня сушая тарабарщина. Должность временная, но может стать постоянной. Главный у них работал раньше в Конторе и по отношению к Петтиферу настроен вполне благожелательно при условии, что тот подчистит свою репутацию.

– Я не знал, что в Бате *есть* университет, – проворчал он, словно об этом ему должны были доложить. – Наверное, один из бывших политехнических колледжей.

Это самый тягостный момент за двадцать с лишним лет нашей общей оперативной работы. Судьбе нравилось, чтобы мы сидели в машине, припаркованной на вершине холма. На этот раз это стоянка на вершине холма над Батом. Ларри сидит рядом со мной, погрузив лицо в свои ладони. За стволами деревьев мне видны серые стены университета, который мы только что осмотрели, и пара грязных круглых металлических дымовых труб, служащих его мрачным ориентиром.

– Так какие радости нам остались теперь в жизни, Тимбо? Шерри за ужином у декана и обшарпанная сосновая мебель?

– Это мирная жизнь, за которую ты воевал, – сдержанно говорю я.

Его молчание, как всегда, хуже его брани. Он поднимает руки, но вместо вольного воздуха они встречают железную крышу машины.

– Это же крыша над головой, – говорю я. – Полгода ты занят, но вторую половину можешь хоть на голове ходить. И это гораздо лучше, чем большинство других занятий на свете.

– Я не в состоянии подчиняться расписанию, Тимбо.

– А тебя никто и не просит.

– Я не хочу крыши над головой. И никогда не хотел. К черту это болото. К черту преподавателей, привязанную к инфляции пенсию и мытье машины по воскресеньям. К черту и тебя тоже.

– К черту историю, к черту Контору, к черту жить и к черту взрослеть, – продолжаю я за него его список.

И все же я не могу отрицать, что в моем горле стоит комок. Я кладу руку на его дрожащее горячее и потное плечо, хотя между нами не принято касаться друг друга.

– Послушай, – говорю я ему, – ты меня слышишь? Отсюда до Ханибрука тридцать миль. Каждое воскресенье ты можешь приезжать ко мне на ленч и чай и рассказывать мне про свою кошмарную жизнь.

Менее удачного приглашения мой язык еще не произносил.

Пришпиливая меня к стенке сведениями о телефонных беседах Ларри, Брайант обращался к своей записной книжке:

– Я вижу, что мистер Крэнмер, сэр, фигурирует и в списке поступающих звонков. Тут не *только* наши занятные иностранцы. Образованный джентльмен, всегда очень вежлив, говорит так, как говорят скорее на Би-би-си, а не простые люди, – так квартирная хозяйка описывает вас. Что ж, именно так и я описал бы вас с полным уважением. – Он послунывил палец и весело перелистал страницы. – А потом вдруг вы заявляетесь лично и оставляете доктора без единого шиллинга. Ну и ну. Ни входящих, ни исходящих звонков на целые три недели. То, что называется радиомолчанием. Вы захлопнули дверь перед его носом, вот что вы сделали, мистер Крэнмер, сэр, и мы с Оливером ломали себе голову над тем, почему вы так с ним поступили. Мы спрашивали себя, что происходило до того, как вы отгородились от него, и что прекратилось, как только вы это сделали. Ведь мы спрашивали себя об этом, Оливер?

Он продолжал улыбаться. Будь это моими последними шагами к петле, он, наверное, улыбался бы так же. И мой гнев против Мерримена я с удовольствием выплеснул на Брайанта.

– Инспектор, – начал я, собирая в кулак весь свой запал, – вы называете себя слугой общества. И тем не менее в воскресенье в десять вечера вы имеете наглость без ордера и без предписания заявиться ко мне в дом... вы двое...

Брайант уже поднялся с кресла. Его шутовской тон свалился с него, словно маска.

– Вы были очень любезны, сэр, и мы злоупотребили вашим гостеприимством. Я думаю, нас увлекла беседа с вами. – Он бросил свою визитную карточку на мой кофейный столик. – Вы позвоните нам, сэр, ладно? В любом случае: если он позвонит, напишет, объявится лично, вы услышите о нем что-нибудь от третьих лиц... – Его двусмысленную улыбку я готов был впечатать в его физиономию кулаком. – Да, и *на случай*, если доктор появится, не могли бы вы дать нам новый номер вашего телефона? Благодарю вас.

Пока он писал под мою диктовку, Лак еще раз огляделся по сторонам.

– Отличный рояль, – сказал Лак. Внезапно он оказался стоящим слишком близко ко мне и слишком высоким.

Я ничего не ответил.

– Вы играете, да?

– Когда-то про меня это говорили.

– Ваша жена в отъезде?

– У меня нет жены.

– Как и у Петтифера. Так в какой области, вы сказали, вы работали? В каком учреждении государственной службы? Я запомнювал.

– Я не называл учреждения.

– А что это было за учреждение?

– Я работал при казначействе.
– В качестве лингвиста?
– Не совсем.
– И вам это нравилось? Казначейство? Урезать государственные расходы, ограничивать пособия, отказывать в деньгах больницам? Мне, я думаю, это не понравилось бы.

Я снова оставил его слова без ответа.

– Вам следует завести собаку, мистер Крэнмер. Уединенное место, в случае чего никого не дозовешься.

Ветер стих. Дождь прекратился, оставив после себя низко стелящийся туман, в котором задние огни «пежо» казались праздничной иллюминацией.

Глава 2

Обычно я не склонен к панике, но в тот вечер я был близок к ней, как никогда. Кто из нас был их мишенью – Ларри или я? Или мы оба? Как много им известно об Эмме? Зачем Чечеев приезжал в Бат и когда, когда, когда? Эти полицейские искали не пропавшего чудака-ученого, ушедшего из дома на несколько дней. Они шли по следу, они чуяли кровь, они вынюхивали кого-то, кто будил их самые кровожадные инстинкты.

И за кем же, по их мнению, они гнались? За Ларри, *моим* Ларри, *нашим* Ларри? А что он *натворил*? Эти разговоры о деньгах, о русских, о сделках, о Чечееве, обо мне, о социализме, снова обо мне – как Ларри мог быть чем-нибудь иным, нежели тем, что мы из него сотворили: не имеющим цели революционером из английского среднего класса, вечным диссидентом, дилетантом, мечтателем, закоренелым нигилистом, жестоким, упрямым, похотливым, опустошенным неудачником, наполовину самим виноватым в своих неудачах, слишком умным, чтобы не опровергать доводы, и слишком упрямым, чтобы принимать не безупречно верное?

И за кого они принимали *меня* – за одинокого отставного чиновника, разговаривающего с самим собой на иностранных языках, занятого виноделием и изображающего из себя доброго самаритянина на своем благословенном соммерсетском винограднике? *Вам следует завести собаку.* Вот уж действительно! А почему они считают меня неполноценным только на том основании, что я один? Почему они вообще взялись за *меня*? Только потому, что Ларри или Чечеева им не достать? А Эмма, моя хрупкая Эмма, или не такая уж хрупкая Эмма, прежняя хозяйка Ханибрука, – как долго еще она будет вне поля их зрения? Я поднялся наверх. Нет, я взлетел туда. Телефон был рядом с моей кроватью, но, уже сняв трубку, я понял, что забыл нужный мне номер. Такого не случилось со мной ни разу даже в самых критических ситуациях моей жизни разведчика.

И зачем вообще я поднялся наверх? Вполне исправный аппарат был в гостиной, еще один в кабинете. Зачем же я бежал наверх? Я вспомнил одного занятого преподавателя на курсах, который изводил нас лекциями об искусстве прорыва осады. Когда человек в панике, говорил он, он бежит наверх. Люди стремятся к лифту, к любому выходу, ведущему вверх, но не вниз. К тому моменту, когда нападающие входят в здание, все не окаменевшие от страха находятся на чердаке.

Я сел на кровать. Опустил плечи, чтобы дать им отдых, покрутил головой для самомассажа, как советовал в воскресном приложении к газете какой-то гуру. Облегчения я не почувствовал. По галерее я прошел на половину Эммы, остановился у ее двери и прислушался, к чему – не знаю сам. К стуку ее машинки, отстукивавшей одно за другим очередное «неразрешимое

дело»? К ее прерывистому шепоту в трубку, продолжавшемуся до тех пор, пока я не отключил телефон? К ее первобытной африканской музыке, записанной в самых отдаленных уголках – в Гвинее и Тимбукту? Я подергал дверную ручку. Дверь была заперта. Мною. Я прислушался снова, но входить не стал. Боялся ли я ее призрака? Ее прямого, обвиняющего, нарочито невинного взгляда, словно говорившего: берегись, я опасна, я до смерти запугала себя и теперь запугаю тебя? Уже собравшись вернуться на свою половину, я постоял у широкого низкого окна и поглядел на далекие контуры обнесенного стеной сада, подсвеченного рассеянным светом теплицы.

В Ханибруке теплое воскресенье позднего лета. Мы вместе уже шесть месяцев. Сегодня с утра первым делом мы вместе в разливочном помещении, где великий винодел Крэнмер, затаив дыхание, измеряет содержание сахара в ягодах нашей Мадлен Анжвин, еще одного сомнительного приобретения дяди Боба. Мадлен капризна, как любая другая женщина, объяснил мне заезжий французский эксперт, постоянно подмигивая и кивая головой: сегодня она созрела и готова к сбору, а завтра момент уже упущен. Я благоразумно не переносу это объяснение явно озабоченного сексом эксперта на поведение Эммы. Я молюсь о семнадцати процентах, но и шестнадцать будут означать неплохой урожай. В легендарном 1976 году дядя Боб намерил потрясающие двадцать процентов, но потом английские осы взяли свое, а английские дожди – остальное. Эмма следит, как я нервно подношу рефрактометр к свету.

– Почти девятнадцать процентов, – объявляю я наконец тоном, который больше пошел бы великому полководцу перед решающим сражением. – Через две недели будем собирать.

Сейчас мы бездельничаем в огражденном стеной винограднике среди нашего винограда, уверяя себя, что наше присутствие помогает ему дозреть. Эмма сидит в качалке и выглядит, как женщины на полотнах Ватто: широкополая шляпа, длинная юбка, расстегнутая навстречу солнцу блузка; я поощряю ее к этому. Она потягивает из стакана пимм и читает нотные листы, а я наблюдаю за ней, что хотел бы делать весь остаток моей жизни. Этой ночью мы занимались любовью, а сегодня после нашей церемонии измерения сахара мы займемся ею опять, как я могу судить, если не обманываю себя, по блеску ее кожи и выражению ленивого удовольствия в ее глазах.

– Полагаю, что, если нам удастся собрать достаточно народа, мы управимся со сбором за один день, – храбро заявляю я.

Она с улыбкой переворачивает страницу.

– Дядя Боб делал ошибку, приглашая друзей. Ни какого толку, напрасная трата времени. Настоящие деревенские жители соберут тебе за день шесть тонн. В крайнем случае, пять. А с посторонними нам не собрать здесь и трех.

Она поднимает голову, но ничего не говорит. Я делаю из этого вывод, что она снисходительно смеется над моими земледельческими фантазиями.

– И я думаю, что если мы заполучим Теда Ланксона и двух девиц Толлер и если Майк Эмбри не будет занят на вспашке, да еще два сына Джека Тэплоу после церковного хора окажутся свободны и смогут прийти, – в обмен на нашу помощь в подготовке к празднику урожая, разумеется...

Выражение скуки пробегает по ее молоденькому личику, и я пугаюсь, что надоел ей. Ее брови морщатся, ее рука поднимается, чтобы застегнуть блузку. Потом я с облегчением понимаю, что дело просто в звуке, который

она услышала, а я нет: ее музыкальный слух начинает различать звуки раньше моего. Потом и я слышу его: это сопение и тарахтенье машины-развалюхи на подъеме. И я сразу узнаю, чья это машина. Мне не приходится долго ждать, чтобы знакомый голос, никогда не громкий, но и не настолько тихий, чтобы не быть услышанным, произнес:

– Тимбо, Крэнмер, привет! Какого черта ты прячешься, старина?

После этого, потому что Ларри всегда вас отыщет, ворота обнесенного стеной виноградника распахиваются, и он появляется в них, худощавый, в не очень чистой рубашке, мешковатых черных брюках и безобразных ботинках из оленьей кожи, с фирменным петтиферовским чубом, живописно свисающим на его правый глаз. И я сознаю, что почти через год, когда я уже начал верить; что больше его не увижу, он заявился на первый из обещанных мной воскресных ленчей.

– Ларри! Это фантастика! Боже мой! – восклицаю я. Мы жмем друг другу руки, потом он, к моему удивлению, обнимает меня, и его художническая щетина царапает мою чисто выбритую щеку. За все то время, что он был моим агентом, он ни разу не обнял меня. – Восхитительно! Наконец-то ты приехал! Эмма, это Ларри.

Теперь я держу его руку, и это тоже ново для меня.

– Бог послал нас обоих сначала в Винчестер, потом в Оксфорд, и с тех пор мне никак не удастся избавиться от него. Так, Ларри?

Сперва он, похоже, не может сфокусироваться на ней. Он мертвецки бледен, и в его глазах неистовый блеск, который он называет блеском Лубянки. Судя по его дыханию, он еще не протрезвел после всенощной попойки, скорее всего, с университетскими привратниками. Однако, как всегда, по его виду этого не скажешь. С виду он – преданный науке утонченный дуэлянт, которому на роду написано умереть молодым. Он встает перед ней, критически откинув назад голову и изучая ее. Костяшками пальцев он потирает свой подбородок. Он улыбается своей плутоватой самоуничижительной улыбкой. Она улыбается в ответ, тоже плутовато, причем шляпа скрывает в таинственной тени верхнюю половину ее лица: прием, отлично ею освоенный.

– Вот это да! – счастливым голосом воскликнул он. – Повернись-ка, красotka, повернись! Кто она, Тимбо? Где ты откопал ее?

– Под лопухом, как Дюймовочку, – гордо ответил я.

Возможно, этот ответ и не удовлетворил Ларри, но для меня он прозвучал куда лучше, чем «в приемной психиатра в Хэмпстеде вечером в одну дождливую пятницу».

Потом две их улыбки соединились и осветили друг друга: ее насмешливая и его, вероятно, из-за ее красоты, на мгновение утратившая уверенность в том, что будет принята. Однако все равно это была общая улыбка признания, даже если она не знала, что она признает.

Но я это знал.

Я был их брокером, их посредником. Больше двадцати лет я направлял поиски Ларри, как я сейчас направляю поиски Эммы, защищая ее от того, с чем она слишком часто сталкивалась в прошлом, и от клятв, которых она не хочет снова. Однако, наблюдая за тем, как два моих искателя приключений приглядываются друг к другу, я понимаю, что буду забыт тотчас же, как сделаю шаг из круга.

– Ей ничего не известно, – говорю я Лари настолько твердо, насколько я в состоянии, когда мне удастся оттащить его одного на кухню. – Я специалист

министерства финансов в отставке. Ты тоже. Строго держись, пожалуйста, этого. И никаких подтекстов. Договорились?

– Ты все еще живешь старой ложью, да?

– А ты нет?

– О да, конечно. Всю дорогу. Так кто же она?

– Что ты имеешь в виду?

– Что она здесь делает? Она вдвое моложе тебя.

– И вдвое моложе тебя тоже. Без трех лет. Она моя девушка. Как, потвоему, что она тут делает?

Он лезет в холодильник, где рассчитывает найти сыр. Ларри всегда голоден. Иногда я спрашиваю себя, что бы он ел все эти годы, если бы не был моим агентом. Местный чеддер приходится ему по вкусу.

– Где тут у тебя чертов хлеб? И пиво, с твоего разрешения. Сначала пиво, потом спиртное.

Он учуял ее, думаю я, разыскивая его чертов хлеб. Его нюх сказал ему, что я живу не один, и он приехал выяснить.

– Да, на днях я видел Диану, – бросает он нарочито беззаботным тоном, которым он всегда говорит о моей бывшей жене. – Помолодела на десять лет. Шлет тебе привет.

– Это что-то новое, – отвечаю я.

– Ну, не очень многословный. Но со *значением*, как всегда бывает у любящих по-настоящему. Та же прежняя нежность в глазах всякий раз, когда упоминается твое имя.

Диана до сих пор его главное тайное оружие против меня. Когда она была моей женой, он стирал ее в порошок своими насмешками, но теперь он вдруг вспылал к ней братской любовью и вспоминает о ней всякий раз, когда считает, что это может досадить мне.

– *Слышала* ли я о нем? – возмущенно говорит Эмма вечером того же дня, оскорбленная даже тем, что я задал этот вопрос. – Дорогой, да я выросла у ног Лоуренса Петтифера. Нет, не в буквальном смысле, конечно. Но метафорически он с отрочества был для меня *богом*.

Итак, как это частенько случается, я снова узнаю о ней что-то новое. Несколько лет назад (в натуре Эммы – у меня даже чешется язык назвать это профессиональной чертой – быть неточной) она решила, что просто музыки для нее мало и что ей надо пополнить свое образование. И, вместо того чтобы отправиться на фестиваль альтернативной музыки в Девон («который, если говорить честно, Тим, теперь превратился в сплошной концерт Тай Чи и его последователей», объяснила она мне с презрительной усмешкой, которая, однако, ни капли меня не убедила), ее занесло на летние вводные курсы политики и философии в Кембридже. «И в радикальных теориях, которыми я, естественно, больше всего интересовалась, Петтифер практически *во всех* вопросах был *непререкаемым* авторитетом».

Ее руки явно не находят себе места.

– Я имею в виду его статьи «Художник и бунт» и «Бесплодная пустыня материализма»...

Ее красноречие внезапно иссякает, и, поскольку названия она произносит правильно, но дальше них не идет, у меня возникает довольно безжалостное сомнение, читала ли она его статьи или только слышала о них.

После этого с негласного согласия нас обоих тема Ларри снимается с обсуждения. На следующее воскресенье мы чистим «глупого Фрица» и готовим его к битве. За всеми этими занятиями я вслушиваюсь, ожидая услышать тарактенье развалюхи Ларри, но оно так и не материализуется.

Однако спустя еще неделю Ларри, неумолимый, как рок, и столь же неожиданный, появляется, на сей раз во французской крестьянской куртке, в своей рваной винчестерской соломенной шляпе для катания на лодках, которая у нас тогда называлась «слоеной», и с повязанным на шею грязным красным платком, концы которого мотаются из стороны в сторону.

– Отлично, чудесно. Очень занятно, – предупредил я его без своих обычных церемоний. – Но имей в виду, что если ты берешься собирать виноград, то будь добр-таки действительно собирать его.

И, разумеется, он делает это спустя рукава. В этом весь Ларри. Когда ему говоришь направо, он идет налево, когда говоришь налево, он начинает ухлестывать за твоей девицей. Три недели спустя ферментация закончена, и мы сливаем вино с закваски в качестве прелюдии к грубому фильтрованию. К этому времени я уже автоматически накрываю стол на три прибора; для Крэнмера, для Эммы и для метафорического бога, у ног которого она с детства сидела.

Я сбежал вниз, в мой кабинет, и отыскал свою записную книжку. Имени Мерримена там нет, но я и не ищу его. Я ищу Мэри, это моя кличка для него, коренящаяся в моей нелюбви к однообразию. Эмме, я уверен, никогда не приходила в голову мысль порыться в моей записной книжке. Но если такая мысль пришла бы ей в голову, то вместо Мерримена она нашла бы женщину по имени Мэри, которая живет в Чизвике и имеет офис в Лондоне. Ларри, напротив, не видел ничего зазорного в чтении моей, да и любого другого, частной переписки. Но кто посмел бы осудить его за это? Если вы поощряете человека притворяться и обманывать, вам остается пенять только на себя, когда он обращает свое искусство на вас и крадет ваши секреты и все остальное, что у вас есть.

– Алло, – отзывается женский голос.

– Это 66-96? – спрашиваю я. – Меня зовут Артур.

Я назвал ей вовсе не ее телефонный номер, а свой личный код. Было время, когда такие игры мне нравились.

– Да, Артур, что вам нужно? – спрашивает она, растягивая гласные на манер младших членов королевской семьи.

Мне приходит в голову, что мой код содержит указание на то, что я уже в отставке, а не на действительной службе. И что отсюда ее непроницаемый тон, потому что по определению от пенсионеров можно ждать только хлопот и неприятностей. Я представил ее себе высокой, с лошадиной внешностью, лет тридцати с лишним и с именем вроде Шины. Было время, когда на Шин я смотрел, как на становой хребет Англии.

– Пожалуйста, я хотел бы поговорить с Сидни, – ответил я, – если это возможно. Собрался еще вчера.

Под Сидни подразумевается Джейк Мерримен, под Артуром – Тим Крэнмер, он же Тимбо. Своим именем никто не пользуется. Какая польза нам от этого шпионского балагана? А сколько вреда принесли нам эти вечные прятки? Писк. Щелчок. Отзвуки загадочной беседы компьютеров сначала между собой, потом с Господом Богом.

– Сидни перезвонит вам через пару минут. Оставайтесь там, где вы сейчас.

И со щелчком она исчезает.

Но где же я сейчас нахожусь? Откуда Сидни знать, как меня найти? Потом я вспоминаю, что вся эта суeta с прослеживанием телефонного звонка отошла в прошлое вместе с нашим старым зданием. Номер моего телефона,

скорее всего, появился у нее на экране ещё до того, как она сняла трубку. Ей известно даже, с какого из своих аппаратов я звоню: *Крэнмер у себя в кабинете... Крэнмер почесал свою задницу... Крэнмер умирает от любви... Крэнмер – анахронизм... Крэнмер думает, что перед лицом вечности человеческая жизнь – мгновение, и пытается вспомнить, где он это вычитал... Крэнмер снова поднимает трубку...*

Пустота, после которой снова электронные шорохи. Свою речь я подготовил. Я подготовил свой тон, отстраненный, без внешних эмоций, которые Мерримен не одобряет. Без малейшего намека на то, что еще один отставник пытается уговорить взять его обратно в штат, типичное желание отставников. Я слышу наконец – что Мерримен берет трубку, и начинаю извиняться за то, что звоню воскресной Ночью, но его эта тема не интересует.

– Что там у тебя за дурацкие игры с телефоном?

– Какие игры? Никаких игр.

– Я с пятницы пытаюсь до тебя дозвониться. Ты сменил номер. Какого черта ты не поставил нас в известность?

– Я подумал, что найти мой новый номер не составит для вас труда.

– Это в выходной-то? Ты шутник.

Я закрываю глаза. Британская разведка должна ждать до понедельника, чтобы достать не включенный в справочник номер? Расскажите это в последнем из ненужных контрольных комитетов, задача которых следить за тем, чтобы на выделенные нам деньги мы работали эффективно, ответственно и – вот шутка из шуток – открыто.

Мерримен спрашивает, были ли у меня из полиции.

– Инспектор Перси Брайант и сержант Оливер Лак, – отвечаю я. – Они сказали, что они из Бата, но мне показалось, что они из основной труппы.

Наступает молчание, в течение которого он консультируется со своей записной книжкой, со своими коллегами или, насколько я знаю, со своей мамашей. Находится ли он в Конторе? Или в своем любимом Чизвикском клубе, от которого до Темзы расстояние, которое пудель проходит не помочившись?

– Самый ранний срок для меня – три пополудни, – говорит он таким тоном, каким мой дантист спрашивает у невыгодного пациента, записывая его на прием вместе с выгодным: *а у вас действительно болит?* – Ты знаешь, я надеюсь, где мы теперь помещаемся? Не заблудишься?

– Я всегда могу спросить полицейского, – отвечаю я.

Он не находит мою шутку удачной.

– Подойдешь к главному входу. Не забудь свой паспорт.

– Свой что?

Но он уже повесил трубку. Я пытаюсь взять себя в руки: успокойся, ты беседовал не с Зевсом. Это всего-навсего Мерримен, легковеснейший из обитателей Верхнего Этажа. Будь он еще чуть легковеснее, он улетел бы через крышу, как шутили у нас в Конторе. Неумение Джейка вести себя в кризисных ситуациях было его ахиллесовой пятой. Кроме того, что необычного в исчезновении Ларри? Беда была только в том, что в дело вмешалась полиция. Сколько раньше было случаев, когда Ларри пропадал? В Оксфорде, когда он решил на велосипеде прокатиться в Дели, вместо того чтобы готовиться к предварительным экзаменам. В Брайтоне, когда вместо первой тайной встречи с русским курьером он предпочел надраться до чертиков со своими приятелями-алкашами из бара «Метрополя».

Три утра. С моим агентом Ларри, у которого еще только режутся молочные зубы, мы сидим в машине, припаркованной на вершине еще одного холма, на этот раз в Суссекской низине. Под нами огни Брайтона, за ними море. Звезды и полумесяц делают картину сказочной.

– Я не вижу цели, Тимбо, дружище, – протестующе говорит Ларри, близоруко глядя сквозь ветровое стекло. Он все еще мальчишка, его профиль напоминает профиль Питера Пэна^[2] – длинные ресницы и полные губы. Его беспокойные метания и стремление к высоким целям в значительной мере обеспечили ему успех у его советских собеседников. Они не поняли – да и откуда им понять? – что их последнее приобретение моментально совершит поворот на 180 градусов, если его постоянная жажда деятельности не получит удовлетворения, что Ларри Петтифер предпочтет увидеть мир летящим в тартарары, чем застывшим в покое. – Ты выбрал не того парня, Тимбо. Тебе нужно меньше человеческого. И больше дерьма.

– На, съешь еще, Ларри, – говорю я, протягивая ему кусок пирога. – И запей лимонным соком.

Я так говорю, потому что совершаю преступление всякий раз, когда он начинает проявлять слабость. Я уламываю его, размахивая перед его носом этим дурацким флагом долга. Я разыгрываю из себя «идеального начальника», как я разыгрывал его в школе, когда Ларри был бунтующим пасторским сыном, а я – царем вавилонским.

– Ты можешь меня выслушать?

– Я тебя слушаю.

– Ты не забыл, что это называется службой? Ты занят чисткой политических сточных канав. Это самая грязная из работ, которые предлагает демократия. Если ты хочешь, чтобы ее делал кто-то другой, мы тебя пойдем.

Долгое молчание. В пьяном виде Ларри никогда не бывает дураком. Иногда пьяный он куда пронзительней, чем трезвый. И я ему польстил. Я предложил ему благородный, но трудный путь.

– А ты не думаешь, Тимбо, что, демократически выражаясь, с нечищенными сточными канавами мы, возможно, жили бы лучше, а? – спрашивает он, на этот раз воображая себя стражем нашей вольнодумной демократии.

– Нет, не думаю. А если ты так думаешь, то тебе лучше так прямо и сказать. И отправиться домой.

Возможно, мне немного трудно так с ним обращаться, но мы с Ларри пока в собственнической стадии отношений: он – мое создание, и я должен владеть им, за какие бы веревочки мне ни приходилось дергать, чтобы он оставался моим. Спустя всего несколько недель после воцарения в советском посольстве в Лондоне нового резидента человек с вероятным именем Брод после бесконечных танцев вокруг Ларри наконец завербовал его. И теперь всякий раз, когда Ларри встречается с Бродом, меня снедает тревога. Я не осмеливаюсь думать о том, какие соблазны бередают его задумчивую впечатлительную душу, заполняя собой вакуум его обычных забот. Когда я посылал его в этот огромный чуждый мир, я хотел, чтобы он вернулся ко мне более моим, чем когда уходил. И хотя это может прозвучать как фантазия собственника, но при этом еще мы, начинающие кукловоды, – учились управлять нашими агентами: как нашими подопечными, как нашей второй семьей, как мужчинами и женщинами, которых мы должны направлять, консультировать, обслуживать, снабжать мотивацией, воспитывать, вести к совершенству и которыми мы должны владеть.

И вот Ларри слушает меня, а я слушаю сам себя. И, уж конечно, я настойчив и убедителен настолько, насколько это возможно. Именно из-за этого, вероятно, Ларри ненадолго засыпает, потому что его потеющая голова вундеркинда внезапно вздергивается вверх, словно он только что проснулся.

– У меня серьезная проблема, Тимбо, – бодро и доверительно заявляет он, – даже сверхсерьезная. Ультрасерьезная.

– Поделись ею со мной, – великодушно разрешаю я.

Но моя душа уже ушла в пятки. Женщина, решаю я. Еще одна. Она беременна, пыталась вскрыть себе вены, ушла от мужа, и тот гоняется теперь за Ларри с большим пистолетом. Машина, решаю я. Еще одна. Он ее разбил, ее украли, он забыл, где он ее оставил. В течение нашей короткой совместной оперативной работы все эти проблемы хотя бы по разу возникали, и в самые тяжкие моменты я начинал спрашивать себя, стоит ли овчинка выделки, чем, собственно, Верхний Этаж интересовался с самого начала этого предприятия.

– Это моя невинность, – поясняет он.

– Твоя что?

Он повторяет слово в слово.

– Наша проблема, Тимбо, состоит в моей близорукости, неизлечимой, всепоглощающей невинности. Я не могу жить один. Мне нравится жизнь. Ее фикции и ее реалии. Я люблю всех и все время. А больше всего я люблю того, с кем разговаривал только что.

– И какая из всего этого мораль?

– А та мораль, что ты должен быть очень осторожен в выборе того, о чем ты меня просишь. Потому что я обязательно это выполню. Ты такая красноречивая свинья, такой *славный* парень. Ты должен быть экономным, понимаешь? Ограничь себя. Не заглатывай меня одним куском.

Потом он поворачивается ко мне, поднимает лицо, и я вижу текущие по нему, подобно дождевой воде, пьяные слезы. Однако они, похоже, никак не влияют на его речь, которая, как всегда, уверена и мягка.

– Я хочу сказать, что с продажей души у тебя проблем нет, потому что у тебя нет души. Но как насчет моей?

Я игнорирую этот вопрос.

– Русские вербуют левых, правых и центристов, – отвечаю я рассудительным тоном, которого он терпеть не может. – Они абсолютно беспринципны и очень успешны. Если «холодная война» в один прекрасный день станет горячей, они возьмут нас за горло, если только мы не возьмем на вооружение их методы.

И моя тактика срывает, потому что на следующий день Ларри вопреки ожиданиям всех, кроме меня, является на перенесенную встречу со своим вербовщиком и великолепно исполняет свою роль борца за поправленную справедливость. Потому что в конце концов – таково было тогда мое собственное молодому человеку убеждение – в конце концов правильно ведомый пасторский сын всегда может быть приведен к послушанию, несмотря на его близорукую невинность.

Мой паспорт лежит в верхнем правом ящике моего письменного стола, добротный британский паспорт в синей с позолотой обложке, старомодное девяносточетырехстраничное пугало для иностранцев, выписанный на имя Тимоти д'Абея Крэнмера, путешествующего без детей, профессия не проставлена, срок действия еще семь лет, будем надеяться, хозяин его переживет.

Захвати свой паспорт, сказал Мерримен.

Зачем? Куда он собирается меня послать? Или он по старой дружбе предостерегает: до трех пополудни завтра у тебя есть время дать деру?

В моих ушах полно звуков. Я слышу крики, всхлипывания, потом стоны ветра. Непогода усиливается. Божий гнев. Вчера сумасшедший осенний снегопад, а сегодня настоящая буря, гремющая ставнями, свистящая в трубах и заставляющая весь дом потрескивать. Я стою в кабинете у окна и гляжу, как дождевые капли бьют по стеклу. Я вглядываюсь в темноту и вижу усмехающееся мне бледное лицо Ларри и его красивую белую кисть, барабанящую по оконной раме.

Был канун Нового года, но у Эммы разболелась поясница и встречать его у нее не было желания. Она удалилась в свои королевские покои, где вытянулась на своей кровати. Наши спальни озадачили бы любого, кто ожидал бы увидеть обычное гнездышко влюбленных. По спальне было на ее и на моей половине дома, так мы договорились с самого первого дня ее переезда ко мне: каждый из нас не зависит от другого, каждый имеет свою территорию и право на уединение. Она потребовала этого, и я это обещал, не будучи, правда, уверенным, что она станет требовать от меня выполнения этого обязательства. Она, однако, стала. И, даже когда я приношу ей чай, или бульон, или что-нибудь еще для поддержания ее сил, я стучу и жду, пока она не разрешит мне войти. А сегодня по случаю сочельника, нашего первого сочельника, мне разрешено лечь на полу возле нее и держать ее за руку, пока мы под музыку лютни с ее стереопроектора беседуем, глядя в потолок, и пока остальная Англия веселится.

– Он просто невыносим, – жалуется она, правда, с оттенком юмора, но недостаточным для того, чтобы скрыть досаду. – Я хочу сказать, что даже Ларри известно о существовании Рождества. Он мог хотя бы *позвонить*.

Я уже не в первый раз объясняю ей, что Рождество вызывает у него отвращение, что в каждое Рождество, все то время, что я знаю его, он угрожал перейти в ислам, что в каждое Рождество он в знак протеста отправлялся в какую-нибудь сумасшедшую поездку, чтобы только не участвовать в английском полуязыческом разгуле. Я рисую ей шутивную картину, как в окружении бедуинов он трясется на верблюдах где-то в негостеприимной пустыне. Но меня не покидает ощущение, что она меня почти не слушает.

– Но *позвонить-то* сегодня можно из любого уголка мира, – говорит она сурово.

Дело в том, что к этому моменту Ларри уже стал у нас иконой, стал нашим странствующим рыцарем. Почти все, что происходит в нашей жизни, сопровождается своего рода кивком в его сторону. Даже вино нашего последнего урожая, хотя его и нельзя будет пить еще примерно год, получило домашнюю кличку «Шато Ларри».

– Ведь мы звоним ему достаточно часто, – жалуется она, – и, по-моему, он мог хотя бы дать нам знать, что он *жив-здоров*.

Если быть точным, то звонит ему она, хотя высказать это вслух было бы покушением на ее суверенитет. Она звонит, чтобы убедиться, что он благополучно добрался до дома, чтобы спросить, можно ли в наше время покупать виноград из Южной Африки, чтобы напомнить ему о необходимости пойти на обед у декана или явиться в трезвом и опрятном виде на собрание преподавателей.

– Возможно, он подцепил какую-нибудь красотку? – высказываю я предположение, вкладывая в него гораздо больше своих надежд, чем она могла бы себе представить.

– Тогда почему бы ему не рассказать нам о ней? Показать нам ее, если уж он не может обойтись без шлюхи? Ведь мы не стали бы возражать против этого, не так ли?

– Отнюдь.

– Я не могу вынести мысль о том, что он одинок.

– В Рождество?

– В любое время. Каждый раз, когда он уходит, у меня ощущение, что он уходит навсегда. Ему что-то грозит. Я не знаю, что именно.

– Боюсь, что тебе предстоит обнаружить, что он деликатен несколько меньше, чем ты полагаешь, – говорю я, глядя в потолок. Недавно я заметил, что разговор у нас получается лучше, если мы не смотрим друг другу в глаза. – Его проблема в том, что он рано достиг пика. Блестящий студент в университете, в реальной жизни он выдохся. В моем поколении таких было два или три. Но они выжили. Выжили, правда, не то слово. Просуществовали на подачках.

Назовите это лицемерием, назовите худшим словом, но в последние недели я снова и снова ловлю себя на том, что прикидываюсь милосердным добрым самаритянином, хотя в глубине души я знаю, что худшего самаритянина на свете нет.

Но сегодня Богу надоела моя двуличность. Потому что, едва умолкнув, я слышу вместо вороньего карканья стук в окно нижнего этажа. И слышу так отчетливо – он укладывается в ритм Эмминой лютни, – что некоторое время соображаю, не в голове ли у меня источник этого звука. Но тут рука Эммы, словно ужаленная мной, вырывается из моей, Эмма резко поворачивается и садится на кровати. И, как Ларри, она не кричит, она говорит. Говорит ему. Так, словно не я, а Ларри лежит на полу рядом с ней:

– Ларри, это ты? Ларри?

Стук снизу прекратился, и теперь оттуда доносится приглушенный голос, который, кажется, в нарушение всех законов физики и несмотря на стены метровой толщины, способен достичь вас, где бы вы ни прятались. Он, разумеется, не слышал ее. Просто не мог слышать. Никак не мог он и знать, где мы находимся и даже дома ли мы вообще. На нижнем этаже горит, правда, пара лампочек, но этот свет я всегда оставляю там для того, чтобы отпугнуть грабителей. А моя машина стоит в гараже и снаружи не видна.

– Эй, Тимбо, Эмм! Дорогие мои. Опускайте мост через ров. Я добрался до дому! Вы еще не забыли Ларри Петтифера, великого просветителя? Петтифера – любителя петтинга? Счастливого Нового года! Счастливого чего хотите!

Эмм – это его кличка для нее. Она против нее не возражает. Наоборот, я начинаю думать, что она носит ее с гордостью.

А я? У меня есть роль в этом спектакле? Разве не моя роль, не моя обязанность – развлекать его? Поспешить к окну спальни, распахнуть окно, высунуться наружу, закричать ему: «Ларри, какой молодец, неужели это ты? Ты один? Слушай, Эмму опять подвела поясница. Я сейчас тебе открою!» – быть в восхищении, приветствовать его, старейшего из моих друзей, одинокого в канун Нового года? Тимбо, его злему року, человеку, сломавшему, как он любит говорить, ему жизнь. Скорее бежать вниз, зажечь наружный свет и, отодвигая засовы, через дверной глазок бросить взгляд на его байроническую шевелюру на фоне ночного мрака. В соответствии с

нашим новым обычаем обвить руками его любимый зеленый австрийский дождевик, который он зовет своим молескином и несмотря на который он промок до нитки: почти весь путь от Лондона он проделал в машине, но под конец проклятая кляча взбунтовалась и завезла его в кювет, вынудив просить компанию подвыпивших старых дев подкинуть его. Его художническая щетина сегодня не суточная, а недельная, и ореол его превосходства сегодня коренится не просто в выпивке – это таинственная аура дальних стран. Я угадал, думаю я, он только что из одного из своих героических путешествий, и сейчас он поведает нам о нем.

– Подвела *поясница*? – говорит он. – Эмм? Чушь! Когда угодно, только не *сегодня*, кого угодно, только не *Эмм*!

И он прав.

Одно появление Ларри приносит Эмме волшебное исцеление. В полночь она уже готова начать новый день, и поясница словно никогда в жизни не болела у нее. Суетясь по своим комнатам, я наливаю для Ларри ванну, достаю из ящиков чистые носки, домашние брюки, рубашку, свитер, пару домашних туфель вместо его кошмарных ботинок из оленьей кожи и слушаю, как она в радостных сомнениях мечется по своей комнате. Надеть ли мои джинсы или мою длинную юбку для сидения у камина, которую Тим купил мне ко дню рождения? Скрипит дверца ее бельевого шкафа – юбку. Мою белую блузку или черную с глубоким вырезом? Белую с воротником, Тим не любит, когда я выгляжу легкомысленно. А к белой больше идет ожерелье, которое Тим заставил меня принять в качестве рождественского подарка.

Мы танцуем.

В танцах я не силен, как отлично известно Ларри, Ларри же – как рыба в воде. Вот вам солидный британский колониальный фокстрот, а вот – сумасшедший казачок или то, что Ларри таковым считает: уперши руки в боки, он с напыщенным видом настойчиво кружит вокруг нее, шлепая по натертому паркету моими домашними шлепанцами. Мы поем, хотя я не певец и в церкви давно уже приучен раскрывать рот, но не петь. Сначала мы стоим тесным треугольником в ожидании, когда часы пробьют полночь. Потом мы кладем наши руки на плечи друг другу – каждому достается по нежной белой руке – и горланом «Забыть ли прежнюю любовь», причем Ларри изображает дискант ученика винчестерской школы, а ожерелье в такт подпрыгивает и блестит на шее Эммы. Мне не нужно брать уроки языка любви, чтобы понять, что каждый изгиб и каждая лощинка ее тела, от черных как смоль волос до строгих линий юбки, обращены к нему. И, когда в половине третьего нам снова пора идти спать и снова ставший серьезным Ларри плюхается в кресло и принимается разглядывать нас, а я, стоя сзади нее,двигаю за нее ее плечами, я понимаю, что вовсе не мои, а его руки она ощущает на своем теле.

– Итак, ты совершил еще одно из своих путешествий, – говорю я на следующее утро, застав его на кухне за завариванием для себя чая и накладыванием консервированных бобов на тосты.

Он не спал. Все раннее утро я слушал, как он, прокравшись в мой кабинет, рылся среди моих книг, выдвигал ящики стола и после просмотра снова задвигал их. Всю ночь меня мучил отвратительный запах его русских сигарет: «Примы», когда он хотел почувствовать себя университетским интеллектуалом, или «Беломорканала», когда ему нужно было «малость успокоить рак легких», как он любил говорить.

– Да, итак, я совершил, – согласился он после долгой паузы. Против обыкновения он не был настроен подробно его описывать, чем возбудил во мне надежду, что он нашел-таки себе женщину.

– Ближний Восток? – предположил я.

– Не совсем.

– Азия?

– Тоже нет. Строго говоря, это была еще Европа. Прихожая европейской цивилизации.

Не знаю, хотел ли он, чтобы я от него отвязался, или провоцировал на более энергичные расспросы, но ни того, ни другого удовольствия я ему не доставил. Я ему больше не нянька. Снятые с задания агенты – когда же у Ларри было его первое задание? – предмет забот бытового отдела, если на этот счет не было других письменных распоряжений.

– В любом случае, это было живописное и языческое место, – предполагаю я, подготавливая переход к другой теме.

– Да, действительно живописное и действительно языческое. Чтобы полностью оценить Рождество, нужно побывать в декабре в Грозном. Темно, хоть выколи глаз, воняет нефтью, пьяные собаки и подростки, увешанные золотом и с «Калашниковыми» в руках.

Я во все глаза уставился на него.

– Грозный – это в России?

– Точнее говоря, в Чечне. Северный Кавказ. Сейчас они стали независимыми. В одностороннем порядке. Москва слегка надула губы.

– Как ты туда попал?

– Автостопом. Самолетом до Анкары. Потом долетел до Баку. Пешочком по берегу, потом поворачиваешь налево. Проще пареной репы.

– А что ты там делал?

– Навещал старых друзей.

– Чеченцев?

– Да, одного или двух. А потом некоторых из их соседей.

– Контору ты известил?

– Не счел нужным беспокоить их по пустякам. Рождественский тур, живописные горы. Свежий воздух. Какое им до этого дело? Эмме сахару побольше?

Он уже на полпути к двери кухни, и чашка чаю у него в руке.

– Постой. Давай это мне, – резко говорю я, забирая у него чашку, – я все равно иду наверх.

«Грозный?» – повторяю я про себя снова и снова. Судя по сообщениям прессы, Грозный сегодня – один из самых негостеприимных городов на земле. Готов поспорить, что даже Ларри не полез бы к кровожадным чеченцам только из неприязни к английскому Рождеству. Так значит, он лжет мне? Или пытается поразить мое воображение? Кого он называет старыми друзьями, друзьями друзей, соседями? Грозный, а *потом* куда? Контора снова взяла его на службу, ничего не сообщив мне? Я отказываюсь брать наживку. Я веду себя так, словно этого разговора и не было. Так же ведет себя и Ларри – если только не обращать внимания на его чертову усмешку и на привезенный из дальних стран ореол превосходства.

– Эмм согласилась сделать для меня кусок черновой работы, – говорит Ларри, когда мы однажды прогуливаемся по верхней террасе солнечным воскресным днем, – в некоторых из моих «безнадежных случаев». Ты не возражаешь?

Теперь это не только воскресные обеды. Иногда втроем нам так хорошо, что Ларри считает своим долгом остаться и на ужин тоже. За те два месяца, что он ездит к нам, лейтмотив его визитов коренным образом изменился. Мы перестали обсуждать кошмарные случаи скрытой от общества жизни ученых кругов. Вместо этого мы получили домашнего Ларри, Ларри – мечтателя и воскресного проповедника, то клеймящего позорное равнодушие Запада, то рисующего лубочные картинки альтруистических войн особых частей ООН в особых, на манер Бэтмена, мундирах, которые в мгновение ока справляются с тираниями, эпидемиями и голодом. И, поскольку оказалось, что на эти фантазии я смотрю как на опасный вздор, мне выпала неблагодарная роль домашнего скептика.

– И кого же она будет спасать? – спрашиваю я весьма саркастически. – Болотных арабов? Озоновый слой? Или наших любимых китов?

Ларри смеется и хлопает ладонью меня по плечу, что наконец настораживает меня.

– Всех их, Тимбо, черт тебя побери, тебе назло. Одна, без посторонней помощи.

Его рука на моем плече, и я отвечаю ему деланно радостной улыбкой, но меня занимает нечто более существенное, чем кличка, которую он дал ей. На первый взгляд его улыбка обещает лукавое, но безобидное соперничество. Но я читаю в ней грозное предупреждение. «Ты меня запустил, ты помнишь, Тимбо, – говорят его насмешливые глаза. – Но из этого не следует, что ты сможешь остановить меня».

И передо мной дилемма, рожденная моей совестью или, как сказал бы Ларри, моим чувством вины. Я и друг Ларри, и его создатель. Как его друг, я понимаю, что так называемые «безнадежные случаи», которыми он баламутит зловонное болото Бата – «Прекратите зверства в Руанде», «Не дайте Боснии истечь кровью», «Помогите Молуккским островам немедленно», – это только средство заполнить пустоту, оставленную в нем Конторой, когда она выбросила его за ненадобностью и пошла дальше своим путем.

– Ну что ж, я надеюсь, что она сможет помочь тебе, – говорю я великодушно. – Ты всегда можешь расположиться в моей конюшне, когда тебе понадобится помещение для офиса.

Но, когда я замечаю то же выражение на его лице во второй раз, оно нравится мне еще меньше, чем в первый. И, когда я день или два спустя нахожу минутку, чтобы выяснить, чем же именно Ларри занял ее, я неожиданно натываюсь на стену секретности.

– Это что-то вроде «Эмнести интернэшнл», – говорит она, не отрывая глаз от пишущей машинки.

– Звучит замечательно. Но что же это конкретно – выручать людей из политических тюрем или что-нибудь другое?

– Это всего понемногу. – Она продолжает что-то печатать.

– Ничего не понятно, – говорю я неловко, потому что мне трудно поддерживать беседу из другого угла ее студии.

После этого было много воскресений, но все они сливаются для меня в один день. Сначала это день Ларри, затем день Ларри и Эммы, потом сущий ад, в котором при всем их разнообразии царит удручающая одинаковость. Если быть точным, то это раннее утро понедельника, и над Мендипскими холмами пробиваются первые лучи солнца. Ларри покинул нас уже полчаса назад, но удаляющийся дребезг его кошмарной машины еще стоит у меня в

ушах, а его ласковое «Спите спокойно, дорогие» – приказ, которому моя голова упрямо отказывается подчиняться. И Эммина, видимо, тоже, потому что она стоит у окна моей спальни голым часовым, наблюдая, как черные клубы туч рассасываются и перестраиваются под яростными лучами солнца. Никогда в своей жизни я не видел ничего более недоступного и прекрасного, чем Эмма с ее спадающими на спину длинными черными волосами, нагишом любующаяся рассветом.

– Это *именно* то, чем я хотела бы быть, – говорит она экзальтированным, неестественно взволнованным тоном, который, как я подозреваю, и выражает ее сущность. – Я хочу быть уничтоженной и созданной заново.

– За этим ты и приехала сюда, дорогая, – напоминаю я ей.

Но она больше не хочет пускать меня в свои грезы.

– Что между вами общего? – спрашивает она.

– Между кем нами?

Она игнорирует мою реплику. Она знает, и я знаю, что в наших жизнях есть только один третий.

– Из-за чего вы подружились? – спрашивает она.

– Мы не дружили с детства, если ты это имеешь в виду.

– Возможно, вы должны были дружить. Иногда меня просто бесит ее терпимость.

– Почему?

– Это следовало из вашей системы воспитания. Большинство англичан-одноклассников, которых я знаю, в детстве имели друг с другом роман. Ты никогда не был в него влюблен?

– Боюсь, что нет, никогда.

– Тогда он, наверное, был влюблен в тебя. В своего старшего друга, блистательного рыцаря. В свой идеал.

– Ты издеваешься?

– Он говорит, ты имел на него большое влияние. Ты был для него образцом. Даже после школы.

Хотите, сочтите это профессионализмом, хотите – отчаянием любовника, но ее слова оставили меня холодным как лед. Холодный, как разведчик. Неужели Ларри нарушил клятву – после двадцати лет могильного молчания растрепался моей девушке? Теми же словами, которые он однажды бросил в лицо своему наставнику по секретной службе: *Крэнмер извратил мое представление о человечности, Эмма, Крэнмер совратил меня, он воспользовался моей близоруккой невинностью, он сделал из меня лжеца и лицемера?*

– Что еще он сказал тебе? – спросил я с улыбкой.

– А что? Что он еще мог сказать? – Она все еще стоит нагишом, но ее нагота больше не доставляет ей удовольствия, и она что-то накидывает на себя, прежде чем повернуться к своему страннику.

– Я просто хотел узнать, какие формы приняло мое дурное влияние.

– Я не сказала дурное. Это ты сказал. – Теперь пришла ее очередь выдавливать из себя натужный смех. – Могу я спросить себя, не попала ли я в ловушку между вами двумя, ведь правда? Ведь вы, возможно, оба сидели. Это объяснило бы, почему казначейство уволило тебя в сорок семь лет.

Ради ее же блага мне приходится верить, что она считает сказанное ею шуткой, способом уйти от разговора, который становится непредсказуемым. Она, наверное, ждет, что я рассмеюсь. Но внезапно между нами разворачивается пропасть, которая страшит нас обоих. Мы никогда не были так далеки друг

от друга и никогда сознательно не подходили так близко к вещам, которые невозможно произнести.

– Ты поедешь на его лекцию? – спрашивает она, неловко пытаясь сменить тему.

– Какую лекцию? Мне кажется, что одной лекции в воскресенье более чем достаточно.

Я прекрасно знаю, что это за лекция. Она называется «Упущенная победа: внешняя политика Запада после 1988 года», это еще один петтиферовский памфлет о моральном банкротстве политики западных стран.

– Ларри приглашает нас на свою мемориальную лекцию в университете, – отвечает она, своим тоном давая мне понять, что являет собой образец ангельского терпения. – Он оставил нам два билета и хочет после лекции угостить нас мясом под соусом.

Однако угроза мне слишком велика, я слишком встревожен и слишком сердит, чтобы поддаться уговорам.

– Спасибо, Эмма, но я не думаю, что в моем возрасте мясо под соусом – это то, что мне надо. Что касается того, что ты в ловушке между нами...

– Да?

Я вовремя останавливаюсь, только-только вовремя. В отличие от Ларри я ненавижу громкие слова. Вся моя жизнь научила меня оставлять невысказанными опасные вещи. Что толку говорить ей, что не Эмма в ловушке между мной и Ларри, а Крэнмер оказался в ловушке между двумя своими созданиями? Мне хочется крикнуть ей, что ей не надо далеко ходить за примерами дурного влияния, достаточно посмотреть на то, как Ларри манипулирует ею самой, на то, как он безжалостно мнет и совращает ее своими еженедельными, а теперь и ежедневными обращениями к ее бесконечно податливому сознанию, на то, как бессовестно он завербовал ее в свои подмастерья и лакеи под предлогом помощи в своих «безнадежных случаях», с которыми он продолжает носиться, как дурак с писаной торбой. И что если обман ей противен, то ей надо получше взглянуть в своего новообращенного друга.

Но ничего этого я не говорю. В отличие от Ларри я не борец. Пока, во всяком случае.

– Я только хочу, чтобы ты была свободна, – произношу я. – Я не хочу, чтобы ты оказалась в чьей бы то ни было ловушке.

Но в моей голове безжалостной пилой визжат слова : *«Он играет тобой! Вот что он делает! Почему ты не видишь ничего дальше своего носа? Он уводит тебя все выше и выше, и он бросит тебя там одну болтаться на краю бездны. Он – слепленный мной в один комок сгусток всего, от чего ты хотела убежать».*

Это мое средневековье. Это кусок моей жизни перед появлением Эммы. Я слушаю Ларри, который расхвастался, как никогда, расписывая мне свои подвиги. С того дня, когда Крэнмер на вершине Брайтонского холма уламывал своего сопливого подопечного, прошло семнадцать лет. Сегодня Ларри – лучший из обоймы агентов Конторы. Где же мы находимся? В Париже? В Стокгольме? В одном из лондонских пабов, в который еще раз мы уже никогда не придем? Мы на явочной квартире на Тоттенхем-Кордроуд еще до того, как здание, в котором она находилась, снесли, чтобы построить на его месте еще одну модернистскую пустышку. Ларри со стаканом виски в руке вышагивает по комнате, хмурясь своей гримасой Великого Вождя, а я наблюдаю за ним. Его пояс сполз на худые бедра. Пепел его отвратительных

сигарет сыплется на расстегнутый черный жилет, который, как Ларри недавно решил, отныне будет его визитной карточкой. Его тонкие пальцы обращены вверх, когда он энергичными жестами подкрепляет полубред, который он несет. Знаменитый петтиферовский чуб, теперь, правда, уже с проседью, по-прежнему свисает ему на бровь, олицетворяя собой его полудетский бунт. Завтра он снова летит в Россию, официально, на месячный пустопорожний ученый семинар в МГУ, а в действительности – на свой ежегодный отдых под присмотром своего нынешнего контролера от КГБ. Невероятно, но это помощник атташе по культуре посольства в Лондоне Константин Абрамович Чечеев.

В том, как Ларри теперь принимают в Москве, есть что-то величественное и что-то от уже миновавших времен: почетная встреча в Шереметьево, зил с затемненными стеклами, доставляющий Ларри к его квартире, лучшие рестораны, лучшие билеты, лучшие девочки. Чечеев специально прилетел из Лондона, чтобы играть роль гостеприимного мажордома, всегда мелькающего где-то на втором плане. Если шагнуть в Зазеркалье, то можно представить себе, что это ему отдают прощальные почести, чествуя его как заслуженного агента британской секретной службы.

– Верность женщине – это чушь собачья, – заявляет Ларри, высовывая свой обметанный язык и исследуя его отражение в зеркале. – Как я могу отвечать за ее чувства, когда я не могу отвечать за свои?

Он плюхается в кресло. Почему его самые неловкие движения исполнены такой беззаботной грации?

– Когда имеешь дело с женщинами, единственный способ убедиться, что достаточно, – это переборщить, – объявляет он, словно приглашая меня записать сказанное им, чтобы сохранить для потомства.

В такие моменты я стараюсь не судить Ларри слишком строго. Моя задача – убаживать его, выравнивать его настроение, поддерживать его дух и все время держать наготове улыбку.

– Тим?

– Да, Эмма?

– Я хочу знать.

– Все, что хочешь, – великодушно говорю я и закрываю свою книжку. Это один из ее «дамских» романов, и его чтение дается мне не без труда.

Мы в гостиной, на круглом пятачке, устроенном в юго-восточном углу дома дядей Бобом. Благодаря утреннему солнцу это прекрасное место для отдыха. Эмма стоит в дверях. После ее поездки на лекцию Ларри я почти не вижу ее.

– Ведь это выдумка, правда? – спрашивает она.

Осторожно потянув ее за рукав в комнату, я притворяю за ней дверь, чтобы миссис Бенбоу не могла подслушать нас.

– Какая выдумка?

– Ты. Ведь тебя нет. Ты вынудил меня лечь в постель с человеком, которого здесь нет.

– Ты имеешь в виду Ларри?

– Я имею в виду *тебя!* Не Ларри. *Тебя!* Почему ты решил, что я могла бы лечь в постель с Ларри? С тобой!

Потому что ты легла, Эмма, думаю я. Теперь, чтобы скрыть от меня свое лицо, она обнимает меня. Я смотрю вниз и, к своему удивлению, вижу, что моя правая рука действует по своей собственной инициативе, глядя ее спину и успокаивая, потому что я ложно понял ее слова, которыми она прикрылась. И мне приходит в голову, что, когда ничего полезного вы сделать не в

состоянии, гладить чью-то спину – способ времяпрепровождения не хуже, чем любой другой. Она сопит и всхлипывает на моей груди, бормочет что-то о Ларри, Тиме и упрекает меня в том, что я предпочел обвинить ее, хотя большая часть сказанного ею теряется, к счастью, в складках моей рубашки. Мне удастся разобрать только слово «фасад» – или, может быть, это «шарада»? И слово «выдумка», которое могло быть «выучкой».

Между тем у меня достаточно времени подумать о том, кто виновник этой сцены и многих подобных. Потому что в мире, где мы с Ларри выросли, не принято считать, будто только потому, что правая рука занята утешением, левая не должна позаботиться об оправданиях своего собственного поведения.

Она все еще не может уйти от меня. Иногда посреди ночи она, подобно вору, пробирается в мою спальню, занимается со мной любовью и исчезает, не проронив ни единого слова. Она уходит, оставив на моей подушке свои слезы, еще до того, как утренний свет может застать ее. Неделя проходит почти без единого кивка друг другу. Мы живем каждый на своей половине. Единственный звук, который доносится с ее половины, это стук ее машинки. Дорогой друг, Дорогой благодетель, Дорогой Боженька, вызволи меня отсюда, но как? Она регулярно звонит, но я не знаю кому, хотя догадка у меня есть. Иногда звонит Ларри, и если трубку снимаю я, то я – сама любезность, и он тоже, как и подбавляет двум шпионам враждующих стран.

– Привет, Тимбо. Как делишки?

На его месте мне тоже пришли бы в голову только эти слова. Но диво ли, ведь мы такие близкие друзья...

– Спасибо, все путем. Все чудесно. Дорогая, это тебя. Это из командного пункта, – говорю я, переключая телефон на нее.

На следующий день я звоню на телефонную станцию и прошу отключить мой телефон, но она все равно не решается ни уехать, ни остаться.

– Просто из любопытства: как я узнаю, что ты ушла от меня? – спрашиваю я ее однажды вечером, когда мы, подобно призракам, встречаемся на площадке между нашими половинами.

– Я заберу с собой свой стульчик для рояля, – отвечает она.

Она имеет в виду удобный для ее поясницы складной стульчик, который она привезла с собой, когда переехала сюда. Ее знакомый шведский остеопат сделал его специально для нее. О степени их знакомства я могу только гадать.

– И я верну тебе твои драгоценности, – добавляет она.

Я вижу на ее лице выражение недовольства и испуга, словно она сболтнула что-то лишнее и теперь клянет себя за это.

Она говорит о все растущей коллекции дорогих безделушек, которые я покупаю ей в симпатичном магазинчике мистера Эпплби в Веллсе, чтобы заполнить ими незаполнимые бреши наших отношений.

Следующий день – воскресенье, и по заведенному порядку я иду в церковь. Когда я возвращаюсь, перед «Бехштейном» я вижу только следы от исчезнувшего стульчика. Однако она не оставила мне и драгоценностей, и – такова уж наивность покинутых влюбленных – их отсутствие будит во мне проблеск надежды на ее возвращение, не настолько сильной, однако, чтобы ослабить решимость моей левой руки.

Я лежу на кровати одетым, мой ночник включен. Я на своей половине – это мои подушки, моя кровать. *Попробуй найти ее*, шепчет мне голос-искуситель, но здравый смысл берет верх, и я, вместо того чтобы снять

трубку, дотягиваюсь до настенной розетки и вырываю ее, избавляя себя от унижительного отфутболивания от одной развязной подружки к другой: «Боюсь, Тим, Эммы здесь нет... Попробуй у Люси... Пстой, Тим, Люси гастролирует в Париже, может быть, Сара знает... Привет, Дебора, это Тим, какой сейчас у Сары номер?» Но Саре, если до нее удастся добраться, об Эмме известно не больше остальных. «Возможно, они в „Джоне и Джерри“, Тим, но только, знаешь, Тим, у них сейчас загул. Знаешь, спроси у Пэт, уж она-то знает». Но номер Пэт откликается только длинными гудками, так что и она, вероятно, в загуле.

Деревенские часы бьют шесть. Перед моими глазами всплывают, как в дверном глазке, пучеглазые физиономии двух полицейских и где-то за ними распухшее и мертвенно-бледное, как и у них, лицо Ларри, устремившее на меня взгляд из залитой лунным светом воды пруда Придди.

Глава 3

Зловредный послеобеденный дождь развесил свои занавески над Темзой, когда я с южной стороны набережной из-под зонта обозревал новую штаб-квартиру моей бывшей службы. Мне удалось успеть на один из утренних поездов и пообедать в моем клубе за столиком на одного у лифта для подачи блюд – столиком для иногородних членов клуба, к сожалению, поставленным отдельно от остальных. Потом на Джермин-стрит я купил пару рубашек, и одна из них была теперь на мне. Но даже это не могло исправить моего настроения, испорченного отвратительным видом возвышавшегося передо мной здания. Ларри, думал я, если Батский университет – Лубянка, то что же тогда это?

Мне повезло сражаться с большевизмом на Беркли-сквер. Днем сидеть за своим столом, нанося на карту неодолимое поступательное движение великой пролетарской революции, а по вечерам выходить на золотистый тротуар капиталистического Мэйфэйра с его надушенными вечерними дамами, сверкающими отелями и «роллс-ройсами», мягко шуршащими своими шинами, – ирония этой ситуации неизменно забавляла меня. Но это страшилище – уродливый многоэтажный сарай, втиснутый в самую гущу уличной суеты, открытых всю ночь кафе и магазинов одежды со входом на уровне тротуара, – кого, по мнению его творцов, должен напугать или защитить его угрюмый вид?

Сжимая в ладони ручку своего зонта, я пересек улицу. В забранных решетками окнах уже тускло зажигался свет – никелированные настенные бра и дешевые потолочные светильники, а на немытом нижнем уровне – неон. Ко входной двери ведут угольно-черные ступени. За фанерной приемной стойкой улыбочивый молодой человек в шоферской униформе. Крэнмер, говорю я, передавая ему свой зонт и нарядную коробку с рубашками в пластиковой сумке, меня ждут. Однако мне приходится выгрузить из карманов ключи и мелочь, прежде чем детектор металла разрешает мне пройти.

– Тим, вот это фантастика! Сколько же я не видел тебя? Как поживаешь, старина? Судя по твоему виду, *неплохо*, совсем *неплохо*. Слушай, ты не забыл свой паспорт?

Все это произносится, пока Андреас Манслоу трясет мою руку, хлопает меня по плечу, берет у дежурного клочок розовой бумаги, расписывается в нем вместо меня и возвращает обратно.

– Привет, Энди, – говорю я.

Манслоу был стажером в моей секции, пока я вдруг не спихнул его куда-то еще. Сейчас я с удовольствием вообще выставил бы тебя за дверь,

приветливо говорю я ему мысленно, пока мы идем по коридору, беседуя между собой, как старые друзья после долгой разлуки.

На двери табличка: «Н/ВБ». На Беркли-сквер двери с такой табличкой не было. Прихожая отделана пластиком под розовое дерево. На Беркли-стрит мы обходились ситцевыми обоями. Транспарант с надписью: «НАЖМИТЕ КНОПКУ И ЖДИТЕ ЗЕЛЕНОГО СВЕТА». Манслоу бросает взгляд на свои водонепроницаемые часы и бормочет: «Мы немного раньше». Мы садимся в кресла, не нажимая кнопки.

– А я-то думал, что Мерримен уже дослужился до кабинета на верхнем этаже, – говорю я.

– Ну, видишь ли, Джейк подумал, что тебя лучше направить прямо к людям, которые занимаются этим делом, Тим, а он увидится с тобой позже. Что-то в этом роде.

– Каким делом?

– Ну, ты сам знаешь. Постсоветскими делами. Новой эрой.

Я спросил себя, какая связь между новой эрой и исчезновением бывшего агента.

– А что означает табличка на входе? Веселые Благодетели? Или Вышибание Бездельников?

– Пожалуй, тебе лучше спросить об этом Марджори, Тим.

– Марджори?

– Я не совсем в курсе, ты меня понимаешь? – Его лицо озаряется светлой радостью. – Это так здорово – увидеть тебя снова. Просто потрясающе. Ты не состарился ни капельки.

– И ты тоже, Энди. Ты не изменился ни капли.

– Ты можешь дать мне сейчас этот паспорт, Тим?

Я протягиваю ему свой паспорт. Время снова медленно тянется.

– Ну и какая теперь атмосфера в Конторе? – спрашиваю я.

– Общее настроение бодрое, Тим. Это замечательное место работы. Действительно замечательное.

– Я рад за вас.

– А ты занялся виноградарством, Тим?

– Надавливаю немного вина.

– Потрясающе. Просто сказка. Говорят, что британское вино растет в цене и становится популярным.

– Так говорят? Очень мило с их стороны, но, к сожалению, такой вещи, как британское вино, в природе нет. Есть английское вино, есть уэльское. Мое хуже английского, но я стараюсь улучшить лозу.

Я вспомнил, что заставить его покраснеть было невозможно, потому что сейчас его лило осталось невозмутимым.

– Послушай, а как Диана? Я помню, что в старые времена ее звали «королевой дознания», не иначе. Ее и сейчас так зовут. Такое надо заслужить.

– Спасибо, Энди, я надеюсь, что у нее все в порядке. Мы, правда, уже семь лет как развелись.

– О Господи, какая жалость.

– Тебе не стоит жалеть об этом. Я не жалею, и Диана тоже.

Он нажал кнопку, снова сел, и мы стали ждать зеленого света.

– Да, послушай, а как твоя спина? – На него нашла очередная волна вдохновения.

– Спасибо, что ты помнишь, Энди. Рад сказать, что не болела ни разу с тех пор, как я уволился со службы.

Это ложь, но Манслоу – один из тех, с кем не хочется делиться правдой. По этой причине я и не стал держать его в своей секции.

– Пью, – сказала она. – Как в церкви^[3]. Марджори Пью.

У нее крепкое рукопожатие и прямой взгляд зеленоватых и слегка мечтательных глаз. Бесцветная пудра. Темно-синий жакет с накладными плечами, белая блузка с высоким воротничком, который у меня ассоциируется с женщинами-адвокатами, и золотой часовой цепочкой вокруг него, позаимствованной, мне кажется, у отца. У нее юная фигура и очень английская осанка. Сгибаясь в поясе и протягивая мне руку, она отставляет в сторону локоть, как это делают деревенские девушки и школьницы. Ее каштановые волосы подстрижены по-мальчишески коротко.

– Тим, – говорит она. – Все зовут вас Тимом, позвольте и мне. А я Марджори, на конце «и». «Мардж» меня не зовет *никто*.

Да уж, больше раза вряд ли кто, думаю я, усаживаясь в кресло. Я вижу, что колец на ее пальцах нет. На столе нет и вправленной в рамку фотографии муженька, теребящего уши спаниеля. Нет щербатых десятилетних бандитов на пикнике в Таскани. Что я предпочитаю, чай, кофе? Кофе, пожалуйста, Марджори. Она снимает трубку и распоряжается, чтобы принесли кофе. Она привыкла распоряжаться. На ее столе ни бумаг, ни ручек, ни безделушек, ни диктофона. На виду, во всяком случае.

– Так что, начнем с самого начала? – предлагает она.

– Отчего бы нет? – столь же благожелательно соглашаюсь я.

Она слушает меня так же, как Эмма слушает музыку, – не двигаясь, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, но никогда не в тех местах, где я жду этого. У нее рассудительно-снисходительный вид психиатра. Она ничего не записывает и не задает вопросов до тех пор, пока я не кончаю. Мой рассказ бегл. Частью своего мозга я репетировал это представление весь день, а возможно, и всю ночь. Приход полузабытого коллеги ничуть меня не отвлекает. Дверь открылась – не та дверь, в которую вошел я, а другая, и хорошо одетый мужчина вошел с кофейным подносом, поставил его рядом с нами, подмигнул мне и сказал, что Джейк будет с минуты на минуту, у него какое-то недоразумение с министерством иностранных дел. С легкой радостью я узнаю в нем Барни Уоддона, хозяина команды, занимающейся связями Конторы с полицией. Если вы задумали ограбить чей-нибудь дом, планируете небольшой захват заложников, или если вашу накачанную наркотиками дочь в три часа утра остановили за превышение скорости на шоссе M25, то Барни – именно тот человек, который устроит так, чтобы Мощь Закона оказалась на вашей стороне. В его присутствии я почувствовал себя немного уютнее.

Марджори сидела, подперев подбородок ладонями. Пока я говорил, она смотрела на меня с таким ангельским выражением, что это меня насторожило. Я совершенно не упомянул об Эмме, но коснулся темы смены моего телефонного номера – туманные намеки на одолевшие меня посторонние послания по компьютерной почте – и сделал признание, что не прочь был избавиться от полуночных звонков пьяного Ларри. Я даже грустно пошутил, что каждый, на плечи которого легло тяжелое бремя дружбы с Ларри, очень скоро становится экспертом по самозащите. Это вызвало у Марджори прохладную улыбку. Возможно, мне следовало быть более откровенным с полицией, сказал я, но я был озабочен тем, чтобы не выглядеть слишком тесно связанным с Ларри на случай, если они придут к неправильным выводам – или к правильным.

После этого я откинулся назад в своем кресле, чтобы показать ей, что я сказал ей всю правду, и ничего, кроме правды. С Барни я перебрался дружескими взглядами.

– Неприятный случай, – сказал он.

– Немного неожиданный, – согласился я, – но типичный для Ларри.

– Да уж.

Потом мы оба посмотрели на Марджори, которая кончается на «и», но она не вымолвила ни слова. Она неподвижно смотрела в точку на поверхности своего стола, словно хотела прочесть там что-то. Но ничего так и не прочла. За ней я заметил две двери, по одной с каждой стороны. Мне пришло в голову, что мы не в ее кабинете, а в приемной и что действительные события происходят где-то в другом месте. У меня было ощущение, что нас подслушивают, но в Конторе такое ощущение у вас всегда.

– Простите меня, Тим, но вам не пришло в голову попросить полицию прийти к вам позже, а самому немедленно позвонить нам, вместо того чтобы сразу открывать им дверь? – спросила она, все еще изучая свой стол.

– У меня был выбор – как в любой оперативной обстановке, – объяснил я, возможно, чуть-чуть излишне учительским тоном. – Я мог послать их подальше и позвонить вам, но это наверняка насторожило бы их. Или я мог вести себя так, как будто ничего особенного в их визите не вижу. Обычные полицейские расспросы об обычном пропавшем знакомом. Так я и поступил.

Она с радостью приняла мою точку зрения:

– А потом, все, возможно, и было обычным, не так ли? И даже сейчас, может быть. Как вы говорите, все, что Ларри сделал, это пропал.

– Было, правда, упоминание о Чечееве, – напомнил я ей. – Описание квартирной хозяйкой иностранного визитера подходит к нему до мелочей.

При моем упоминании о ЧЧ холодный взгляд ее серо-зеленых глаз устремляется на меня.

– Вот как? – произносит она, адресуя свой вопрос скорее себе, чем мне. – Расскажите мне о нем.

– О Чечееве?

– Он грузин или кто-то еще?

Ох, Ларри, тебя бы сейчас на мое место.

– Нет, боюсь, что нечто совершенно другое. Он с Северного Кавказа.

– Значит, он чеченец, – говорит она с ноткой специфического догматизма, который я начинал ожидать от нее.

– Близко, но не совсем, – сказал я доброжелательно, хотя меня подмывало послать ее посмотреть по карте. – Он ингуш. Из Ингушетии. Это рядом с Чечней, но меньше по размерам. Чечня с одной стороны, Северная Осетия с другой. Ингушетия посередине.

– Понимаю, – отвечает она с прежним отсутствующим взглядом.

– Для КГБ Чечеев был почти иностранцем. Представителей мусульманских народностей КГБ, как правило, не использует за границей. Они вообще стараются не использовать их. Существуют специальные правила, чтобы держать их под контролем, за глаза их называют «черножопыми» и стараются держать на окраинах. ЧЧ – редкое исключение.

– Понятно.

– ЧЧ – так звал его Ларри.

– Понятно.

У меня чесался язык попросить ее перестать повторять это, потому что было слишком ясно, что это не так.

– На русском «черножопый» звучит гораздо обиднее, чем на английском. Это слово обычно употребляют применительно к среднеазиатским мусульманам. В духе новой гласности и открытости его стали употреблять и применительно к жителям Северного Кавказа.

– Понимаю.

– Он – совершенно героическая личность, по крайней мере, в глазах Ларри. Лихой, образованный, физически сильный, очень во многом *горец* и в некотором смысле даже остряк. После ничтожеств, с которыми Ларри приходилось иметь дело последние шестнадцать лет, ЧЧ был для него глотком свежего воздуха.

– *Горец?*

– Житель гор. Во множественном числе *горцы*. Он был прекрасным оперативным работником.

– Действительно, – сказала она, проконсультировавшись со своими ладонями.

– Ларри склонен идеализировать людей, – пояснил я. – В этом находит выход его вечная детскость. Когда они его обманывают, никакое ругательство не бывает для них слишком сильным. Но с ЧЧ этого ни разу не случилось.

– Я, видимо, о чем-то ей напомнил.

– А Ларри занимал какую-нибудь *позицию* по поводу Кавказа? – с неодобрением в голосе спросила она. – Я вспомнила, что нам предстоит связаться с Форин офис^[4], так что его точка зрения может быть *услышана*.

– Он считал, что нам следовало проявить больше интереса к этому региону в последние дни советского режима.

– Больше интереса в каком смысле?

– Он видел в Северном Кавказе следующую пороховую бочку. Следующую после Афганистана. Место, где произойдет целая цепочка Боснии. Он считал, что на русских нельзя положиться в этом регионе, и ненавидел их вмешательство. Их стремление разделять и властвовать. Он ненавидел демонизацию ислама в качестве замены антикоммунистическому крестовому походу.

– И *делать*?

– Простите?

– Делать. Что мы на Западе должны *делать*, чтобы искупить, выражаясь языком Петтифера, наши грехи?

Я пожал плечами, хотя это было, возможно, несколько невежливо.

– Перестать солидаризироваться со старыми динозаврами России... настаивать на должном уважении к малым народам... отказаться от нашего пристрастия к большим политическим союзам и уделять больше внимания отдельным меньшинствам... – Я слово в слово цитировал воскресные проповеди Петтифера. Подобно Ларри, я мог бы заниматься этим целыми днями. – В «холодной войне» мы сражались в первую очередь за человечность.

– А мы действительно сражались за нее?

– Ларри – да.

– И Чечеев, очевидно, сильно повлиял на него.

– Очевидно.

Все это время она не сводила с меня глаз. Теперь в них появился обвинительный блеск.

– И вы разделяли эту точку зрения, вы лично?

– Точку зрения Чечеева?

– Это представление об обязанностях Запада.

Нет уж, черта лысого, подумал я. Это был Ларри в его самые мрачные минуты, когда он был готов послать весь мир в тартарары только потому, что ему было плохо. Но ничего этого я не сказал.

– Я был профессионалом, Марджори. У меня не было времени разделять убеждения или отвергать их. Я верил во все, что было необходимо для моей работы в данный момент.

Меня не покидало чувство, что, продолжая следить за мной, она вслушивается не в мои слова, а в то, о чем я умалчиваю.

– В любом случае мы выслушивали его, – сказала она так, словно это снимало с нас всякую вину.

– О да, его мы выслушивали. Наши аналитики выслушивали его. Эксперт Форин оффис по Южной России выслушивал его. Но толку от этого было мало.

– Почему?

– Они сказали ему, что в этом регионе нет британских интересов. Мы и сами говорили ему примерно то же, но, когда он слышал это со всех сторон, он выходил из себя. В ответ он цитировал мингрельскую поговорку: «Зачем вам свет, если вы слепы?»

– Вам известно, что Чечеев два года назад со всеми почестями ушел в отставку из своей службы?

– Разумеется.

– Случилось так, что именно в это время и мы уволили Ларри. Уход ЧЧ был главным соображением, повлиявшим на решение Верхнего Этажа свернуть операцию Петтифера.

– Был ли Чечееву предложен другой пост?

– По его словам, нет. Он вышел в отставку.

– И куда он направился? По его словам?

– Домой. Он хотел вернуться назад в свои горы. Ему надоело быть интеллектуалом, и он хотел вернуться к своим родовым корням.

– Или говорил, что хотел.

– Так он сказал Ларри, а это несколько другое.

– Почему?

– Им нравилось думать, что у них правдивые отношения. ЧЧ никогда не лгал Ларри. Или так он говорил, и Ларри верил этому.

– А вы?

– Лгал ли я Ларри?

– Верили ли Чечееву?

– Мы ни разу не поймали его на лжи.

Марджори Пью взялась большим и указательным пальцами правой руки за переносицу, словно собираясь поправить ее положение.

– Но Чечеев не был, разумеется, здешним главным резидентом, не так ли? – сказала она, наделяя меня судебскими полномочиями.

Уже не в первый раз за время нашего разговора я спрашивал себя, сколь много ей известно и сколь сильно она полагается на мои ответы. Я решил, что ее метод представлял собой смесь невежества и хитрости: она заставляла меня рассказывать уже известные ей вещи и не подавала вида, когда слышала что-то новое.

– Нет, не был. Главным резидентом был человек по имени Зорин. Черножопого никогда не назначили бы главой одного из важных представительств на Западе. Даже если это ЧЧ.

– А у вас были отношения с Зориным?

– Вы прекрасно знаете, что были.
– Расскажите нам о них.
– Они осуществлялись строго в рамках распоряжений Верхнего Этажа. Мы встречались раз в два месяца на служебной квартире.
– Какой именно?
– Трафальгарской. У Шепард-маркет.
– И в течение какого времени?
– Думаю, что всего у нас была дюжина встреч. Естественно, они записывались.

– Были ли у вас с Зориным встречи, которые не записывались?
– Нет, и вдобавок он приносил еще свой собственный магнитофон.
– И какова была цель этих встреч?
Я выложил ей полное название, как оно было напечатано в моем рапорте: «Осуществляемый в соответствии с новым духом сотрудничества неформальный обмен сведениями между нашими двумя службами по вопросам, представляющим для них обоюдный интерес».

– А конкретно?
– Общие болячки. Транспортировка наркотиков. Контрабанда зенитных ракет. Опасные террористы. Международные аферы, затрагивающие интересы русских. Когда мы начинали, это дело старались не афишировать, даже американцам говорили не все. К тому времени, когда я перестал этим заниматься, сотрудничество было почти официальным.

– У вас с ним установилось взаимопонимание?
– С Зориным? Разумеется. Это входило в мои обязанности.
– Оно продолжилось и потом?
– Вы хотите спросить, любовники ли мы все еще? Если бы у меня были какие-либо дела с Зориным после этого, я доложил бы о них Конторе.

– Как вы попрощались?
– Он покинул Лондон вскоре после этого. Он говорил, что в Москве его ждет кошмарная сидячая работа. Я ему не поверил. Да он и не рассчитывал, что поверю. На прощание мы выпили, и он подарил мне свою фирменную кагэбэшную фляжку. Я был, разумеется, тронут. У него их было, наверное, штук двадцать.

– Ей не понравилось, что я был, разумеется, тронут.
– Вы когда-нибудь говорили с ним о Чечееве?
– Я не стал изображать для нее оскорбленную невинность:
– Разумеется, нет. Официально ЧЧ был атташе по культуре и глубоко засекречен, а Зорин представлен нам как дипломат с разведывательными функциями. Меньше всего мне хотелось бы дать понять Зорину, что мы раскусили Чечеева. Я скомпрометировал бы этим Ларри.

– Какие именно международные аферы вы обсуждали?
– Конкретно? Никаких. Речь шла о будущем сотрудничестве их и наших следователей. Мы называли это «объединением честных людей». Зорин – старой выделки. Он наводит на мысль о чем-то с октябрьского парада.

– Понимаю.
Я жду. Она тоже ждет. Но она ждет дольше: я снова с Зориным на нашей прощальной выпивке в квартире на Шепард-маркет. До сих пор мы всегда пили только виски Конторы. Сегодня это водка Зорина. На столе перед нами стоит сияющая серебристая фляжка с красными инициалами его службы.

– Не знаю, за какое будущее мы можем сегодня выпить, дружище Тимоти, – произнес он в необычном для него самоуничижительном тоне. – Может быть, ты предложишь для нас подходящий тост?

Я по-русски предлагаю выпить за порядок, потому что прекрасно знаю, что о порядке, а не о прогрессе мечтает старый коммунистический служака. И мы пьем за порядок в нашей квартире на втором этаже с зарешеченным окном, за которым внизу покупатели входят и выходят через двери магазинов, прости господи, из подъездов высматривают своих клиентов, а музыкальная лавка наносит увечья слуху прохожих.

– Эти вопросы, которые полиция задавала вам о деловой стороне жизни Ларри, – говорит Марджори Пью.

– Да, Марджори.

– Они не заставили вас что-нибудь вспомнить?

– Я решил, что полиция, как всегда, ищет не того человека. В делах Ларри ребенок. Моей секции вечно приходилось заниматься его невыплаченными налогами, его счетами за покупки, его превышениями банковского кредита и неоплаченными счетами за электричество.

– А вы не думаете, что это могло быть прикрытием?

– Прикрытием чего?

Мне не нравится, как она пожимает плечами.

– Прикрытием для получения денег, о которых никто не должен был знать, – сказала она. – Прикрытием для цепкой деловой хватки.

– Это совершенно исключено.

– Вы полагаете, что Чечеев имеет какое-то отношение к исчезновению Ларри?

– Это не я полагаю. Так, по-видимому, считает полиция.

– И вы считаете, что визиты Чечеева в Бат не имели никакого значения?

– У меня нет мнения на этот счет, Марджори. Да и откуда ему быть? Мне известно, что Ларри и ЧЧ были близки. Мне известно, что они оба восхищались тем, куда идет общественное развитие. Продолжается ли все это сейчас, другой вопрос. – Я увидел для себя шанс и воспользовался им. – Мне даже неизвестно, были ли визиты Чечеева в Бат санкционированы.

Она не клюнула.

– Считаете ли вы возможным, например, чтобы Ларри и Чечеев заключили между собой деловую сделку? Любую сделку. Неважно какого рода.

Желая поделиться с кем-нибудь своим раздражением, я снова бросил взгляд на Барни, но он прикинулся посторонним.

– Нет, это исключено, как я и сказал полиции несколько раз. – И добавил: – Это совершенно невозможно.

– Почему?

Я не люблю, когда меня заставляют повторяться.

– Потому что Ларри никогда ничего не смыслил в денежных делах и был абсолютно непригоден к бизнесу. Свою зарплату в Конторе он называл своими тридцатью сребрениками. Ему было противно брать их. Ему...

– А Чечеев?

Меня тоже начинало тошнить от того, что она без конца перебивает меня.

– Что Чечеев?

– У него была деловая хватка?

– Абсолютно никакой. Он отвергал ее. Капитализм, прибыль, деньги в качестве мотивации – он ненавидел все это.

– Вы хотите сказать, что он был выше этого?

– Ниже. Ниже этого всего.

– Он слишком правдив? Слишком честен? Вы разделяете мнение Ларри о нем?

– Горцы гордятся тем, что в горах деньги ничего не значат. Жадность делает людей глупыми, говорят они. – Я снова цитировал Ларри. – Мужество и честь – вот что важно. Возможно, что это романтический бред, но на Ларри он производил впечатление.

У меня этот разговор уже стоял поперек горла.

– Я не судья в этих вопросах, Марджори. Ларри в отставке, ЧЧ тоже, в отставке и я. Я счел необходимым поставить вас в известность о визитах ЧЧ к Ларри в Бат и об исчезновении Ларри. Если, конечно, вы об этом еще не знаете. А о мотивах я знаю не больше любого прохожего.

– Но вы-то не любой прохожий, правда? Вы – эксперт по отношениям между Ларри и Чечеевым, в отставке вы или нет.

– Единственные эксперты по этим отношениям – это сами Ларри и ЧЧ.

– Но разве не вы придумали эти отношения? Контролировали их? Разве не этим вы занимались все эти годы?

– Двадцать с лишним лет назад я придумал отношения между Ларри и тогдашним резидентом КГБ. Под моим руководством Ларри разыгрывал перед ним невинность, изображал из себя недотрогу и под конец согласился шпионить для Москвы.

– Продолжайте.

Я продолжал и так. Я не понимал, зачем ей нужно было подгонять меня, и я не был уверен, что она это делает. Но если она хотела услышать лекцию по персональному досье Ларри, то она ее получила.

– Сначала был Брод. После Брода мы получили Миклова, потом Кранского, потом Шерпова, потом Мисланского и, наконец, Чечеева с Зориным в качестве босса, но с Ларри имел дело ЧЧ. Ларри подобрал ключик к каждому из них. Двойные агенты – это хамелеоны. Хорошие двойные агенты не *играют* свою роль, они живут в ней. Они *являются* тем, кого изображают. Когда Ларри был с Тимом, он был с Тимом. Когда он был со своим советским контролером, он был со своим советским контролером, нравилось это мне или нет. Моя работа заключалась в том, чтобы конец всего этого дела был таким, какой нужен нам.

– А вы были уверены, что он будет таким?

– В случае Ларри – да, я был уверен.

– И вы уверены в этом и сейчас?

– Сейчас, в отставке, спокойно вспоминая все события, я могу сказать, что да, я уверен в этом и теперь. Когда вы имеете дело с двойным агентом, вам всегда приходится мириться с определенной потерей лояльности. Противник для них всегда более привлекателен, чем свои. Это в их природе. Они – постоянные бунтари. Ларри тоже был бунтарем. Но он был нашим бунтарем.

– Итак, Ларри и его русские партнеры могли сговориться о чем угодно и оставить вас в дураках?

– Нет, не так.

– А почему нет?

– У нас была подстраховка.

– Какая?

– Наши агенты. Подслушивание. Квартира посредника. Ресторан, который мы наспиговали «жучками». И всякий раз, когда мы делали микрофонную запись, она слово в слово совпадала с тем, что сообщал Ларри. Мы ни в чем не могли заподозрить его. Все это в деле, как вам известно.

Она одарила меня каменной улыбкой и продолжила свое исследование собственных кистей. Свой разгон она, кажется, потеряла. Мне пришло в голову, что она устала и что с моей стороны жестоко требовать от нее

прочитать за неделю переполоха отчеты за двадцать лет. Она перевела дыхание.

– В одном из своих последних отчетов вы говорите о «замечательной близости» Ларри и Чечеева. Не могла ли она распространиться и на неизвестные вам области?

– Если я не знал о них, то как я могу ответить на ваш вопрос?

– На что распространялась эта близость?

– Я уже сказал вам. Ларри сделал ЧЧ своей энциклопедией Северного Кавказа. Ларри на это способен. Он пожирает людей целиком. Когда ЧЧ появился здесь, Ларри знал об этом регионе не больше любого другого. Он имел довольно хорошее общее представление о России, но Кавказ – это отдельный мир. Уже несколько месяцев спустя он мог часами толковать о чеченцах, осетинах, дагестанцах, ингушах, черкесах, абхазах и о ком угодно еще. ЧЧ обращался с ним очень правильно. У него было инстинктивное понимание Ларри. Он мог щелкнуть бичом, но мог совершенно очаровать Ларри. Он любил чудачиться. У него был юмор висельника. И он все время бередил совесть Ларри. У Ларри всегда была ранимая совесть...

Она снова перебила меня:

– Не хотите ли вы сказать, что ваша собственная близость с Ларри была более замечательной?

Нет, дорогуша Марджори, я не хочу сказать ничего подобного. Я хочу только сказать, что Ларри был «любовником-воришкой» из детской игры на качелях и что, когда он кончал очаровывать ЧЧ, ему приходилось снова бежать ко мне и изображать это в правильном свете, потому что он был не только шпионом, но и пасторским сыном с пониженным чувством ответственности, который от каждого хотел индульгенцию на предательство всех остальных. Я хочу сказать, что все свое самоуничтожение, все свое морализаторство и всю подразумеваемую широту своей натуры он использовал для оправдания своей мании шпионить. Я хочу сказать, что он был, кроме того, мерзавцем, что он был хитер и вероломен и мог украсть вашу жену, глядя вам прямо в глаза своими невинными глазами, что у него был природный дар торговца и мошенника и что мой грех в том, что я способствовал победе в его душе мошенника над мечтателем, за что он иногда ненавидел меня немного больше, чем я того заслужил.

– Ларри обожает архетипы, Марджори, – ответил я усталым голосом. – И, если их нет, он их выдумывает. Он обожает балдеж, говоря современным языком. Ему по душе размах. А ЧЧ обеспечил его.

– А вы?

Я снисходительно рассмеялся. К чему она клонит – если речь не обо мне?

– Я был родным берегом, Марджори. Я был его Англией, олицетворением серой обыденности. А ЧЧ был экзотикой. Он был таким же подпольным мусульманином, как Ларри – подпольным христианином. Когда Ларри был с ЧЧ, это были для него каникулы. Когда со мной – школьные будни.

– И это продолжалось без конца, – сказала она и некоторое время продержала меня в ожидании. – Спасибо вам.

Она снова проконсультировалась со своими ладонями.

– Долгое время после того, как остальные наши ветераны «холодной войны» ушли в отставку, Ларри продолжал вести активную жизнь действующего разведчика. Пребывание Чечеева в Лондоне было продлено Москвой фактически только для того, чтобы он мог и дальше продолжать руководить Ларри. Если оглянуться назад, не кажется ли вам это странным?

– А почему?

– Ведь другие ветераны «холодной войны» ушли?
– Отношения Ларри с Москвой были уникальными. Мы имели все основания полагать, что они переживут коммунистическую эру. Так считали и русские контролеры Ларри.

– А вы наверняка поддерживали эту точку зрения?
– Разумеется, поддерживал! – Я уже забыл силу моей тогдашней убежденности, – Да, все изменилось, не стало восхищавшего Ларри коммунистического эксперимента, но Ларри никогда не был обычным агентом ни в их, ни в наших глазах. Он был обличителем западного материализма, сторонником России, хорошей или плохой. Его сила, воображаемая или реальная, была в его романтизме, его любви к обиженным, его органическом неприятии британского истеблишмента с его сползанием ко всему американскому. Антипатии Ларри не претерпели изменений с падением коммунизма, его симпатии тоже. Его мечта о лучшем, более справедливом мире сохранилась, как и его предпочтение индивидуального перед общественным к его тяга к непохожему и эксцентричному. Не изменилось и его отношение к нашему погрязшему в благополучии обществу. После «холодной войны» оно переменялось только к худшему. По обе стороны Атлантики. Оно стало более прогнившим, более нетерпимым, более изоляционистским, более самодовольным, и менее справедливым. Я говорю устами Ларри, Марджи, устами гуманиста-рenegата, который хочет спасти мир. Британия, с которой Ларри в своих мечтах боролся все эти годы, сегодня все та же. Правительство стало хуже, руководители – бездарнее, избиратели, что самое печальное, еще больше разочарованы, – так почему Ларри не продолжать предавать нас?

Спустившись со своей ораторской трибуны, я с удовольствием заметил следы смущения на ее лице. Я представил себе на ее месте солидных мужчин из кабинета министров и дам с наведенными ресницами, составляющих костяк правого крыла тори.

– Оставьте Ларри на его месте, таков был мой совет. Подождите и понаблюдайте, что станет делать с ним новая российская разведка. Это те же люди, только в новых костюмах. Они не будут сидеть сложа руки и наблюдать, как теперь единственная прогнившая сверхдержава правит миром. Дождитесь их следующего шага, вместо того чтобы выбрасывать его, а потом пытаться поправить дело, когда уже слишком поздно, как это обычно мы делаем.

– Однако ваше красноречие не встретило понимания, – заметила она, задумчиво теребя пальцами свою часовую цепочку.

– К сожалению, нет. Любой, в ком есть хоть капля здравого смысла, согласился бы, что все так и будет через год-другой, но на Верхнем Этаже таких нет. Ларри выбросили на помойку не русские. Это сделали мы.

Ее руки оставили в покое часовую цепочку, соединились вместе и снова обратились к молитве под ее подбородком. В ее неподвижности было предостережение. На другом конце комнаты Барни Уолдон изучал средний слой атмосферы. А потом я вдруг понял, что они вслушивались в то, чего я не расслышал, – в электронное попискивание, гудение или позванивание, доносившееся из другой комнаты, и это напомнило мне Эмму в саду, услышавшую машину Ларри до того, как я услышал ее в день его первого появления.

Безо всяких объяснений Марджори Пью встала и, словно по команде, направилась к одной из внутренних дверей. Подобно призраку, она проскользнула в нее, оставив после себя плотно закрытой, как и прежде.

– Барни, что за чертовщина тут творится? – прошептал я, как только мы остались одни. Мы оба продолжали вслушиваться, но звукоизоляция здесь была безупречной, и я, по крайней мере, ничего не слышал.

– Теперь у нас тут полно умных женщин, Тим, – ответил он, продолжая вслушиваться. Я не мог понять, гордится он этим или огорчен. – А они, как сам знаешь, равнодушны к мелочам. Это вполне в их духе.

– Но чего она от меня *хочет*? – настаивал я. – Черт меня побери, ведь я в отставке, Барни. Я пенсионер. Зачем она устраивает мне эту головомойку?

Марджори Пью вернулась, избавив его от необходимости отвечать. Выражение ее лица было каменным, и оно было даже бледнее, чем прежде. Она села в свое кресло и соединила кончики своих пальцев вместе. Я увидел, что они дрожат. У тебя начинается тремор, подумал я. Тот, кто нас подслушивал, велел тебе либо проявить жесткость, либо катиться ко всем чертям. Я почувствовал, как учащается мой пульс. Как хорошо было бы сейчас встать и размяться. Я был слишком говорлив, подумал я, и теперь за это придется расплачиваться.

Глава 4

– Тим...

– Да, Марджори?..

– Могу ли я сделать вывод, что Ларри не ладил с нами в тот момент, когда он уходил?

– Он никогда не ладил с нами, Марджори.

– Но к концу особенно, я полагаю?

– Он считал, что мы не оценили той удачи, которая нам выпала.

– Удачи *в чем*? – едко спросила она.

– Стать победителями в «холодной войне». В столкновении двух идеологий, боровшихся за мир, которого ни одна из них не хотела, негодными средствами. Это еще одна цитата из Ларри.

– И вы были согласны с ним?

– До некоторой степени.

– Полагаете ли вы, что он считал нас обязанными ему чем-то? Нас, Контору? В чем-то, например, помочь ему?

– Он хотел получить назад свою жизнь. Это было выше наших возможностей.

– Полагаете ли вы, что он считал русских чем-то обязанными ему?

– Как раз наоборот. Он считал себя в долгу перед русскими. Он испытывал изрядное чувство вины перед ними.

Она нетерпеливо мотнула головой, словно вина была уже не в ее компетенции.

– И вы утверждаете, что в течение четырех последних лет его оперативной работы у нас Ларри не имел никаких финансовых сделок с Константином Абрамовичем Чечеевым? Или таких, о которых вы не упомянули в своих отчетах?

– Я утверждаю, что если такие сделки у них и были, то я о них ничего не знал и, соответственно, не докладывал.

– А как насчет вас?

– Простите?

– У *вас* были какие-нибудь финансовые отношения с Чечеевым, о которых вы не сообщили в своих отчетах?

– Нет, Марджори, у меня не было никаких финансовых отношений ни с Чечеевым, ни с каким-либо другим представителем русской разведки ни в прошлом, ни в настоящем.

- В том числе и с Володей Зориным?
- В том числе и с Зориным.
- И с Петтифером тоже?
- И с Петтифером тоже, если не считать того, что я постоянно спасал его от банкротства.
- Но у вас есть, конечно, личные средства?
- Мне повезло Марджори. Мои родители умерли, когда я был ребенком, так что я получил деньги вместо любви.
- Не могли бы вы рассказать мне о своих личных расходах за последние двенадцать месяцев?

Я не упомянул, что Мерримен присоединился к нам? Скорее всего, нет, потому что я не могу сказать точно, когда он сделал это, хотя его появление последовало довольно быстро за возвращением Марджори. Он толст, но очень подвижен, и у него легкая походка, как это часто бывает у толстяков, и я подозреваю, что он воспользовался дверью, которую Марджори оставила открытой настежь. И все же для меня загадка, как я не заметил его, потому что у меня, как у многих людей моей профессии, бзик насчет открытых дверей. Могу только предположить, что в смятении, вызванном нападками Марджори, я не обратил внимания на перемещения воздуха и теней, сопровождавшие беззвучное водружение грузного тела Мерримена на удобные поручни дивана Барни. Когда я возмущенно повернулся к Барни, протестуя против чудовищных вопросов Марджори, вместо него я увидел Мерримена. У него был накрахмаленный белый воротничок, серебристый галстук и красная гвоздика в петлице. Мерримен всегда выряджался, как на свадьбу.

- Тим, как приятно.
 - Привет, Джейк. Ты как раз вовремя. Меня тут спрашивают, сколько я потратил за год.
 - Да, а сколько ты потратил? Начнем с «Бехштейна», это куча денег. Потом твои маленькие паломничества в уютный ювелирный магазинчик мистера Эпплби в Веллсе, где дешевки нет. Там ты оставил еще тысяч тридцать, не говоря уже о рюшечках и оборочках, которые ты ей купил. Она, должно быть, краля та еще. Тебе повезло, что она не любит машины, а то я увидел бы «бентли» с обитыми норкой сиденьями. Я знаю, что ты получил наследство от своих родителей, что дядя Боб оставил тебе Schloss^[5] со всем содержимым, но как насчет остального? Или это все от шалуньи тети Сесили, так кстати умершей несколько лет назад? Со своей привычкой сорить деньгами ты очень удачно выбираешь себе родственников.
 - Если вы не верите мне, справьтесь у моих адвокатов.
 - Дорогой мой, они горой стоят за тебя. По крайней мере, полмиллиона в добавление к тому, что у тебя уже было, выплачено в два приема симпатичной трастовой компанией, зарегистрированной на Нормандских островах. Но не забудем, что твои адвокаты *в глаза не видели* твоей тети. Они получили инструкции от лиссабонской фирмы, в свою очередь никогда не видевшей твоей тети. Они действовали по поручению ее управляющего, парижского адвоката. Воистину, Тим, раньше я встречался со случаями отмывания денег, но чтобы отмывали *адвокатов*, вижу впервые.
- Он повернулся к Марджори Пью и заговорил с ней так, словно меня здесь уже не было:

– Пока мы продолжаем проверку, и ему не стоит думать, что он уже чист. Если тетя Сесили окажется похороненной на кладбище для бедных, Крэнмеру небо покажется с овчинку.

– Тим?

Это снова Марджори. Она говорит, что ей хотелось бы вернуться к логике моего поведения прошлой ночью. Она хочет знать, нельзя ли обсудить его еще раз, чтобы она могла уяснить его себе.

– Чувствуйте себя как дома, – отвечаю я словами, которые в жизни никогда не произношу.

– Тим, почему вы звонили из своего дома? Вы сказали, что у вас было подозрение, что полиция незаконно прослушивает ваши разговоры и что они могли выдумать бдительную шотландскую домохозяйку Ларри. А что, если они прослушивали и ваш телефон тоже? При вашей выучке и вашем опыте вам могло бы прийти в голову, что лучше съездить в деревню и позвонить из автомата.

– Я следовал установленной процедуре.

– Я не уверена в этом. Правило первое требует убедиться в безопасности.

Я посмотрел на Мерримена, но он занял позицию враждебного наблюдателя, разглядывая меня так, как он мог бы разглядывать заключенного в камере.

– Полиция могла прослушивать и телефон-автомат в деревне, – сказал я, – хотя сомневаюсь, что это доставило бы им большое удовольствие. Он почти всегда не работает.

– Понимаю, – сказала она, и на этот раз подразумевая, что не понимает.

– Кроме того, это выглядело бы довольно странно, если бы я в одиннадцать вечера поехал к деревенскому автомату. Особенно если полиция установила слежку за моим домом.

Она посмотрела на кончики своих ухоженных пальцев и потом снова на меня, словно собиралась пересчитать по пальцам занимавшие ее проблемы. Мерримен решил сосредоточиться на потолке. Уоддон – на полу.

– Вы отгородились от Петтифера. Вы считаете, что его исчезновение может быть вполне в порядке вещей. Однако оно беспокоит вас настолько, что вам не терпится сообщить о нем нам. Вы знаете, что Чечеев в отставке. Вы знаете, что Петтифер тоже в отставке. Однако вы подозреваете, что они что-то задумали, хотя не знаете, что и зачем. Вы считаете, что полиция может прослушивать ваш телефон. Тем не менее вы продолжаете звонить по нему. Вы двадцать минут стоите перед этим зданием, разглядывая его, прежде чем собираетесь с духом и входите. Из всего этого можно сделать вывод, что после визита полиции прошлой ночью вы находились в состоянии стресса, крайне несоразмерного значению исчезновения Петтифера. Можно даже предположить, что на уме у вас какое-то очень веское обстоятельство. настолько веское, что даже настолько тщательно контролирующий себя человек, как вы, делает целую серию ошибок, непростительных для его квалификации.

Мои страхи разом испарились, уступив место бурной радости. Я простил ей все: ее судейскую помпезность, ее махровое невежество, ее ярлык «тщательно контролирующего себя человека», которым она удостоила меня. В моих ушах пели ангелы, и в том, что касается меня, Марджори Пью-как-в-церкви была одним из них. Я ничего не сказал ей. Не беда, что она не могла или не захотела сообщить мне дату последнего визита ЧЧ. Она сказала мне нечто куда более важное: *они не знали об Эмме и Ларри.*

Они знали об Эмме и мне, потому что согласно правилам Конторы я был обязан сообщить им это. Но они не начертили третьей стороны треугольника. А это, как говорили у нас в разведке, была трехзвездная информация. Она стоила всего остального.

Я выбрал сентиментальный обиженный тон.

– Для меня Ларри был больше чем агентом, Марджори, – сказал я. – Он четверть века был моим другом. Кроме того, он был нашим лучшим источником. Он был одним из тех агентов, которые всего добились собственными усилиями. В самом начале КГБ завербовал его для узких целей. Он не был достаточно значителен для того, чтобы быть агентом влияния, у него не было доступа к чему-нибудь важному. Они назначили ему небольшое жалованье и пустили его болтаться по международным конференциям, снабдив пачкой фальшивок, сочиненных в московском центре. Они надеялись, что со временем он вырастет в заметную фигуру. Он вырос. Он стал их человеком, сообщавшим им об одаренных радикально настроенных студентах. Человеком, ставившим предварительное клеймо на завтрашних сторонниках Кремля. Человеком, разносящим подброшенные ими идеи по всемирной сети научных конференций. Через несколько лет благодаря Ларри наша Контора смогла составить свою команду пассивных коммунистических агентов, частично британцев, частично иностранцев, но полностью контролируемых нашей разведкой, которые между делом травили Москве самую невероятную дезинформацию времен «холодной войны» и которых КГБ так и не раскусил. Ларри притягивал к себе ниспровергателей, как магнит с пикетчиками из «третьего мира» он работал до мозолей на собственных ногах. У него была память, за которую большинство из нас не пожалели бы и полжизни. Он знал каждого продажного депутата британского парламента каждого купленного британского журналиста, каждого лоббиста или агента влияния, получающего деньги через лондонское посольство И в КГБ, и в нашей Конторе были люди, целиком обязанные ему своим жалованьем и своим продвижением по службе. Я был одним из них. Так что, да, я был заинтересованным лицом. Я остаюсь им и сейчас.

В наступившей за этой филиппикой почтительной тишине я вдруг понял, что могу расшифровать сокращение Н/ВБ. Если Джейк Мерримен был начальником отдела кадров, а Барни Уолдон – начальником отдела связей Конторы со Скотланд-Ярдом, то Марджори Пью была тем ненавидимым в Конторе шакалом, которого раньше рядовые сотрудники звали «политкомиссаром» и который ныне был удостоен титула «начальник отдела внутренней безопасности». В ее обязанности входило все, начиная с просмотра мусорных корзинок до грязных предположений об интимных связях бывших и нынешних сотрудников и доведения этих подозрений до сведения Джейка Мерримена. Иначе чем объяснить почтительное отношение к ней и Мерримена, и Барни? Иначе зачем ей просить меня *своими словами* – как будто у меня есть чьи-нибудь еще? – описать, как я впервые привлек Ларри к работе в Конторе. Марджори хотелось проверить дикую гипотезу, что мы с Ларри с самого начала были в заговоре, что не я завербовал Ларри, а Ларри завербовался сам или, еще того не легче, Ларри вместе с ЧЧ вовлекли меня в некое злое и корыстное предприятие.

Я, тем не менее, продолжал осторожно повторять свое. В нашей профессии гипотезы вроде этих поломали жизнь многим хорошим людям по обе стороны Атлантики, пока их благоразумно не отложили в сторону. Я отвечал ей взвешенно и точно, нарочно допустив, однако, несколько

погрешностей, чтобы продемонстрировать ей свою раскованность и непринужденность.

– Когда я впервые встретил его, он был настоящим бродягой, – сказал я.

– Это было в Оксфорде?

– Нет, в Винчестере. Ларри был новичком в классе, где я был старостой. Он учился на казенный счет: колледж брал с него только половину платы, остальное вносила англиканская церковь, которая, кроме того, платила ему, как нуждающемуся, и стипендию. Порядки в колледже были средневековые. Издевательства старших над младшими, порки, запугивание – целый педагогический арсенал. Ларри не вписывался в эту систему и не хотел вписываться. Чувствительный и умный, он отказывался подчиняться традициям и не хотел придерживать свой язык, что вызывало неприязнь к нему одних и делало героем в глазах других. Его били до синяков. Я пытался защитить его.

Она снисходительно улыбнулась, отмечая гомосексуальный подтекст моего рассказа, но благоразумно не артикулируя это.

– Защищали его как именно, Тим?

– Помогал ему сдерживаться. Не давал стать изгоем. Это продолжалось несколько семестров, но потом его поймали за курением, а затем и за выпивкой. Потом его застали в женском колледже за третьим занятием, что вызвало волну, зависти в более робких душах...

– Вроде вашей?

– ...и выделило его из гомосексуального большинства, – продолжал я, приветливо улыбнувшись Мерримену. – Когда порка не оказала на него желаемого действия, его выгнали из школы. Его отец, каноник одного из больших соборов, махнул на него рукой, матери уже не было. Дальние родственники собрали деньги, чтобы послать его в частную швейцарскую школу, но после первого семестра швейцарцы сказали: спасибо, не надо, и прислали его обратно в Англию. Как он продолжил свое образование до Оксфорда, для меня остается загадкой, но он поступил туда, и Оксфорд в него влюбился. Он был очень красив, девчонки бегали за ним табунами. Он был красивым и своенравным... – Тут я затруднился с выбором слова и сказал «экстравертом», чем надеялся доставить ей удовольствие.

Джейк Мерримен встрял:

– И он был марксистом, прости его, Господи.

– А также троцкистом, атеистом, пацифистом, анархистом и кем хотите еще, кто может напугать богатых, – отпарировал я. – Некоторое время он исповедовал смесь Маркса и Христа, но потом эта парочка для него распалась, и он решил, что в Христа не верит. И еще он был сластолюбцем.

Я небрежно бросил это слово и был поражен зрелищем того, как некрашенные губы Марджори Пью напряглись.

– В конце второго курса университету предстояло решить, вышибить его или ко Дню всех святых взять в аспирантуру. Они его вышибли.

– А за что именно?

– За *слишком*. За то, что он слишком много пил, слишком увлекался политикой, слишком мало работал и имел слишком много женщин. Он был слишком свободен. Он был избыточен. Он должен был уйти. В следующий раз я увидел его уже в Венеции.

– Когда вы уже были женаты, разумеется, – сказала она, намекая на то, что моя женитьба каким-то образом предавала мою дружбу с Ларри.

Я увидел, что голова Мерримена снова запрокинулась назад, а его глаза продолжили обследование потолка.

– Да, и уже работал в Конторе. У нас был медовый месяц. И вдруг на площади Святого Марка мы видим Ларри в майке цветов Юнион Джека и с соломенной шляпой Винчестерского колледжа, надетой на острие его сложенного зонтика. – Никто, кроме меня, не улыбнулся. – Он исполнял роль гида для группы американских матрон, и все они, как всегда, были влюблены в него. Они и должны были. Он знал все, что только можно знать о Венеции, он был неистощимо энергичен, у него был неплохой итальянский, а по-английски он говорил, как лорд, и он был на распутье: то ли обратиться в католическую веру, то ли подложить под Ватикан бомбу. Я крикнул: «Ларри!» Он увидел меня, помахал своей шляпой и зонтом и обнял меня. Потом я представил его Диане.

Я рассказывал все это, а моя память перечисляла дополнительные подробности: удручающая монотонность и не доставляющий радости секс нашего медового месяца, и вдруг, на его второй неделе, внезапное облегчение – и для Дианы тоже, как она мне позже говорила, – появление третьего, да еще такого занятого, как Ларри, пусть даже высмеивающего ее привычки. Я как сейчас вижу Ларри в его красно-бело-синей майке на коленях перед Дианой, с одной рукой, театрально прижатой к сердцу, и со шляпой, его шляпой, соломенной шляпой Винчестерского колледжа, той самой, которая чудом дожила до прошлогоднего сбора винограда в Ханибруке, в протянутой другой. Ее поля, разрисованные и покрытые лаком, загнулись вниз, ей давно пора на помойку. А по тулье – излохмаченная, но славная лента, лента священных цветов нашего колледжа. Я слышу его мягкий голос с шутовским итальянским акцентом, несущийся над залитой венецианским солнцем площадью: «А, ля-Тимбо, сам ля-епископ! А ты – его тра-ля-ля прекрасная невеста!»

Мы брали его с собой в рестораны, бывали на его жуткой квартире – он жил с померанской графиней, естественно, – и однажды утром на меня нашло озарение. Проснувшись, я вдруг понял, что он – именно тот человек, которого мы искали, о котором спорили на пятничных планерках. Мы его завербуем и устроим ему полное посвящение.

– И вас не смущало то, что он был вашим другом? – спросила она.

Слово *другом* больно резануло мой слух. Другом? Он никогда не был моим другом, подумал я. Знакомым – может быть, но другом никогда. Я просто не рискнул бы иметь его другом.

– Меня больше смутило бы, если бы он был моим врагом, Марджори, – услышал я свой невыразительный голос. – Не надо забывать, что «холодная война» была в самом разгаре. Мы боролись за выживание. И мы верили в свою правоту.

И я не удержался от колкости:

– Думаю, что сегодня делать это немного труднее.

А потом, на случай, если новая эра стерла из ее памяти события старой, я объяснил, что означало полное посвящение. Я рассказал, что отдел вербовки сбился с ног, разыскивая подходящего молодого человека – тогда это должен был быть обязательно парень, – чтобы помахать красной тряпкой перед носом трудолюбивых, как пчелки, русских вербовщиков, которых советское посольство на Кенсингтон-Палас-Гарденс рассылало по университетским городкам. И что Ларри обладал почти всеми качествами, которые мы в наших мечтах видели у этого человека, – мы даже могли послать его снова в Оксфорд, чтобы он отзанимался свой третий год и окончил аспирантуру.

– Черт его побери, он всадил свой мяч в самую девятку, – сказал я с энтузиазмом футбольного болельщика, но этот энтузиазм не встретил

понимания ни у Мерримена, продолжавшего свое обследование потолка, ни у Уолдона, сжавшего свои челюсти с такой мрачной решимостью, что возникло сомнение, заговорит ли он когда-нибудь в будущем.

И что мы предоставили русским вербовщикам именно то, что они искали и так редко находили в прошлом, продолжал я, – классического, словно с плаката, англичанина, научного работника, сбившегося с пути истинного представителя золотой молодежи, богоискателя, симпатизирующего какой-то политической партии, но формально не вступающего в нее, неукорененного, незрелого, неустойчивого, политически всеядного, хитроватого и, когда надо, вороватого...

– И вы сделали ему предложение, – прервала меня Марджори Пью, ухитрившись произнести это тоном, словно я подобрал Ларри в общественном туалете.

Я рассмеялся. Мой смех раздражал ее, и я не спешил успокаиваться.

– Господи, конечно, не раньше чем через несколько месяцев. Сперва нам надо было пройти с этим предложением по всем инстанциям. Многие из обитателей Верхнего Этажа говорили, что у него плохо с дисциплиной. Его школьные отметки были ужасны, а университетские и того хуже. Все считали его блестящим, но и что с того? Могу я сделать одно замечание?

– Пожалуйста.

– Вербовка Ларри была групповой операцией. Когда он согласился принять пострижение, глава моей секции решил, что шефствовать над ним должен я. При том условии, что я буду подавать начальству доклад до и после каждой встречи с Ларри.

– А почему он согласился принять пострижение, как вы выразились?

Ее вопрос вызвал у меня чувство глубокой усталости. Если вы не понимаете этого сейчас, хотелось мне сказать ей, вы не поймете этого никогда. Потому что он был независим. Потому что он был боец. Потому что так велел ему Бог, и потому что он не верил в Бога. Потому что у него было похмелье. Или не было. Потому что темная сторона его души тоже хотела к свету. Потому что он был Ларри, а я Тим. Потому что потому.

– Он видел в этом вызов, я думаю, – ответил я, – Быть и самим собой, и чем-то еще. Ему нравилась идея свободного слуги. Она соответствовала его чувству долга.

– Идея чего?

Его голова была слегка забита немецким. *Frei sein ist Knecht*. Быть свободным – значит быть вассалом.

– И это все?

– Что все?

– Это полный перечень его мотивов или были более практические соображения?

– Он был зачарован романтикой. Мы говорили ему, что в этом деле ее нет, но это только разжигало его аппетит. Он видел себя таким рыцарем-крестоносцем, исполняющим свой долг. И ему нравилось иметь двух отцов, КГБ и нас, хотя он никогда в этом не признавался. Если вы попросите меня выписать весь перечень мотивов, это будет сплошная цепь противоречий. Таков Ларри. Таковы все агенты. Мотивы не существуют сами по себе, абстрактно. Важны не качества человека. Важны его поступки.

– Спасибо.

– Не за что.

– А как насчет денег?

– Простите?

– Денег, которые мы платили ему? Вполне приличных сумм, не облагаемых налогом? Какую, по-вашему, роль они играли в его расчетах?

– О, ради Бога, Марджори, тогда ради денег никто не работал, а Ларри ради денег не работал никогда. Я уже сказал вам, он называл их тридцатью сребрениками. Он ничего не смыслил в деньгах. В финансовом смысле он был неандертальцем.

– Тем не менее он получил их целую кучу.

– Он был совершенно беспомощен в денежных делах. Все, что он получал, он тратил. Он отдавал их любому, кто приходил к нему со слезной историей. У него были одна или две дорогие привычки, которые мы поощряли, потому что русские – снобы, но в целом он был полным аскетом.

– Какие, например, дорогие привычки?

– Он покупал вино у Берри, туфли предпочитал ручной работы.

– Я назвала бы это не аскетизмом, а экстравагантностью.

– Это только слова, – бросил я.

Некоторое время никто не открывал рта, что я счел добрым предзнаменованием. Марджори совершала еще один тур по своим не окрашенным лаком ногтям. Вид Барни красноречиво говорил, что среди своих полицейских он чувствовал бы себя гораздо уютнее. Наконец Джейк Мерримен, выйдя из своего неестественного транса, выпрямился и разгладил ладонями свою жилетку, а пальцем, запущенным за жесткий белый воротничок, поправил складки кожи, грозившие совсем закрыть его.

– Ваш Константин Абрамович Чечеев выдоил из российской казны по меньшей мере тридцать семь миллионов фунтов как одну копеечку, – сказал он. – И они все еще подсчитывают убытки. В пятницу на прошлой неделе их посол попросил министра иностранных дел принять его и подарил ему целую папку доказательств. Одному Богу известно, почему он выбрал для этого пятницу, когда министр уже намылился ехать на свою дачу, но он поступил именно так, и пальчики Ларри рассыпаны по всей этой папке. Грабеж средь бела дня, Тим Крэнмер, в исполнении твоего бывшего подопечного и его бывшего контролера из КГБ. Что самое интересное, Чечеев был предупрежден заранее о бочке, которую на него собираются покатить, и сиганул в Бат, чтобы посоветовать Ларри дать деру еще до того, как посол предпримет свой *demarche*. Ты хочешь что-то сказать, Тим? Не надо.

Я ничем не показал, что мне что-нибудь известно, только покачал головой, но Мерримен уже снова говорил:

– Они работали по весьма простой схеме, но не стоит из-за этого смотреть на нее свысока. Право переводить деньги за границу предоставлено только немногим русским банкам. И они обычно тесно связаны с бывшим КГБ. Живущий в Великобритании сообщник организует подставную британскую компанию – импорт, экспорт, назовите как хотите, – и шлет своим сообщникам в Москву фиктивные счета. Счета заверяются коррумпированными чиновниками, связанными с мафией. Затем они оплачиваются. Тут примечание, которое меня особенно умиляет. Похоже, что в российском законодательстве нет статей, предусматривающих ответственность за такие современные чудачества, как финансовое мошенничество, так что под суд не идет никто, а те, кому место за решеткой, вместо этого срыдают куш. Русские банки до сих пор в каменном веке, а прибыль там – абстракция, которую никто серьезно не воспринимает. Говоря бессмертными словами Ноэля Коварда^[6], свистните официанту, чтобы принес икры, и скажите: «Слава Богу».

Наступила еще одна пауза, во время которой Мерримен вопросительно поднял на меня свои брови, но я не нарушил молчания.

– Заграбастав наличные, Чечеев сделал с ними то, что мы все сделали бы. Рассовал их по целой цепочке анонимных счетов в Британии и за границей. В большинстве этих сделок твой старый приятель Ларри действовал как его посредник, инкассатор и по уши завязший сообщник. Он регистрировал компании, открывал счета, подписывал чеки и укрывал ворованное. Ты скажешь мне, что это все подстроено Чечеевым, что он подделывал подпись Ларри? И ты ошибешься. Ларри по уши в этом дерьме, и из того, что нам известно, следует, что и ты тоже. Так?

– Нет.

Он повернулся к Барни.

– Как глубоко докопались фараоны?

– Начальник Особого отдела сегодня в пять докладывает секретарю кабинета министров, – сказал Барни, предварительно прочистив глотку.

– Это оттуда Брайант и Лак? – спросил я.

Барни уже собирался подтвердить это, но Мерримен грубо вмешался:

– Это нам знать, а он пусть гадает, Барни.

Но я знал ответ: да.

– Поговаривали, что их расследование быстро зашло в тупик, но это, возможно, блеф, – продолжал Барни, – и меньше всего мне хотелось бы проявить неуместный интерес. Я сказал в Особом отделе, что это не наше дело. Я побожился им, что не наше. То же я говорил в лондонском городском и в сомерсетском полицейских управлениях. Заведомо ложные показания. – Было похоже, что это беспокоит его.

Мерримен заговорил снова:

– Так что не вздумай портить нам игру, Тим Крэнмер, ты меня понял? Если они поймут Ларри и он скажет, что работал на нас, то мы будем это отрицать. Отрицать вплоть до суда и дальше. Если он скажет, что работал на тебя, то мистер Тимоти Крэнмер, бывший чиновник казначейства, окажется глубоко в дерьме. А если ты в соответствии с новым духом открытости вздумаешь открыть рот, то уповать тебе придется только на Бога.

– Их посол упоминал ЧЧ как настоящего дипломата? – спросил я.

– Бывшего дипломата. Такой он и есть. И поскольку мы ни разу не пожаловались на Чечеева за те четыре года, что он пробыл в Лондоне, по той очевидной причине, что не хотели прерывать поток разведанных, то и мы стоим на той же позиции. И, если кто-нибудь станет вякать обратное, Форин оффис только развеет руками.

– А как насчет отношений Чечеева с Ларри?

– А что насчет этих отношений? Они были вполне законными. Чечеев был культурным атташе, известным и деятельным. Ларри был розовым интеллектуалом, совершавшим регулярные оплаченные визиты в матушку-Россию, на Кубу и в другие злачные уголки земного шара. Сейчас он – уgomонившийся профессор в Бате. Их отношения были естественными и законными, а если это и было не так, то никто об этом не заявлял. – Мерримен не сводил с меня глаз. – Если русским когда-нибудь придет в голову мысль, что Ларри Петтифер работал на нашу разведку, что он на протяжении последних двадцати с лишним лет, как ты нам сейчас не раз повторил, был нашим преданным исполнителем, то земля разверзнется, ты меня слышишь? Они уже выписали твоему дружку Зорину похвальную грамоту: алкоголизм, пассивный саботаж, словом, вымазали дерьмом с головы до ног, и сейчас он под домашним арестом и имеет, судя по всему,

хорошие шансы как-нибудь в сумерках быть застреленным. И с нашей стороны очень благородно ничего такого не сделать с тобой. Если в их куриные мозги – полицейских, русских или и тех и других, в данной ситуации это одно и то же, потому что полицейские шарят на ощупь, а мы не собираемся открывать им глаза, – когда-нибудь придет мысль, что наша славная разведка в тесном сотрудничестве с одной из русских мафий выдоила из русской экономики тридцать семь миллионов, выбрав для этого момент, когда та и так находится при последнем издыхании... – Он махнул рукой. – Можешь сам закончить мою мысль. Да, так что же все-таки случилось?

Этот вопрос бесконечно повторялся и в моей голове. Даже в своем смятении я не смог удержаться.

– Когда Ларри видели в последний раз? – спросил я.

– Справься в полиции, кроме них, этого никто тебе не скажет.

– Когда Чечеев в последний раз был в Британии?

– За последние полгода никакие Чечеевы в Британию не приезжали.

Однако с учетом того, что Чечеев никогда не жаждал популярности, не было бы ничего удивительного в том, что он приехал под совсем другим именем. – А вы проверили его другие имена?

– Могу я напомнить тебе, что ты на пенсии? – Ему надоело разговаривать по-человечески. – Так ты сидишь ниже воды, тише травы, юный Тим Крэнмер, ты меня понял? Ты сидишь в своем замке, следишь за своим хозяйством, давишь свои ссаки, ведешь себя естественно и выглядишь невинно. Без мамочкиного разрешения ты не выезжаешь за границу, и мы забираем у тебя паспорт, хотя, увы, в наши дни это уже не та гарантия, что прежде. Ты не делаешь ни малейшего шага в сторону Ларри посредством слова, дела, жеста или телефона. Ни ты, ни твои агенты или инструменты, ни твоя драгоценная Эмма. Тебе запрещается обсуждать Ларри, или его исчезновение, или любую часть данного разговора с кем бы то ни было, включая коллег и знакомых. Ларри все еще флиртует с Дианой?

– Он никогда не флиртовал с ней. Он просто крутился возле нее, чтобы позлить меня. И из-за того, что они оба решили, что ненавидят Контору.

– Не произошло абсолютно ничего. Никто не пропадал. Ты – отставной чиновник казначейства, живущий с невротической подростком-композитором, или кто там она у тебя, и делаешь отвратительное вино. И это все. Если будешь звонить нам, позаботься, чтобы это был звонок с безопасного телефона с полным соблюдением правил конспирации. В номере, который мы дадим тебе, последняя цифра каждый день меняется: в воскресенье это единица, в понедельник двойка. Сможешь запомнить?

– С учетом того, что эту систему придумал я, думаю, смогу.

Марджори Пью протягивает мне клочок бумаги с напечатанными на нем цифрами 071. Мерримен продолжает говорить:

– Если фараоны захотят поговорить с тобой снова, ты будешь лгать им в глаза. Сейчас они пытаются раскопать, что за работа у тебя была в казначействе, но казначейство на то и казначейство, чтобы в его архивах черт ногу сломал. Ничего фараоны там не выкопают. Что касается нас, то мы тебя не знаем. Ты никогда здесь не был. Крэнмер? Какой Крэнмер? Первый раз слышим.

Мы вдвоем, Мерримен и Крэнмер, как всегда, кровные братья. Мерримен берет меня за руку. Он всегда берет тебя за руку, когда прощается.

– И это после всего, что мы для него сделали, – говорит он. – Пенсия, новый старт, хорошая работа после того, как практически все университеты Англии отказались брать его, положение в обществе. И вот, пожалуйста, нате вам.

– Плохо, – соглашаюсь я. Ничего другого, пожалуй, не скажешь.

Мерримен проказливо улыбается.

– А ты не прикончил его, а, Тим?

– С какой стати?

Впервые за этот день я подхожу к порогу того, что Марджори Пью назвала потерей моего сверхконтроля.

– А почему бы и нет? – с хитрецей возражает он. – Разве не так жулики поступают друг с другом при дележе добычи?

Невеселый смехок.

– А с Эммой у тебя, наверное, просто *восхитительно*? Вы ведь *безумно* любите друг другу?

– Да, но сейчас ее нет дома.

– Невыносимо слышать. И где же она?

– Присутствует на паре исполнений ее произведений в центральных графствах.

– Что же ты не сопровождаешь ее?

– Она предпочитает проделывать это одна.

– Ну да, разумеется, у нее независимая натура. А она не слишком молода для тебя?

– Когда она станет слишком молода, не сомневаюсь, она мне об этом скажет.

– А ты молодец, Тим. Стойкий мужик. Я всегда говорю: не выводи кавалерию из боя! В нашем мире Эммы требуют постоянного внимания. Хочешь заглянуть в ее досье?

– Нет, спасибо.

– Но от Мерримена так просто не отделаешься.

– Нет, спасибо? А в свое ты не заглядывал?

– Не заглядывал и не собираюсь.

– Дорогуша, но ты должен! Такое полное, такое разнообразное, *quel courage!*^[7]. Измени имена, и на старости лет ты сможешь шлепать бестселлеры. Куда более прибыльное занятие, чем эти ссаки из пресса дяди Боба. А, Тим?

– В чем дело?

Его пальцы сжимают мой бицепс.

– Эта долгая-долгая связь, которая была между тобой и нашим дорогим Ларри. Винчестер, Оксфорд, Контора – и все время такая плодотворная. Такая уместная. Но сегодня, дорогуша, ни-ни.

– О чем это ты?

– Об облике, дорогой мой. Благородное прошлое, старые времена. В руках бульварных писак это динамит. Прежде чем ты успеешь произнести «Ким Филби», они начнут вопить об университетской шпионской сети и о любви, которая не смеет назвать себя по имени^[8]. А вы ведь были ими, да?

– Были кем? – спрашиваю я, пытаюсь изгнать из памяти видение Эммы, нагишом стоящей у окна моей спальни и задающей мне тот же вопрос.

– Ну, ты знаешь. Ты и Ларри. Все такое. Ведь были?

– Если тебя интересует, были ли мы гомосексуалистами и предателями, то мой ответ на оба эти вопроса – нет. В школе Ларри был ископаемым экземпляром: Полным Гетеросексуалом.

Он еще раз медленно сжал мою руку.

– Как жаль тебя. Какое разочарование для здорового парня. Но так ведь всегда в жизни: нас наказывают за провинности, которых мы не совершали, а куда большее жульничество сходит нам с рук. Как важно, чтобы все мы были чертовски, чертовски осторожны. И хуже всего скандалы. Лги сколько хочешь, но избавь меня от скандала. У Конторы сейчас трудные времена, нам приходится искать свою нишу. Вокруг меда вьется столько мух. Моя дверь всегда для тебя открыта, дружище, в любое время.

Манслоу маялся в прихожей. Заметив мое появление, он направился ко мне. Его руки, не находя себе места, болтались по бокам. Моего паспорта не было ни в одной из них.

Глава 5

До последнего поезда на Касл Кери мне оставалось два часа, и я, вероятно, шел пешком. Должно быть, где-то я купил вечернюю газету, потому что на следующее утро обнаружил ее в мятом виде в кармане своего дождевика с кроссвордом, заполненным угловатыми печатными буквами, так не похожими на мой почерк. И еще, наверное, я перехватил по дороге пару порций виски, потому что от этого пути мало что осталось в моей памяти, если не считать шагнувшего рядом со мной отражения в темных стеклах окон. Иногда это было лицо Ларри, а иногда – Эммы с зачесанными вверх волосами и перламутровым ожерельем восемнадцатого века, подаренным ей в тот день, когда она перевезла в Ханибрук свой стульчик для рояля. Моя голова была так полна и так пуста. Ларри украл тридцать семь миллионов, ЧЧ его сообщник, я, скорее всего, тоже. Он сбежал с добычей, Эмма бежала с ним. Ларри, которого я учил красть, обыскивать письменные столы, подбирать ключи, переснимать бумаги, запоминать, выжидать и, если надо, бежать и прятаться. Полковник Володя Зорин, когда-то гордость английского отдела русской разведки, под домашним арестом. На мостике через железнодорожные пути в Касл Кери я снова услышал стук своих молодых каблучков по железу викторианских времен и почувствовал запах пара и горящего угля. Я снова стал Школьником, сбросившим свой ранец на каменные ступени усадьбы дяди Боба, куда я снова приехал на каникулы.

Мой роскошный старый «санбим» стоял на привокзальной площади, где я его оставил. Поработали ли они с ним, напичкали ли его «жучками» и всякими следящими устройствами, опрыскали ли новейшей чудо-краской? Все эти новейшие чудеса техники выше моего понимания. И всегда были. По дороге меня раздражали фары машины, висевшей у меня на хвосте, но на нашей извилистой дороге только псих или пьяный решится на обгон. Я перевалил через гребень холма и въехал в поселок. Наша церковь вечерами иногда освещена, но сегодня в ней было темно. В окнах коттеджей янтарными бликами мелькали поздние телеэкраны. Фары задней машины совсем приблизились ко мне и мигнули, переключившись с ближнего света на дальний и обратно. Я услышал гудок. Прижавшись к обочине, чтобы пропустить его, кто бы это ни был, я увидел Селию Ходсон, приветливо машущую мне рукой из своего «лендровера». Я тоже приветливо помахал ей в ответ. Селия была одной из моих местных побед эпохи до Эммы, когда я был одиноким владельцем Ханибрука и самым заметным разведенным мужчиной в местном приходе. У нее было полуразорившееся имение близ Спаркфорда, она участвовала в местных псовых охотах и шефствовала над местными детскими утренниками. Пригласив ее однажды к себе на воскресный ленч, я с удивлением обнаружил себя с ней в постели еще до десерта. Я все еще председательствую в ее комитете, мы все еще болтаем,

встречаясь в местной лавке, но я ни разу больше не спал с ней, а она, похоже, не ревнует меня Эмме. Иногда я спрашиваю себя, помнит ли она тот эпизод вообще.

Передо мной вырастают каменные ворота Ханибрука. Снизив скорость до черепашьего шага, я включаю свои латунные противотуманные фары и заставляю себя исследовать следы шин на дороге. Прежде всего бросаются в глаза следы почтового фургона Джона Гаппи. Любой другой водитель принимает влево, объезжая три здоровенные колдобины перед воротами, но Джон, несмотря на все мои слезные просьбы, берет вправо, уминая траву и ломая нарциссы, потому что он делает это уже сорок лет.

Рядом со следами Джона Гаппи смело прочертили свои тонкие линии колеса велосипеда Теда Ланксона. Тед мой садовник, оставленный мне в наследство дядей Бобом с наказом держать его до тех пор, пока он сам не пожелает уйти, что он упорно отказывается сделать, предпочитая продлевать многочисленные ошибки моего дяди. Прямо через все проскочили сестрицы Толлер на своем «субару» защитной окраски, частично касаясь земли, а частично паря над ней. Сестры – наши поденщицы, наказание Теда и одновременно его утеха. А поверх следа сестер следы чужого тяжелого грузовика. Вероятно, что-то привезли. Но что? Заказанные нами удобрения? Доставлены в пятницу. Новые бутылки? Получены в прошлом месяце.

На гравийной дорожке, ведущей к дому, я не вижу следов, и их отсутствие беспокоит меня. Куда делись следы шин на гравии? Разве сестры Толлер не промчались здесь, направляясь в огороженный стеной виноградник? Разве Джон Гаппи не ставил здесь свой фургон, выгружая мою почту? А таинственный грузовик, он что, приехал сюда только за тем, чтобы совершить вертикальный взлет?

Оставив фары включенными, я вылез из машины и прошел по дорожке, отыскивая следы ног или шин. Кто-то тщательно подмел гравий. Я выключил фары и по ступеням поднялся к дому. В поездке у меня разболелась спина. Но, когда я ступил на порог моего дома, боль оставила меня. На коврике лежала дюжина конвертов, в большинстве коричневых. Ничего от Эммы, ничего от Ларри. Я изучил штемпели. Все вчерашние. Исследовал места склейки. Заклеено слишком хорошо. И когда только они в Конторе научатся? Оставив конверты на мраморной поверхности столика, я по шести ступенькам поднялся в большой зал и тихо встал, не зажигая огня.

Прислушался. Принюхался. И уловил в неподвижном воздухе запах теплого тела. Пот? Дезодорант? Мужской бриолин? Хотя я не мог опознать этот запах, я различал его. По коридору я направился в свой кабинет. На полпути к нему я снова уловил его: тот же дезодорант и слабейший застарелый табачный запах. Нет, на задании они не курили, это было бы безумием. Курили, вероятно, в пабе или в машине, причем не обязательно те, кто принес этот запах сюда. Даже чужие сигареты все равно пахли.

Уезжая этим утром в Лондон, я не расставлял никаких хитроумных ловушек, никаких волосков на замках, никаких кусочков ваты в дверных петлях и не делал никаких снимков «поляроидом». У меня не было нужды в этом. Все это мне заменяла пыль. Понедельник – выходной у миссис Бенбоу. Ее подруга миссис Кук придет только вместе с миссис Бенбоу, это ее способ выразить свое неодобрение Эмме. Поэтому между вечером пятницы и утром вторника пыль в доме никто не убирает, если этого не делаю я. И обычно я делаю это. Мне нравится немного повозиться с уборкой, и по понедельникам я с удовольствием надраиваю свою коллекцию барометров восемнадцатого века и несколько других предметов, не пользующихся в должной мере

довольно строго рационируемым благорасположением миссис Бенбоу: мои подставки для ног чиппендейлской фабрики в китайском стиле и походный столик у меня в гардеробной.

Однако сегодняшним утром я встал рано и по привычке, заложенной в меня еще в детстве, оставил пыль лежать там, где она лежала. Когда в камине большого зала и в камине гостиной горит огонь, к утру понедельника пыли будет много, а к вечеру понедельника – еще больше. И, войдя в свой кабинет, я сразу увидел, что на моем письменном столе орехового дерева пыли нет. На всей его поверхности ни единой пылинки. Латунные ручки сияли первозданным блеском. В воздухе пахло жидкостью для полировки латуни.

Итак, они были, подумал я отрешенно. Это установлено, они приходили. Мерримен вызвал меня в Лондон, и, пока я сидел перед ним, его ищейки приехали в фургоне электрической компании или в каких там еще фургонах они сегодня ездят, забрались в мой дом и спокойно обыскали его, прекрасно зная, что понедельник для этого самый подходящий день: Ланксон и сестры Толлер работают в пятистах ярдах от главного здания в винограднике, отгороженном кирпичной стеной от всего, кроме неба. И, как только это пришло ему в голову, Мерримен распорядился о просмотре моей почты, а теперь, несомненно, и о прослушивании моего телефона.

Я поднялся вверх. И здесь табак. Миссис Бенбоу не курит. Ее муж тоже. Я не курю, я ненавижу эту привычку и этот запах. Если я возвращаюсь откуда-то и на моей одежде запах табака, я должен полностью сменить ее, принять ванну и вымыть голову. Когда приезжал Ларри, мне приходилось держать настежь двери и окна, если позволяла погода. На площадке я снова слышу застарелый запах сигарет. В моей гардеробной и в спальне тоже. Я перешел по галерее на половину Эммы: ее половина, моя половина, а между ними мечом галерея. Мечом Ларри.

С ключом в руке я стою, как прошлой ночью, перед ее дверью и снова колеблюсь, войти или нет. Это дубовая дверь с заклепками, входная дверь, которая какими-то судьбами оказалась на втором этаже. Я поворачиваю ключ и вхожу. И сразу закрываю дверь за собой и запираюсь, сам не зная от кого. Сюда я не входил с того дня, когда убирался после ее ухода. Медленно вдыхаю ртом и носом одновременно. К мускусному запаху запустения примешивается слабый запах пудры. Итак, они присылали женщину, думаю я. Пудрящую женщину. Или двух. Или полдюжины. Но наверняка женщин: идиотское правило Конторы требует этого. Женатый мужчина не может рыться в белье молодой женщины. Я стою в спальне Эммы. Слева ванная. Прямо ее студия. На столике возле кровати пыли нет. Я поднимаю ее подушку. Под ней роскошная шелковая ночная рубашка из магазина «Уайт-хаус» на Бонд-стрит, которую я вложил в ее рождественский чулок, но которую никогда на ней не видел. В день ее бегства я обнаружил ее еще в упаковке, засунутой в задний угол ящика. Старый разведчик, я развернул ее, встряхнул и бросил под подушку для маскировки. Мисс Эмма поехала на север, чтобы присутствовать на исполнении своих произведений, миссис Бенбоу... Мисс Эмма вернется через несколько дней, миссис Бенбоу... Мать мисс Эммы серьезно больна, миссис Бенбоу... Мисс Эмма все еще в преисподней, миссис Бенбоу...

Я открываю ее гардероб. Все платья, которые я когда-либо купил ей, аккуратно висят на своих вешалках точно в том же порядке, что и в день исчезновения: длинные шелковые платья, модельные костюмы, соболья шапка, которую она категорически отказалась даже примерить, туфли какой-

то знаменитой фирмы, пояса и сумочки еще более знаменитой фирмы. Глядя на них, я спрашиваю себя, кем я был, когда покупал их, и кем была в моих глазах женщина, которую я одевал.

Это была мечта, решаю я. Но зачем мечтать мужчине, у которого наяву есть Эмма? Я слышу ее голос из темноты: *«Я не плохая, Тим. Мне не нужно меняться и маскироваться все время. Мне хорошо и такой, какая я есть. Честной»*. Я слышу голос Ларри, насмехающийся надо мной в темноте менипской ночи: *«Ты не любишь людей, Тимбо. Ты придумываешь их. А это Божье дело, а не твое»*. И снова я слышу Эмму: *«Не мне нужно меняться, Тим, а тебе. С тех пор как Ларри вошел в наш огороженный стеной виноградник, ты ведешь себя, как беглец»*. И снова Ларри: *«Ты украл мою жизнь, я украл твою женщину»*.

Я закрыл гардероб, прошел в ее студию, зажег свет и бегло окинул ее взглядом, готовый в любой момент отвести глаза в сторону, если они увидят что-то такое, на что смотреть нельзя. Но ничего такого они не увидели. Все было так, как я оставил, когда инсценировал ее присутствие после ее исчезновения. Письменное бюро времен королевы Анны, подаренное мной ко дню рождения, было, моими стараниями, в полном порядке. Его прибранные ящички наполнены необходимыми канцелярскими мелочами. Сверкающая теперь каминная решетка выложена газетой и щепками для растопки. Эмма любила камин. Как кошка, она вытягивалась перед ним с приподнятым бедром и головой, опертой на согнутую в локте руку.

Мои исследования на время облегчили мое бремя. Если вся бригада взломщиков с их камерами, резиновыми перчатками и наушниками и топталась здесь, то что они увидели кроме того, что должны были увидеть? Женщина Крэнмера оперативного интереса не представляет. Она играет на рояле, носит длинные шелковые платья и пишет о сельских делах за дамским письменным бюро.

О папках ее переписки, о ее фанатичной решимости излечить целый мир от его болезней, о круглосуточном стуке и взвизгивании ее электрической пишущей машинки они не узнали ничего.

Внезапно на меня напал жор. Совершив набег в стиле Ларри на холодильник, я уплел остатки фазана после мучительного ужина, устроенного мной для горстки влиятельных местных жителей. Было еще и полбутылки коньяка, но сегодня меня еще ждало дело. Я заставил себя включить телевизионные новости, но о пропавших профессорах и ударившихся в бегах женщинах-композиторах там не было ни звука. В полночь я снова поднялся вверх, зажег свет в своей гардеробной и за задернутыми шторами натянул на себя темный пуловер на молнии, серые фланелевые брюки и черные матерчатые туфли. В ванной я включил свет, который виден снаружи, и через десять минут выключил его. То же самое я проделал в своей спальне, затем в темноте надел кепку, замотал лицо черным шарфом и на цыпочках по лестнице для прислуги спустился в кухню, где при свете дежурного огонька газовой плиты снял с крючка на посудном шкафу старинный десятидюймовый ключ и опустил его в карман брюк.

Выйдя во двор через заднюю дверь, я закрыл ее за собой и неподвижно застыл в морозной ночи, давая своим глазам привыкнуть к темноте. Сначала казалось, что они никогда не привыкнут, потому что беззвездная ночь была непроглядно темна.

Холод ледяным одеялом охватил мое дрожащее тело. Я слышал птичьи крики и жалобное повизгивание какой-то маленькой зверюшки.

Постепенно я стал различать выложенную камнем тропинку. Четырьмя пролетами каменных ступеней она спускалась по склону к ручью, давшему имя имению^[9], по пешеходному мостику пересекала его, упиралась в калитку и за ней снова поднималась к лишенной растительности вершине холма, на которой я постепенно начинал различать знакомый силуэт небольшой коренастой церкви, так основательно прорисовывавшийся на фоне ночного неба, что казался выгравированным на нем.

Пробираясь по тропинке, я держал путь к этой церкви. Но не для того, чтобы молиться.

Меня нельзя назвать религиозным человеком, хотя я считаю, что с верой в Него общество лучше, чем без Него. Я не опровергаю Его, как Ларри, чтобы потом ползти к Нему с извинениями, но и не приемлю Его.

Если в глубине души я и верю в некий главный смысл, в *Urgeist*^[10], как сказал бы Ларри, то мой путь к нему скорее эстетический – через, скажем, осеннюю красоту Мендипских холмов или через Листа, которого мне играет Эмма, – чем через молитву.

Тем не менее судьба распорядилась так, что мне пришлось стать хранителем веры, потому что, когда я унаследовал от дяди Боба, царство ему небесное, Ханибрук и решил сделать его Обителью Ветерана «Холодной Войны», я получил вместе с ним титул сквайра и должность старосты прихода притулившейся на восточной окраине моих владений церкви святого Иакова Меньшего, миниатюрного собора в раннеготическом стиле с приделом, цилиндрическим сводом, небольшой шестигранной колокольной и великолепной парой огромных воронов, однако из-за удаленности местоположения и из-за упадка интереса к религии не используемой для богослужения.

Сразу по переезде из Лондона, еще горя энтузиазмом по поводу своей новой сельской жизни, я с полного согласия епархиальных властей решил возродить мою церковь в качестве места богослужения. При этом я не сообразил, как не сделал этого и епископ, что тем самым уменьшу и без того сократившееся число прихожан расположенной в миле отсюда местной церкви. За свой счет я починил крышу и отреставрировал балки прекрасного небольшого портика. С личного благословения жены епископа я восстановил ризницу, организовал дежурство добровольцев для уборки церкви и, когда все было готово, заполучил бледного помощника приходского священника из Веллса, который за неформальную плату принялся духовно окормлять пеструю команду фермеров, приезжающих на выходные дни горожан и нашего брата пенсионера. Все мы изо всех сил старались показать ему наше религиозное рвение.

Однако не прошло и месяца, как и епархиальные власти, и я вынуждены были признать, что все мои старания были напрасными. Началось с того, что из-за Эммы взбунтовались добровольцы. Им, видите ли, не понравилось, что они со своими ведрами и швабрами едут на своих «лендровегах» черт знает откуда только за тем, чтобы застать ее за пультом органа играющей Питера Максвелла Дэвиса для паствы, состоящей из одного-единственного человека. Они неблагодарно намекали, что если охочий до подростков лондонец и его фифа хотят использовать церковь в качестве личного концертного зала, то пусть и убирают его сами. Затем явился лишенный предрассудков молодой человек в куртке и ботинках оленьей кожи вроде Ларриных, представился, заявил, что говорит от имени какой-то церковной организации, название которой я слышал первый раз в жизни, и потребовал от меня сведений:

сколько у нас прихожан, какова величина пожертвований и как мы ими распоряжаемся, как зовут приезжающих к нам священников. В своей прошлой жизни я потребовал бы у него документы, потому что он имел наглость спросить, не масон ли я, но ко времени его ухода я понял, что моя миссия по спасению святого Иакова Меньшего подошла к концу. Епископ с радостью со мной согласился.

Однако я не бросил свою ношу. Во мне умер прирожденный дворецкий, и вскоре я стал находить умиротворяющее удовольствие в мытье каменных плит, протирке скамей от пыли и надраивании подсвечников в тишине моей личной семисотлетней церкви. Но к тому времени у меня была еще одна причина, чтобы продолжать удерживать ее за собой: кроме духовного утешения, святой Иаков дал мне лучшее убежище из всех, о которых я мог только мечтать.

Я не говорю о дамской часовне с ее изъеденными жучком деревянными панелями, за которыми было столько свободного места, что там можно было незаметно разместить целый архив, или о емких сейфах под крошащимися надгробиями, где можно было надежно хранить сколько угодно бумаг. Я говорю о самой колокольне, о тайной шестигранной, без окон, камерке священника, путь в которую вел из ризницкой через потайную дверь за шкафом для церковной утвари по узкой винтовой лестнице и затем через вторую дверь, которыми, как я искренне верю, в течение столетий никто не пользовался и которые я обнаружил случайно, задумавшись о несоответствии внешних и внутренних размеров колокольни.

Я сказал «без окон», но в качестве чего бы ни была задумана моя тайная каморка, в качестве убежища или в качестве приюта плотских утех, ее гениальный создатель догадался снабдить ее узкими горизонтальными бойницами, расположив их по одной в местах, где в верхней части стены главные стропила соединяются с поддерживаемым ими деревянным шатром крыши, нависающим над наружной стеной колокольни. Встав в свой полный рост и переходя от одной бойницы к другой, я мог видеть приближающегося с любой стороны неприятеля.

Что касается светомаскировки, то я провел десятки испытаний. Проведя в каморку самодельное освещение, я долго бродил вокруг церкви то на большом, то на малом расстоянии, и, только прижавшись к самой стене колокольни и задрав голову вверх, я смог разглядеть слабые отблески света, отраженного от внутренней стороны деревянного свода.

Я так подробно описываю свою каморку священника из-за роли, которую она играла в моей внутренней жизни. Только тот, кто пожил тайной жизнью, знает ее наркотическое действие. Никто из отвергнувших тайный мир или отвергнутых им полностью не справляется с последствиями этого отвержения. Его тоска по внутренней жизни временами становится невыносимой, будь то религиозная или подпольная жизнь. Каждую минуту ему грезится зов, возвращающий его снова в мир тайн.

Это и происходило со мной каждый раз, когда я входил в эту каморку и снова просматривал свою маленькую сокровищницу: дневники, которые я не должен был вести, но вел и продолжаю вести и сейчас, старые записи, не уничтоженные оперативные журналы, торопливые наброски документов, незарегистрированные ленты звукозаписи и целые папки, предназначенные Верхним Этажом к уничтожению и в качестве уничтоженных зарегистрированные только за тем, чтобы переключить в мой личный архив и храниться там – частично в назидание потомству, а частично в качестве гарантии на черный день, которого я всегда с тревогой ждал и который

теперь наступил: на тот случай, что, либо в результате непонимания моего начальства, либо в результате моих собственных неразумных действий, в неправильном свете предстанет то, что я искренне говорил и делал.

И, наконец, кроме моего архива у меня была моя личная спасательная шлюпка на тот случай, что и он мне не поможет: бумаги на имя некоего Бэйрстоу, включающие в себя паспорт, кредитную карточку и водительские права, законно оформленные для отмененной потом операции, но сохраненные и позже продленные мной. После этого я многократно продлевал и испытывал их, пока не убедился, что канцелярия Конторы забыла об их существовании. И об их годности, разумеется. Речь шла об операции в своей стране, и эти документы не были дешевой одноразовой фальшивкой для использования за границей. Каждый из них был введен в соответствующие компьютеры, зарегистрирован и защищен от посторонних запросов, так что если человек знал свое дело – а я знал – и не нуждался в деньгах – а я не нуждался, – то с такими документами он мог прожить жизнь не менее безопасно, чем со своими собственными.

Пересекая ручей по пешеходному мостику, я погрузился в клубы холодного тумана. Добравшись до калитки, я отодвинул засов. Затем я как можно быстрее закрыл за собой калитку, и ее возмущенный скрип добавился к ночным звукам. По тропинке я направился вверх, через старое кладбище, ставшее местом последнего упокоения дяди Боба, к двери церкви, на которой нащупал замочную скважину. Вставив в нее в полной темноте ключ, я с усилием повернул его, открыл дверь и ступил на порог.

Церковный воздух не спутаешь ни с каким другим. Это воздух, которым дышат мертвые, сырой, застоявшийся и пугающий. В нем носится эхо даже не прозвучавших звуков. Как можно быстрее пробравшись в ризницу, я нашел шкаф с утварью, отодвинул его, мимо камней протиснулся на винтовую лестницу, ведущую к моему убежищу, и включил свет.

Я был в безопасности. Наконец я мог подумать о немыслимом. Вся моя внутренняя жизнь, которую я не то что исследовать, а признать не решался, пока находился вне моего убежища, лежала передо мной, открытая для изучения.

Мистер Тимоти д'Абель Крэнмер, отвечайте. Совершили ли вы вечером восемнадцатого сентября или около этого времени у пруда Придди в графстве Сомерсет убийство посредством нанесения побоев и посредством утопления некоего Лоуренса Петтифера, а в прошлом вашего друга и секретного агента?

Мы дрались, как дерутся только братья. Все мои уговоры и умасливание его, все беззаботно брошенные им оскорбления, которые я проглотил, начиная с его насмешек над моей первой женой Дианой на протяжении более чем двадцати лет, и в которых он намекал на мою эмоциональную неадекватность, выражающуюся, по его словам, в моей дежурной улыбке и в моих хороших манерах, заменяющих мне сердце, оскорбления, кульминацией которых было легкомысленное похищение им Эммы, – все это, копившееся и сдерживаемое годами, яростно прорвалось наружу.

Я наносил ему удары один за другим, и, вероятно, он отвечал мне тем же, но я ничего не чувствовал. Его удары были для меня только препятствием на пути к моей цели, а она была в том, чтобы убить его. И намерение, с которым я пришел сюда, было близко к осуществлению. Я бил его так, как мы лупили друг друга, когда были мальчишками: яростными, размашистыми, безыскусными ударами, дрались, как нас учили не драться в школе боевой

подготовки. Если бы я не смог сделать это руками, я разорвал бы его на куски зубами. *Ладно*, кричал я ему, *ты звал меня шпионопатом, так что вот тебе за шпионопата!* И время от времени без малейшей надежды получить ответ я выкрикивал вопрос, который жег мне душу со дня ухода Эммы: *«Что ты с ней сделал? Какую ложь про нас, – я подразумевал правду, – ты ей сказал? Что ты обещал ей такого, чего не мог дать ей я?»*

Светила полная луна. Высокая болотная трава под нашими ногами была перепутана буйными мандипскими ветрами. Наступая на него, нанося ему удары, я чувствовал, как она хватает меня за колени. Должно быть, я споткнулся, потому что луна качнулась в сторону и снова вернулась на свое место, а изрезанная контурами карьера линия горизонта стала вертикальной. Но я продолжал бить его кулаками в перчатках, продолжал выкрикивать свои вопросы, словно самый дерзкий в мире следователь. Его лицо было мокрым и разгоряченным; я думаю, оно было вымазано кровью, но в призрачном лунном свете все искажено: слой пота и грязи вполне может выглядеть как кровь. Поэтому я не обращал внимания на его вид и продолжал наносить ему удары, все время выкрикивая: *«Где она? Верни ее мне! Отпусти ее!»* Мои удары достигали цели, и его насмешливый вид сменился жалобным всхлипыванием.

Я наконец взял верх над ним, над своей точной копией, как он себя называл, над Тимбо Без Пут, жизнью которого я не осмеливался жить, а вернее, поручил жить ему. Так умри же, крикнул я ему и нанес удар локтем: устав, я вспомнил наконец, чему меня учили. Секундой позже я нанесу ему прямой удар в горло или пальцами в перчатке выдавлю ему его похотливые глаза. *Умри, и тогда моей жизнью буду жить один я. Нас слишком много, старина Ларри, чтобы жить ею одной.*

У нас был долгий разговор, разговор об измене клятве и о том, чья жизнь чья и чья девушка чья и куда она спрятана и зачем. Разговор и о нашем далеком темном прошлом. Но разговоры разговорами, а я пришел сюда, чтобы убить его. За поясом у меня был мой 0,38, из которого я собирался в подходящий момент застрелить его. Без номера, без заводских данных, без «истории». Сведений о нем нет ни в британской полиции, ни в Конторе. Я приехал сюда в машине, с которой не имею ничего общего, и на мне одежда, которую я никогда больше не надену. Теперь мне ясно, что убийство Ларри я планировал долгие годы, сам не подозревая этого; возможно, я занимался этим с того самого дня, когда мы обнялись на площади Святого Марка. А возможно, еще с Оксфорда, где ему доставляло такое удовольствие публично унижать меня: *Тимбо, который не может дождаться своих зрелых лет; Тимбо, девственница нашего колледжа, наш работяга-буржуа, наш маленький епископ.* А возможно, даже в Винчестере, где, несмотря на все сделанное мной для него, он никогда не проявлял достаточного уважения к моему повышенному статусу.

Все было сделано профессионально, все следы замечены, как в прежние дни. Это был не приготовленный Тимом воскресный обед с разглагольствованиями Ларри и романтической прогулкой с Эммой потом. Я пригласил его на тайную встречу сюда, на Мандипские холмы, на это залитое лунным светом плато, которое ближе к небу, чем к земле, где деревья отбрасывают свои мертвенные тени на белесую дорогу, по которой не ездят машины. Чтобы не возбуждать подозрений, я сказал ему, что хочу видеть его по срочному делу, изложить которое могу только при встрече. И Ларри поспешил на нее, потому что при всем его артистическом позерстве после двадцати лет моих терпеливых усилий он до мозга костей оперативник.

А я? Кричал ли я на него с самого начала? Нет, не думаю. Речь пойдет об Эмме, Ларри, начал я, когда мы сошлись лицом к лицу под луной. Я, вероятно, опять улыбнулся ему своей дежурной улыбкой. Тимбо Без Пут все еще ждал, чтобы выпрыгнуть из коробочки. О наших отношениях.

Наших отношениях? Чьих отношениях? Эммы и моих? Ларри и моих? Их и моих? Это ты толкнул меня к нему, сказала сквозь слезы Эмма, ты выставил меня ему напоказ, даже не догадываясь об этом.

И он видел мое лицо, искаженное, я уверен, лунным светом и уже достаточно дикое для того, чтобы предупредить его об опасности. Но, вместо того чтобы испугаться, он отвечал мне настолько нагло, настолько в манере, которую я возненавидел за тридцать с лишним лет, что этим он, сам не зная того, подписал себе смертный приговор. Этот ответ теперь непрерывно звучит в моей голове. В темноте он маячит передо мной, как огонек, который надо выследить и погасить. Даже днем он пронзительным эхом отдается в моих ушах:

– К черту твои проблемы, Тимбо. Ты украл мою жизнь, я украл твою женщину. Только и всего.

Я понял, что он пьян. В осеннем мениппском воздухе я слышал запах виски. В его голосе была та высокомерная нотка, которая появлялась у него, когда он собирался закатить без единой запинки один из своих монологов со сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями; в них ясно различалась даже точка с запятой. Мысль о том, что он под мухой, возмутила меня. Я хотел, чтобы он был трезв и вменяем.

– Ты понимаешь, идиот, что за нее заплачено сполна, – выкрикнул он мне. – И что она не постельная игрушка для задержавшегося с развитием старпера!

Взбешенный, я выхватил из-за пояса револьвер движением, которому нас обоих учили, и с расстояния в фут нацелил его в переносицу Ларри.

– А это ты видел? – спросил я его.

Но наведенное на него дуло, похоже, не прибавило ему благоразумия. Он скопился на него, а потом с деланно-восхищенной улыбкой поднял на меня глаза.

– Ой, какой он у тебя большой, – сказал он.

Тут я потерял терпение и, сжав револьвер двумя руками, его рукояткой ударил Ларри по лицу.

Или я решил, что так сделал.

И, возможно, именно тогда я и убил его.

Или, может быть, я запомнил то, что мне тогда казалось, а не то, что происходило.

Возможно, что все остальные мои удары, если я вообще наносил их, пришлись уже на мертвое или Умирующее тело, и ни явь, ни сон не принесли мне ответа на этот вопрос. Последующие дни и ночи между ними принесли мне не ясность, а только кошмарные вариации одной и той же сцены. Я тащу его к пруду, я толкаю его, и он скатывается в воду и погружается почти без всплеска, издав только слабый чмокающий звук, как если бы его втянули в нее. Я не могу сказать, паника или раскаяние двигали мной в этом последнем акте драмы. Возможно, что это был инстинкт самосохранения, потому что, даже когда я тащил его по кочкам травы, наблюдая, как его мертвенно-бледное в лунном свете лицо с улыбкой то кивает мне, то скрывается под травой, я вполне серьезно решал, пустить ли мне в него пулю или на полной скорости отвезти в бристоальскую больницу.

Но ни во сне, ни наяву я не сделал ни того, ни другого. Он соскользнул в воду головой вперед, а его лучший друг поехал домой один, сделав только по пути остановку, чтобы сменить машину и одежду. Был ли я рад? Был ли я в отчаянии? Кроме раскаяния убийцы, мною владели оба эти чувства и еще чувство моментального облегчения бремени, давившего на меня долгие годы.

Но убил ли я его?

Я не стрелял. Все патроны в барабане револьвера целы.

На рукоятке крови нет.

А он дышал. Мертвецы, если только они не Ларри и не пьяные, не дышат, даже если они улыбаются.

Так что же, я убил только себя?

Ларри – моя тень – крутился в дальнем уголке моего мозга, когда я в полубессознательном отрешении въезжал в сложенные из песчаника ворота Ханибрука. Единственный способ поймать его – это упасть на него. Потом я вспомнил когда-то сказанное им, цитату из одного из его литературных кумиров: «Это иллюзия, что можно убить другого, не убив себя».

Благополучно вернувшись в свой кабинет, я задрожавшими наконец руками налил себе огромную порцию виски и залпом выпил ее, а потом еще, и еще, и еще одну. Столько я не пил со дня Гая Фокса в Оксфорде, когда Ларри и я едва не отдали концы, соревнуясь в выпивке. Это черный свет, осознаю я внезапно протрезвевшей головой, отодвигая в сторону пустую бутылку и принимаясь за вторую: черный свет, который видит боксер, отправляясь в нокаут, черный свет, который заманивает порядочных людей на пустоши с револьвером за поясом, чтобы убивать своих лучших друзей, черный свет, который начиная с этой ночи будет гореть в моей голове, освещая все, что случилось и не случилось у пруда Придди.

Я вернулся к реальности. Я сидел, обхватив руками голову, за грубо сколоченным столом в моем убежище священника, и мои досье и тетрадки стопками лежали передо мной.

Ларри – не только моя мертвая Немезида, но и *вор*, спрашивал я себя, стяжатель, конспиратор, любитель не только женщин, но и тайного богатства?

Все, что я знал о себе и о Ларри, восставало против этой мысли. Деньги не были нужны ему, сколько раз я должен крикнуть в пустоту, чтобы кто-нибудь поверил мне? *Жадность делает глупым*.

За всю его карьеру агента ни разу, когда ему поручалось сделать то или это, он не спросил меня: а сколько мне за это заплатят?

Ни разу он не потребовал прибавить к его тридцати сребреникам, не посетовал на нашу скупость в отношении к его расходам, не пригрозил забросить свой плащ и кинжал, если мы не прибавим ему жалованье.

Ни разу, получив от своего советского контролера ежемесячную сумму на выплату жалованья вымышленным субагентам, портфель с несколькими десятками тысяч фунтов, он ни слова не сказал против правил Конторы, требовавших отдать мне все до пенса.

И вот теперь вдруг вор? Инкассатор и сообщник Чечеева? Тридцать семь миллионов, выкачанных *Ларри* с банковских счетов? И *Чечеевым*? В сговоре с *Зориным*? Все трое – обычные мошенники?

– Привет, Тимбо!

Вечер. Мы в Твикенхеме, где ни один из нас не живет, поэтому мы и приехали сюда. Мы сидим в зале паба «Капустный лопушок», а может быть, «Подводная луна». Свои пабы Ларри выбирает только из-за их названий.

– Привет, Тимбо. Знаешь, что сказал мне Чечеев? Они крадут. Горцы крадут. Украсть почетно, если ты крадешь у казаков. Ты берешь винтовку, выходишь на охоту, убиваешь казака, забираешь его коня и героем возвращаешься домой. В прежние времена они привозили и головы своих врагов, чтобы дети играли с ними. Будь здоров.

– Будь здоров, – отвечаю я, готовясь слушать Ларри, который сегодня в ударе.

– Нет запрета и на убийство. Если ты оказался втянутым в кровную месть, *честь* требует, чтобы ты перебил всех врагов, до которых доберешься. Да, и ингуши начинают рамадан раньше положенного только для того, чтобы доказать соседям свое благочестие.

– И что же ты собираешься делать? – спрашиваю я терпеливо. – Красть для него, убивать для него или молиться для него?

Он смеется, но прямого ответа мне не дает. Вместо этого мне предстоит выслушать лекцию о суфизме, распространенном среди горцев, и об огромной роли тайных сообществ в сохранении этнического единства; мне напоминают, что Кавказ – настоящий пламенный котел для этносов, мощный заслон от Азии, последний редут обороны малых наций и отдельных этносов. Сорок языков на территории размером с Шотландию, Тимбо! Мне советуют перечитать Лермонтова и «Казаков» Толстого и плюнуть на романтическую писанину Александра Дюма.

С одной стороны, энтузиазм Ларри меня радует. До прибытия ЧЧ в Лондон я и гроша ломаного не дал бы за будущее нашей операции. А теперь мы все трое радуемся ее возрождению. А если подумать, то рад, наверное, и витающий в облаках секретности где-то за спиной ЧЧ его высокий босс, досточтимый Володя Зорин. Но, с другой стороны, отношениям Ларри с ЧЧ я доверяю меньше, чем его отношениям с кем-либо еще из его прежних русских контролеров.

Почему?

Потому что ЧЧ добрался до тех струн души Ларри, до которых не добрались его предшественники. И до которых не добрался и я.

Ларри шпарит слишком уж без запинки, читаю я раздраженную запись, сделанную моей рукой на листе отчета. Уверен, что они с ЧЧ что-то затевают ... Да, но что затевают? Я нетерпеливо задаю себе этот бесцельный вопрос. Ради спортивного интереса ограбить жителей равнины? Но это слишком бессмысленно. Под влиянием более сильной личности Ларри способен на очень многое. Но подделывать подписи, открывать фиктивные счета? Участвовать в большом, сложном мошенничестве, итогом которого является куш в тридцать семь миллионов? Такого Ларри я не знал. Но какого Ларри я тогда знаю?

Личное дело ЧЧ, читаю я надпись четкими печатными буквами Крэнмера поперек обложки толстой голубой папки, в которой собраны мои личные бумаги о Чечееве, начиная с его приезда в Лондон и кончая последним официально зафиксированным визитом Ларри в Россию.

– ЧЧ – звезда, Тимбо... Наполовину аристократ, наполовину дикарь, Mensch^[11] до кончиков ногтей и чертовски занятный... – восторженно заливается Ларри, – он всегда ненавидел все русское из-за того, что Сталин

сделал с его народом, но после доклада Хрущева на двадцатом съезде он сделался ярким сторонником линии партии. Вот что он, как кредо, повторял, когда напивался: *«Я верю в двадцатый съезд»*.

– ЧЧ, как ты вляпался в это дерьмо, спросил я его. Он ответил, что это было во время его учебы в Грозном. С трудом ему удалось поступить в университет, преодолев многочисленные бюрократические рогатки. Вернувшихся из ссылки ингушей встречали вовсе не с распростертыми объятиями в единственном университете, расположенном неподалеку, в Грозном, в соседней Чечне. Горстка сорвиголов, возмущенных тем, как всюду обращаются с ингушами, решила вовлечь его в попытку взорвать комитет партии. ЧЧ сказал им, что они сошли с ума, но они не стали его слушать. Он сказал им, что верит в двадцатый съезд, но они все равно не слушали его. Тогда он расспросил их обо всем, а когда дверь за ними закрылась, прямиком отправился в КГБ...

– На КГБ он произвел такое впечатление, что, когда он закончил учебу в университете, они завербовали его и послали в подмосковную школу, где он три года изучал английский, арабский и шпионское дело. Да, и вот еще что – в любительском спектакле он сыграл лорда Горинга в «Идеальном муже». Он говорит, что успех был потрясающий. Ингуш в роли лорда Горинга! Он мне нравится!

Подтверждено микрофонной записью, прозаическая деловая приписка, сделанная канцелярским почерком Крээнмера.

– Грозный – это в России? – слышу я свой вопрос.

– Точнее говоря, в Чечне. Северный Кавказ. Недавно они стали независимыми.

– Как ты туда попал?

– Автостопом. Самолетом до Анкары. Потом долетел до Баку. Пешочком по берегу, потом сворачиваешь налево. Проще пареной репы.

Время, подумал я, невидящим взглядом уставившись в каменную стену передо мной.

Держаться за время.

Время, великий врачеватель мертвых. Я держался за него пять недель, а теперь вцепился в него отчаянно.

Первого августа я отключил свой телефон.

Несколько воскресений спустя – воскресенье наш роковой день – Эмма забрала свой рояльный стульчик и свои антикварные драгоценности и отбыла в неизвестном направлении, не оставив своего следующего адреса.

Восемнадцатого сентября я убил или не убил Ларри Петтифера у пруда Придди. Пока Эмма не ушла, я только знал, что в лучших традициях государственной службы должны быть предприняты какие-то шаги. Время превратилось в пустое пространство, залитое черным светом.

Время снова стало временем десятого октября, двадцать два дня после Придди, когда Ларри Петтифер не явился на первую лекцию своего курса в Батском университете и официально стал отсутствующим.

Вопрос: *Как долго Ларри отсутствовал, прежде чем его отсутствие было зафиксировано официально?*

Вопрос: *Где была Эмма, когда я убивал или не убивал Ларри?*

Вопрос: *Где Эмма сейчас?*

И самый большой из вопросов, на который мне никто не ответит, даже если кто-то и знает ответ: *Когда Чечеев был у Ларри?* Потому что если

последний визит ЧЧ в Бат состоялся после восемнадцатого сентября, то воскресение Ларри состоялось. Если до, то мне предстоит брести дальше в черном свете, оставаясь убийцей самого себя, а может быть, и Ларри.

После времени следует материя: *Где тело Ларри?*

В Придди два пруда, Майнерис и Уолдгрейв. Именно Майнерис местные жители зовут прудом Придди, и летом на его песчаном берегу весь день резвятся дети. По выходным семьи со средним достатком устраиваются на пикник на травянистой пустоши возле него, оставляя свои «вольво» на ближайшей асфальтовой площадке. И непонятно, как мог такой большой труп, как труп Ларри, – да и *любой* труп вообще, – плавать, разлагаясь и воняя, и оставаться при этом незамеченным в течение тридцати шести дней и ночей?

Первая материальная гипотеза: *Полиция нашла тело Ларри и лжет.*

Вторая материальная гипотеза: *Полиция играет со мной в кошки-мышки, ожидая, когда я дам им в руки необходимые улики.*

Третья материальная гипотеза: *Я переоцениваю умственные способности полицейских.*

А Контора, что делает она? О Господи, да что же ей делать, кроме того, что она делает всегда. Скачет во все стороны и никуда не приезжает.

Четвертая материальная гипотеза: *Черный свет становится белым, а тело Ларри не мертво.*

Сколько раз я возвращался к пруду, чтобы бросить на него взгляд? Почти возвращался. Свернув на обочину, выходил из машины в старой спортивной куртке по дороге якобы в Касл Кери, в магазин за покупками или к Эпллби в Веллс.

Где-то я читал, что утопленницы плавают лицом вверх, а утопленники – лицом вниз. Или наоборот? Плавает ли там еще Ларри, улыбаясь мне в лунном свете и обвиняя меня? Или с тех пор он так и плавает в грязной воде разбитым вверх своим затылком?

Я открываю карандашную запись с послужным списком Чечеева, составленным частично по его официальной биографии, а частично – на основании откровений Ларри.

1970, Иран, под именем Грубаева. Отличился при установлении контактов с местной коммунистической партией (подпольной). Отмечен благодарностью Центрального Комитета, в состав которого по должности входит начальник отдела кадров КГБ. Получил повышение.

1974, Южный Йемен, под именем Климова, в качестве заместителя главы резидентуры. Отчаянные схватки, перестрелки в пустыне, перерезанные глотки (восторженное описание Ларри: он – русский Лоуренс Аравийский, пьет верблюжьей мочу и ест поджаренный песок).

1980–1982, неожиданное назначение в Стокгольм, где Чечеев заменяет второго человека в местной резидентуре, высланного из страны за деятельность, несовместимую и т.д. Смертельная скука. Возненавидел Скандинавию за двумя исключениями: для водки и для женщин. (Ларри: на неделю ему нужно было по три штуки. Женщины и бутылки.)

1982–1986, английский отдел московского центра, изнывал от скуки и получал выговоры за дерзкое поведение.

1986–1990, в Лондоне под именем Чечеева, второй человек в резидентуре, заместитель Зорина (поскольку, как я объяснил дорогой Марджори, черножопому никогда не бывать руководителем резидентуры в главных западных странах).

Из припиленного ко внутренней стороне обложки папки конверта я извлекаю пачку снимков, сделанных в основном Ларри: ЧЧ возле дачи советского посольства в Гастингсе, куда Ларри иногда приглашали на уик-энд. ЧЧ на Эдинбургском фестивале на фоне плаката с надписью: «Кавказская программа танцев и музыки»: он отрабатывает свое прикрытие, должность атташе по культуре.

Я снова смотрю на лицо Чечеева, как часто смотрел на него в прошлом: изношенное, но с приятными чертами; выражение сухого юмора и печать недюжинных способностей. Прищур холодных глаз стоимостью тридцать семь миллионов фунтов.

Я продолжал разглядывать его. Взял старую лупу дяди Боба, чтобы разглядеть лучше, чем когда-либо раньше. Я читал, что великие полководцы возили с собой портреты своих противников, вешали их в своих палатках, разглядывали их, прежде чем вознести свою молитву капризному богу войны. Но в моем отношении к ЧЧ нет ни капли враждебности. Я спрашиваю себя, как я всегда спрашивал себя в качестве одного из родителей Ларри, каким образом ему удавалось водить того за нос. Но так всегда и везде с двойными агентами. Если ты на обманывающей стороне, поведение обманутой кажется тебе абсурдным. А если ты на обманутой стороне, ты из кожи лезешь вон, чтобы убедить других, что ты на обманывающей, и так до тех пор, пока не становится слишком поздно. И, конечно, я не переставал удивляться, как может представитель народа, в течение трехсот лет подавляемого русскими колониальными порядками, позволить уговорить себя на сотрудничество со своими угнетателями.

– Это кавказский оборотень, Тимбо, – возбужденно говорит Ларри, – днем он благоразумный шпион, а ночью горец. В шесть вечера ты можешь наблюдать, как у него вырастают клыки...

Я терпеливо жду, когда его энтузиазм истощится. На этот раз этого не происходит. И постепенно мне, через посредничество Ларри, тоже начинает нравиться ЧЧ. Я начинаю уважать его профессионализм. Я вслух восхищаюсь его способностью удерживать уважение Ларри. И хотя я не понимаю, за что Ларри называет его волком, я чувствую, даже заочно, силу его протеста против ужасной системы, которой он служит.

В ламбетском центре наблюдения я сижу рядом с Джеком Эндовером, нашим главным соглядатаем, и он показывает мне видеосъемку того, как в Кью-Гарденс ЧЧ забирает из тайника послание, за час до этого оставленное там Ларри. Сначала неторопливой походкой он проходит мимо сигнального знака, указывающего, что послание в тайник заложено: камера показывает детский рисунок, который Ларри мелом начертил на кирпичной стене. Проходя мимо, ЧЧ краем глаза отмечает его. Его походка легка, почти нахальна, словно он знает, что его снимают. С равнодушным видом он направляется к клумбе с розами. Он наклоняется, словно для того, чтобы прочесть табличку с ботаническим описанием. При этом верхняя часть его тела совершает быстрый нырок, а рука выуживает пакет из тайника и тут же прячет его за пазуху. Все это совершается таким ловким, таким неуловимым движением, что я поневоле вспоминаю цирковое представление, на которое когда-то повел меня дядя Боб. Там казаки на полном скаку соскальзывали под брюхо своих неоседланных коней и появлялись с другой стороны, приветствуя зрителей.

– Вы уверены, что у вашего артиста в жилах нет валлийской крови? – спрашивает меня Джек, пока ЧЧ завершает свой невинный осмотр клумбы.

Джек прав. У ЧЧ точность движений сапера и сноровка фокусника.

– Мои мальчики и девочки в полном восторге от него, – говорит он мне, когда я ухожу, – ловкость рук – это не то слово. Они говорят, что следить за ним – настоящая честь, мистер Крэнмер.

Неловко он добавляет:

– О Диане вы что-нибудь слышали, мистер Крэнмер?

– Спасибо, с ней все в порядке. Она снова вышла замуж, счастлива, и мы продолжаем оставаться друзьями.

Моя бывшая жена до того, как увидела свет, работала в отделе Джека.

И снова деньги.

После времени, материи и Константина Чечеева необходимо рассмотреть деньги. Не те деньги, которые я израсходовал за год, или которые я получил в наследство от дяди Боба и тети Сесили, или на которые я купил Эмме совсем ей не нужный «Бехштейн». Настоящие деньги, тридцать семь миллионов, выданных из русского правительства путем беловоротничкового бандитизма с пальчиками Ларри по всему досье.

Встав из-за стола, я обхожу по кругу свое убежище, по очереди заглядывая в бойницы. Я ловлю воспоминания, которые ускользают от меня, как только я пытаюсь ухватиться за них.

Деньги.

Вспомнить все случаи, когда Ларри упоминал деньги в любом контексте, кроме налогов, долгов, неоплаченных счетов, самодовольного материализма Запада и чеков, которые он не позаботился обналичить.

Сев за стол, я стал снова просматривать папки, пока не нашел то, что искал, сам точно не представляя себе, что это такое. Это был желтый листок из какого-то казенного блокнота, испещренный замечаниями, сделанными моей синей шариковой ручкой. По верху листка в рассеянном стиле, которым я говорю сам с собой, записан вопрос:

«Почему Ларри солгал мне про богатого друга из Туллы?»

Я принимаюсь за вопрос не спеша, как всегда это делает Ларри. Я – разведчик. Ничто не существует вне контекста.

Ларри только что вернулся из Москвы. Начинается последний год нашей совместной работы. Наша явочная квартира на этот раз не на Тоттенхем-Корт-роуд, а на Хозварте в Вене, в предназначенном на снос особняке с расползающейся зеленой крышей и казенной мебелью. Уже светает, но мы еще не ложились. Ларри прилетел вчера поздно вечером, и, как обычно, мы сразу приступили к обсуждению его поездки. Через несколько часов Ларри предстоит открывать своей речью конгресс Интернационала озабоченных журналистов, которых он по своему обычаю окрестил психами. Он развалился на диване, одна тонкая рука бессильно опущена, как на портретах Зиккерта, в другой, у живота, стакан виски. С рассветом банда немолодых специалистов по России – термин «советологи» теперь не в ходу – оставила его в покое, и он разглагольствует о мировых проблемах, мировых проблемах по нашу сторону границы. Даже перед разговором о деньгах Ларри должен поговорить о мировых проблемах.

– Запад больше не способен на сострадание, Тимбо, – объявляет он потолку, даже не пытаясь сдержать смачный зевок. – Все, мы выдохлись, так нашу мать.

Ты все еще в Москве, думаю я, глядя на него. С годами перестраиваться, приспосабливаться к смене лагерей тебе становится все труднее, и тебе

нужно все больше времени, чтобы почувствовать себя дома. Я знаю, что, когда ты смотришь в этот потолок, ты видишь московское небо. Когда ты смотришь на меня, ты сравниваешь мою упитанную физиономию с осунувшимися лицами, которые ты видел только что. И, когда ты ругаешься, я понимаю, что ты опустошен.

– Голосуйте за новую российскую демократию, – туманно изрекает он, – антисемитскую, антиисламскую, антизападную и продажную до мозга костей. Да, Тимберс^[12]...

Но даже на пороге разговора о деньгах Ларри должен сначала поесть. Яичница с беконом и его любимый поджаренный хлеб. Растолстеть ему не грозит. Яиц лучше побольше и на сковороде перевернуть. Английский чай «Фортнум и Мейсон», привезенный специалистами по России. Цельное молоко и сахарный песок. Хлеб с отрубями. Много соленого масла. Миссис Батхерст, хозяйка нашей явочной квартиры, хорошо изучила все привычки мистера Ларри, и я тоже. Пища умиротворяет его. Всегда умиротворяла. В длинном траченном молью коричневом халате, который он повсюду возит с собой, он снова становится моим другом.

– Да? – отзываюсь я.

– Ты не знаешь, у кого можно стрельнуть денег? – с полным ртом спрашивает он. Мы подошли к цели его разговора. Не зная этого, я буду, разумеется, для него неполноценным собеседником. Возможно, из-за окончания «холодной войны» он все чаще раздражает меня больше, чем я готов признать.

– Ладно, Ларри, выкладывай, в какое дерьмо ты вляпался на этот раз? Всего пару недель назад нам пришлось вносить за тебя залог.

– Он разразился смехом, слишком искренним, чтобы я мог вынести его.

– Не переживай, дурачок. Это не для меня. Это для моего приятеля. Мне нужен толстопузый банкир-кровопийца с сигарой во рту. Ты не знаешь такого?

И мы начинаем разговор о деньгах.

– Этот мой приятель из Гульського университета, – добродушно объясняет он, намазывая джем на свой тост. – Его имя тебе ничего не скажет, – добавляет он, прежде чем я успеваю спросить, как его зовут. – Бедняга говорит, что на него свалилась куча денег. Огромная куча. Нежданно-негаданно. Совсем как на тебя, Тимбо, когда твоя тетка, как бишь ее, откинула копыта. И теперь ему нужны деньги: на бухгалтеров, адвокатов, поверенных и тому подобное. Ты не знаешь какого-нибудь шишку с офшорной компанией, чем-нибудь таким мудреным? Подумай, Тимбо, ты наверняка кого-нибудь знаешь.

Я смотрю на него, и больше всего меня интересует, почему именно этот момент он выбрал для обсуждения такой не относящейся к делу темы, как финансовые проблемы его приятеля из Гулля.

А случилось так, что буквально за два дня до этого рядом именно с таким банкиром я сидел в качестве почетного поверенного частного благотворительного фонда «Уэльский городской и сельский трест имени Чарльза Лавендера».

– Ну что ж, всегда существует великий и добрый Джейми Прингл, – осторожно сказал я. – Никто не назовет его умудренным, но он определенно большая шишка, как он сам первым и скажет.

Прингл вместе с нами учился в Оксфорде и был знаменитым регбистом из одной с Ларри группы.

– Джейми – придурок, – объявил Ларри, отхлебывая из стакана свой английский чай. – Но все равно, как его найти, если моего приятеля он заинтересует?

Ларри лжет.

Откуда я это знаю? Я знаю. Не нужно быть специалистом по психологии жертв «холодной войны», чтобы видеть насквозь его хитрости. Если вы руководили человеком двадцать лет, обучая его искусству обмана, погружая его в обман, если вы воспитывали в нем коварство и учили применять его, если вы посылали его переспать с врагом и ждали его возвращения, обкусывая свои ногти, если вы были его наставником в любви и в ненависти, в его приступах отчаяния и в приступах злобы, в его вечном беспокойстве, если вы все это время отчаянно старались провести черту между его игрой и реальностью, то либо его душа для вас открытая книга, либо вы не знаете о нем ничего. А я знал план души Ларри не хуже, чем план моей собственной. Будь я художник, я мог бы нарисовать его вам со всеми ее бугорками и пригорками, с указанием мест, где ничего не происходит, а где наступает благостный покой, когда он лжет. О женщинах, о себе. О деньгах.

Записка сквозь зубы Крэнмера самому себе, без даты:

«Спросить Джейми Прингла, что за чертовщину затевает ЛП».

Но топор Мерримена уже был занесен над нами, и, хотя ЛП в тот раз достал меня больше, чем обычно, у меня скоро нашлись другие дела.

И так продолжалось до того самого момента пару месяцев назад, когда мы, двое неженатых мужчин и Эмма, наслаждались нашим уже черт знает каким по счету воскресным обедом в Ханибруке, и я попытался направить наш довольно высокопарный разговор в сторону от пыток в Боснии, этнической чистки в Абхазии, истребления каждого десятого моллуккца и уж не помню каких еще занимавших их тогда жгучих проблем. Тогда случайно и всплыло снова имя Джейми Прингла. А может быть, и не случайно, может быть, какой-то бес подзуживал меня, потому что все происходящее начинало действовать мне на нервы.

– Да, я вот вспомнил, а как наши дела с Джейми, кстати? – спросил я с той особой беззаботностью, с которой мы, шпионы, извлекаем из рукава главный секрет в присутствии простых смертных. – Он поставил товар твоему приятелю из Гулля? Он помог? Как было дело?

Ларри бросает взгляд на Эмму, потом на меня, но меня уже не удивляет, что сначала он смотрит на Эмму, потому что все происходящее между нами теперь является предметом молчаливых консультаций между ними.

– Прингл – скотина, – ответил Ларри коротко. – Всегда был. Есть теперь. И всегда будет. Аминь.

После этого Эмма с видом монашенки устремляет взор на свою тарелку, а Ларри принимается разрабатывать тему равнодушия наших оксфордских сокурсников, переводя таким образом беседу с Джейми Прингла на преступное равнодушие Запада.

Он перевербовал ее, думаю я терминами нашего жаргона. С ней все. Предала. Изменила. И даже сама не знает этого.

Утреннее небо над холмами начинает светиться серыми полосками в бойницах. Неудачливая молодая сова летит, почти задевая крыльями траву, в поисках завтрака. Мы столько раз встречали рассвет вместе, подумал я. Столько жизни потрачено на одного человека. Ларри умер для меня

независимо от того, убил ли я его или нет, и я умер для Ларри. И остается единственный вопрос: кто умер для Эммы?

Я повернулся к столу и снова погрузился в свои бумаги. Когда я коснулся рукой своего лица, то с удивлением обнаружил на нем полуторасуточную щетину. Обведя взглядом свое убежище, я пересчитал стаканчики из-под кофе. Посмотрел на часы и не поверил своим глазам: было три часа пополудни. Но мои часы не врали: солнце было в юго-западной бойнице. У меня было не бессонное ночное дежурство в Хельсинки, и я не возвращался пешком в свою гостиницу, молясь в душе за благополучное возвращение Ларри из Москвы, Гаваны или Грозного. Я был в своей камере священника, и я заготовил пряжу, но еще не спрял из нее нить.

Окидывая взглядом комнату, мои глаза остановились на том уголке моего царства, куда я сам запретил себе вход. Это была ниша, занавешенная подвернувшейся мне под руку плотной шторой, которую я нашел в привратном помещении и наскоро прибил гвоздями. Я называл ее архивом Эммы.

– Твоя Эмма цыпочка ничего себе, – с видимым удовольствием объявил мне Мерримен спустя две недели после того, как я согласно инструкциям сообщил ему ее имя в качестве имени моего возможного партнера. – Тебе будет приятно узнать, что она не представляет опасности ни для кого, кроме, возможно, тебя. Хочешь одним глазком взглянуть в ее папку, прежде чем броситься головой в омут? Я тут подготовил для тебя маленькую выписку.

– Нет.

– Узнать о ее скандальном происхождении?

– Нет.

Маленькая выписка, как он назвал ее, в виде коричневой папки формата А4, без заголовка, с высовывающейся из нее полудюжиной белых листов, тоже без заголовка, уже лежит на его столе между нами.

– О ее потраченных попусту годах? О ее экзотических заграничных поездках? О ее неудачных любовных романах, о ее абсурдных судебных делах, о ее маршах протеста босиком, о ее участии в пикетах, о ее истекающем кровью сердце? Посмотришь на этих нынешних музыкантов и диву даешься, как у них хватает времени выучить ноты.

– Нет.

Ему никогда не понять, что Эмма для меня – мой добровольно принятый на себя риск, моя новая открытость, моя обращенная на одного-единственного человека *гласность*. И что я не хочу никаких краденых сведений о ней, ничего из того, о чем она сама не рассказала мне по своей воле. Тем не менее, к своему стыду, я беру эту папку – он ни секунды не сомневался, что я ее возьму, – и сердито сую ее себе под мышку. Мой профессиональный инстинкт сильнее меня. Знания никогда не убивают, твердил я двадцать лет всякому, кто готов был слушать меня, а вот невежество может убить.

Приведя все в порядок к моему следующему визиту, я протискиваю свое усталое тело по винтовой лестнице вниз и мимо шкафа с утварью. В ризнице я запасаясь халатом, щеткой, тряпкой и политурой для пола. Снарядившись таким образом, я перехожу в главный зал, где на минуту останавливаюсь перед алтарем и торопливо, как это принято у нас, безбожников, бормочу сбивчивые благодарности и обещания Создателю, поверить в которого я не могу себя заставить. Закончив с этим, я приступаю к моим обязанностям

уборщицы, потому что я не из тех, кто позволяет себе отклониться от легенды.

Сначала протираю пыль со средневековых скамей, затем тряпкой прохожусь по паркетному полу, обрызгивая его потом политурой к неудовольствию семейства летучих мышей. Полчаса спустя, все еще в своем рабочем халате и со щеткой в качестве дополнительного вещественного доказательства моего трудолюбия, я выбираюсь на свежий воздух. Солнце скрылось за сине-черной тучей. На голые вершины далеких холмов опустились полосы дождя. И вдруг мое сердце замирает. Я смотрю на холм, который мы зовем Маяком. Он самый высокий из шести. Его контур изрезан камнями и буграми, про которые говорят, что это остатки древнего кладбища. Среди этих камней на зубчатой линии горизонта виднеется темный на фоне ненастного неба силуэт мужчины в длинном пальто или плаще с незастегнутыми, по-видимому, пуговицами, потому что полы пальто развеваются на порывистом ветру, хотя руки мужчины в карманах.

Голова мужчины повернута в сторону от меня, словно я только что врезал по ней рукояткой моего 0,38. Его левая нога выставлена вперед в экстравагантной наполеоновской позе, которую обожал Ларри. На нем кепка, и, хотя я никогда не видел Ларри в кепке, это ничего не значит, потому что он вечно забывает свои головные уборы в чужих домах и регулярно меняет их. Я попытался позвать его, но мой рот не издал ни единого звука. Я открыл рот, чтобы крикнуть «Ларри!», но и на этот раз мой язык не справился с буквой «л». Вернись, беззвучно молил я его, вернись. Давай начнем все с самого начала, давай будем друзьями, а не соперниками.

Я сделал шаг вперед, потом еще один. Мне кажется, я собирался броситься к нему, не обращая внимания на камни и уклон, крича: «Ларри, Ларри! Ларри, с тобой все в порядке?» Но, как Ларри всегда повторял мне, спонтанные порывы никогда мне не удаются. И вместо этого я бросил на землю щетку, сложил ладони рупором у рта и крикнул что-то невразумительное вроде: «Эй, кто это, это ты?»

Возможно, к этому времени я уже понял, что во второй раз за последние несколько дней я обращаюсь к неприятной личности по имени Андреас Манслоу, некогда сотруднику моей секции, а теперь обладателю моего паспорта.

– Какого дьявола вам здесь надо? – закричал я на него. – Как вы смеее являться сюда и шпионить за мной? Ступайте отсюда. Убирайтесь прочь!

Он спускался ко мне с вершины холма, скользя по осыпям плавными паучьими движениями. Я и не подозревал за ним такой ловкости.

– Добрый вечер, Тим, – сказал он уже без вчерашней почтительности. – Потрудился для Боженьки? – спросил он, переводя взгляд с моей щетки на меня. – Ты что, перестал бриться?

– Что вы здесь делаете?

– Наблюдаю за тобой, Тим. Ради твоей безопасности и комфорта. По распоряжению Верхнего Этажа.

– Я не нуждаюсь в том, чтобы за мной следили. Я сам в состоянии проследить за собой. Убирайтесь.

– А вот Джейк Мерримен считает, что нуждаешься. Он считает, что от тебя одни неприятности. И он велел мне не спускать с тебя глаз. Взять тебя на короткий поводок, так он выразился. В любое время дня и ночи ты найдешь меня в полицейском участке.

Он протянул мне листок бумаги:

– Вот мой телефон. Дэниэл Мур, комната три. – Он уперся указательным пальцем в мою грудь. – И запомни, я собираюсь взять тебя за яйца. Крепко взять. Ты в свое время взял меня, и теперь за мной должок. Я тебя предупредил.

Призрак Эммы ждет меня в гостиной. Она сидит у «Бехштейна» на своем специальном стульчике и вслух сочиняет. Ее строгая поза делает ее талию уже, а бедра шире. Чтобы доставить мне удовольствие, она надела все свои драгоценности.

– Ты опять флиртовал с Ларри? – спрашивает она меня, не прерывая игры.

Но у меня не то настроение, чтобы надо мной шутили. Особенно она.

Темнеет, но я уже зажег черный свет моей души. Свет дня не спас меня. Я брожу по дому, касаюсь вещей, раскрываю книги и захлопываю их. Готовлю себе еду и оставляю ее нетронутой. Ставлю на проигрыватель пластинку и не слушаю ее. Я засыпаю и просыпаюсь от одного и того же сна. Мне снится, что я вернулся в свое убежище. По какому следу я иду, какие ключи у меня в руках? Я перебираю мелочи своего прошлого, стараясь найти осколки той бомбы, которая взорвала его. Не раз и не два я встаю из-за своего самодельного стола и иду к старой занавеске военных времен. Моя рука тянется, чтобы отодвинуть ее, чтобы убрать мною же поставленный барьер перед запретной территорией Эммы. Но каждый раз я останавливаю себя.

Глава 6

– Как обычно, мистер Крэнмер?

– Да, пожалуйста, Том.

– Я так полагаю, сэр, что теперь вы ждете избрания вас со дня на день почетным гражданином?

– Спасибо, Том, но я могу подождать с этим несколько лет, и мне нравится это делать.

Смех, в котором и я принимаю участие, потому что это наша дежурная шутка каждую вторую пятницу месяца, когда я покупаю билет до Паддингтонского вокзала и занимаю свое место на платформе среди отъезжающих в Лондон. И, если бы сегодня была обычная пятница, я пофантазировал бы немного, представив себе, что я еще на службе. В хорошие дни Эмма игриво поправила бы мой галстук и лакцаны моего пиджака и пожелала бы «удачного дня в офисе, милый», прежде чем подарить мне последний, восхитительный, бесстыдно откровенный поцелуй. А в плохие дни она следила за моим отъездом из темноты своего окна на втором этаже, не подозревая, вероятно, что и я наблюдаю за ней в боковое зеркало моего «санбима», но зная, что на весь день я оставляю ее наедине с ее пишущей машинкой, ее телефоном и ее Ларри в тридцати милях по шоссе.

Но в это утро я чувствовал, что вместо любительских глаз Эммы в мою спину упирается взгляд профессионала слежки. Обмениваясь парой пустых фраз с обедневшим баронетом, известным в округе под именем «бедолага Перси», унаследовавшим процветающую машиностроительную фирму и ухитрившимся довести ее до полного разорения, а теперь зарабатывавшим себе на хлеб в качестве страхового агента, я краем глаза видел, что силуэт билетного кассира Тома за окном его кассы направился к телефону, где Том некоторое время говорил в трубку, повернувшись ко мне спиной. А когда поезд тронулся от перрона, я увидел мужчину в сельской шапочке и плаще, ревниво махавшего рукой женщине в нескольких рядах передо мной,

которая не обращала на него ни малейшего внимания. Это был тот самый мужчина, который следовал за мной в своем фургоне «бедфорд» от самого перекрестка возле моего дома.

На глазок я отнес Тома к полиции, а шапочку и плащ – к Манслоу. Удачи вам, ребята, подумал я. Пусть все, кому это интересно, знают, что в эту пятницу, как и всегда, Тим Крэнмер отправился по своим обычным делам.

На мне мой синий костюм в мелкую полоску. Ничего не могу с собой поделывать, но в одежде я всегда приноравливаюсь к людям, На встречу с которыми иду. Если мне предстоит визит к викарию, на мне твидовый костюм, а смотреть матч в крикет я отправляюсь в куртке и спортивном галстуке. И, если мне после кошмарных четырехдневных реинкарнаций в моей голове предстоит присутствовать на происходящем два раза в месяц собрании распорядителей Уэльского городского и сельского треста имени Чарльза Лавендера, обслуживаемого банковским домом «Братья Прингл» с Трэднидл-стрит, я и сам не могу не выглядеть немного банкиром. Банкиром я выгляжу, заходя и садясь в поезд, и просматривая финансовые страницы моей газеты, и садясь в ожидающую меня под великолепными арками Брюнеля служебную машину, и здороваясь со швейцаром на пороге банка Принглов, и бросая взгляд на отражение в стекле банковской двери того самого незанятого такси, которое с погашенным зеленым огоньком следовало за нами от Прэд-стрит.

– Мистер Крэнмер, приве-ет, как славно ви-идеть вас сно-ова, – на образцовом кокни пропищала мне Пандора, ленивая секретарша Джейми, когда я вошел в обставленную кожаной мебелью в эдвардианском стиле приемную, где хозяйкой была она.

– Разрази меня гром, Тим! – воскликнул Джейми Прингл, шестнадцать стон^[13]ов мускулов в полосатой рубашке и бордовых подтяжках, до боли сжимая мою кисть. – И не говори мне, что на дворе уже пятница, ха-ха-ха!

Прингл – придурок, шепчет мне на ухо Ларри, всегда был, есть сейчас и всегда будет. Аминь.

Подобно своей собственной тени в комнату wpłyает Монти. У него болтающийся на нем черный жилет, широкие конторские нарукавники и стойкий запах сигарет, которые ему не разрешают курить на этаже, занимаемом партнерами. Монти ведет счета и ежеквартально оплачивает наши расходы чеками, которые подписывает Джейми.

После него появляется Пол Лавендер, у которого, все еще дрожат руки после полной невероятных опасностей поездки на «роллс-ройсе» с Маунт-стрит сюда. Пол по-кошачьи хитер, справедлив, ему семьдесят, и он очень медленно передвигается в своих мягких мокасынах с болтающимися кисточками. Его отец, наш меценат, начинал жизнь школьным учителем в Лландадно, основал сеть гостиниц и продал ее за сто миллионов фунтов.

После Пола появляются Долли и Юнис, две сестры и две старые девы. У Долли брошка в виде алмазного скакуна. Много лет назад лошадь Долли выиграла дерби, так Долли, во всяком случае, утверждает, хотя Юнис клянется, что у Долли никогда не было никого крупнее перекормленного мопса.

После них снова приходит Генри, семейный адвокат Лавендеров. Именно благодаря Генри мы встречаемся так часто. Но кто не стал бы поступать так же при гонорарах по четыреста фунтов в час?

– «Плонк» все еще идет вверх? – с сомнением спрашивает он во время нашего рукопожатия.

- Да, спасибо. И довольно резво.
- А с дешевыми акциями «Фрога» ты еще не погорел? Я, наверное, читаю не те газеты.
- Боюсь, не те, Генри, – отвечаю я.

Мы сидим вокруг знаменитого стола заседаний Принглов. Перед каждым из нас один экземпляр протокола предыдущего заседания, один экземпляр финансового отчета и одна чашка веджвудского костного фарфора со сладким бисквитом на отдельном блюдечке. Пандора разливает чай. Пол опер свой подбородок о бескровную ладонь и закрыл глаза.

Джейми, наш председатель, готов начать. Его кулачищи, которые тридцать лет назад выдирали скользкий от грязи мяч из бурлящей свалки регбистов, теперь бережно опускаются на хрупкие золоченые очки с полукруглыми стеклами и водворяют их дужки сначала за одно ухо, потом за другое. Рынок, говорит Джейми, переживает депрессию. Он винит в ней иностранцев.

– А что вы хотите, если ваши немцы отказываются понизить свои учетные ставки, если ваша иена вот-вот прошибет потолок, а ваши прибыли Хай-стрит вот-вот прошибут пол. – Он с искренним изумлением оглядывается вокруг, словно недоумевая, откуда перед ним эта аудитория. – Боюсь, что наших британских парней что-нибудь таки *пришибет*.

Потом он делает кивок Генри, и тот с устрашающими щелчками расстегивает обе застежки своей пластмассовой папки и зачитывает нам свой нескончаемый отчет:

– Обсуждение с местными властями вопроса о поставках спортивного оборудования в города наших центральных графств происходит с медлительностью, которой следовало ожидать от чиновников местных властей, Джейми...

– Предложение треста об увеличении количества детских коек в клинике имени Лавендера для рожениц не может быть осуществлено без выделения трестом дополнительных средств на содержание персонала. В настоящее время таких средств нет, Джейми...

– Наше предложение о создании передвижной библиотеки для обслуживания детей в районах с пониженной грамотностью наталкивается на политические возражения со стороны местных муниципалитетов, утверждающих, что, с одной стороны, идея бесплатных библиотек уже отошла в прошлое, а с другой стороны, что подбор книг для таких библиотек должен осуществляться образовательными учреждениями графств, Джейми...

– Проклятые ублюдки! – взорвалась Юнис. Обычно это с ней происходит примерно на этой стадии заседания. – Наш отец перевернулся бы в гробу! – громыхает она с заметным валлийским акцентом. – Бесплатные книги для невежд? Да это коммунизм среди бела дня!

В равной мере яростно Долли возражает. Она чаще всего возражает:

– Это наглая ложь, Юнис Лавендер. Наш отец встал бы из гроба и аплодировал бы обеими руками. О детях он молился в своей последней молитве. Он любил нас, правда ведь, Полли?

Но Пол в своем Уэльсе. Его глаза еще закрыты, а на губах загадочная улыбка.

Джейми Прингл ловко пасует мяч мне:

– Тим, ты что-то сегодня притих. У тебя есть соображения?

На этот раз мое дипломатическое искусство изменяет мне. В другой день я быстренько придумал бы для него отвлекающую тему: поторопил бы Генри в

его переговорах с городскими властями или выразил бы недоумение по поводу административных расходов Прингла, которые были единственным пунктом отчета, где наблюдался рост. Но этим утром в голове у меня был только Ларри. В какую сторону стола я ни посмотрел бы, в любом из пустых кресел я видел его в моем сером костюме, который он мне так и не вернул, рассказывающим нам что-то о своем приятеле из Гулля.

– Монти. Твоя подача, – распорядился Джейми.

Монти солидно прокашлялся, достал из лежавшей пред ним стопки лист и доложил нам о подлежащих распределению доходах. Однако, увы, за вычетом налогов, расходов и всевозможных выплат к следующему заседанию не оказалось никаких доходов, которые можно было бы распределить. Даже банковский дом Принглов не придумал способа, как распределить ничто среди бедняков и нуждающихся Уэльса, как то предусмотрено Законом о полномочиях территорий или какими там еще законами.

У нас обед. Только это я знаю. В отделанном деревянными панелями зале, где мы всегда обедаем. Нас обслуживает миссис Питерс в белых перчатках, и мы уже осушили пару двухлитровых бутылок «Шваль Блан» 1955 года, которыми трест предусмотрительно запасся двадцать лет назад для поддержания сил своих усталых руководителей. Слава Богу, в моей памяти не сохранилось почти ничего от нашего кошмарного разговора. Долли ненавидит черномазых, это я запомнил. Юнис, напротив, находила их милашками. Монти считал, что им было хорошо и в Африке. Пол сохранял на лице улыбку мандарина. Роскошные корабельные часы, по традиции отсчитывавшие время банкирского дома Принглов, громогласно радовались нашим успехам. В половине третьего Долли и Юнис с красными лицами шумно выкатились из-за стола. К трем Пол вспомнил, что ему надо что-то сделать или куда-то пойти, а может быть, с кем-то встретиться. Он решил, что это, скорее всего, был его парикмахер. Генри и Монти последовали за ним, причем Генри шептал ему на ухо свои драгоценные советы стоимостью четырехста фунтов в час, а Монти страстно мечтал о первой сигарете из числа очень многих, которые вернут его к жизни.

Джейми и я задумчиво сидим втроем с графином портвейна фирмы.

– Да, славно, черт побери, – глубокомысленно говорит Джейми. – Да. Ну что ж. Выпьем. За нас.

Через минуту, если я не сделаю ничего, чтобы остановить его, он углубится в величайшие загадки нашего времени: откуда у женщин столько нахальства, куда делась прибыль от нефтедобычи в Северном море – он серьезно опасается, что пошла на пособия безработным, или каким славным занятием было банковское дело до того, как его погубили компьютеры. А еще ровно через тридцать минут Пандора просунет в дверь свою голову, как киска из ролика, рекламирующего кошачьи консервы, и промяукает, что до конца дня и недели у мистера Джейми еще одна деловая встреча, что в переводе с языка банкирского дома Принглов на английский будет означать: «Шофер ждет, чтобы отвезти тебя в аэропорт, где готов самолет, который доставит тебя в гольф-клуб Сент-Эндрюса» или: «Ты обещал на уик-энд повезти меня в Довиль».

Я справляюсь о здоровье Генриетты, жены Джейми. Я всегда справляюсь и отступать от ритуала не осмеливаюсь и в этот раз.

– Спасибо, Генриетта здорова как бык, – отмахивается Джейми. – Хант умоляет ее остаться еще, но старая клуша не уверена, что захочет. Сказать тебе по правде, этот отдых в Антибе – чертовски утомительное дело.

Я справляюсь о детях.

– С бандитами все в порядке, Тим, спасибо. Маркус – капитан пятерки скаутов, а Пенни выходит в свет следующей весной. Это не настоящий выход в свет, конечно, все совсем не так, как в наше время. Но все же это лучше, чем совсем ничего, – добавляет он, задумчиво глядя на список Принглов, Павших в Двух Мировых Войнах, за моей спиной.

Я спрашиваю его, видел ли он кого-нибудь из наших в последнее время. Под нашими мы подразумеваем оксфордских. После эркерного зала ресторана Брудла никого, отвечает он. Я спрашиваю, кто там был. Мне требуется еще пара наводящих вопросов, прежде чем он, как будто по собственной инициативе, заводит речь о Ларри. На самом деле особого искусства от меня и не потребовалось, потому что, когда в нашем возрасте разговор заходит о старых друзьях, он у нас непременно рано или поздно переходит на Ларри.

– Парень из ряда вон, – со свойственной ему абсолютной уверенностью говорит Джейми. – Умница, талант, очаровашка. Приличное христианское происхождение, отец – видный деятель церкви и все такое. Но без устойчивости. А в жизни, если у тебе нет устойчивости, у тебя нет ничего. Одну неделю розовый, на следующую от этого отрекивается. На этот раз отрекивался насовсем. Краснопузые теперь все заделались капиталистами.

– Похуже гребаных янки... – А потом, слишком легко, словно мой ангел-хранитель шепнул ему на ухо: – А совсем недавно нанес мне визит. Слегка *в растрепанных чувствах*, подумал я тогда. Слегка *вороватый*. Я думаю, понял, что ставил не на тех. Да оно и понятно, если подумать.

Я разразился смехом:

– Джейми, уж не хочешь ли ты сказать, что Лари пошел в бизнесмены? Это было бы уж слишком.

Но Джейми, который мог заржать в любой момент без причины – и обычно без чувства юмора, – на этот раз только долил себе портвейна и стал изъясняться еще высокопарнее.

– Сказать по правде, я не знаю, куда он пошел. Не мое это дело. Но что не в простые бизнесмены, это точно. Если ты спросишь меня, то *красноречия* в нем было больше, чем требовал случай, – туманно добавил он, с таким видом пододвигая ко мне графин, словно хотел избавиться от него навсегда. – И развязности тоже, если говорить по правде.

– Боже мой.

– И этакое гипертрофированное представление о себе. – Возмущенный глоток портвейна. – И слегка перекомпенсация. Всякая галиматья о нашем долге помочь недавно освободившимся странам встать на ноги, исправить старые несправедливости, установить нормы общественной морали. Спросил меня, не собираюсь ли я перейти на ту сторону. Постой, парень, сказал я, не скажи так быстро. Уж не один ли ты из тех, кто таскал Советам каштаны из огня? Если ты позволишь мне так выразиться, ты слегка загнал меня в угол. Слегка удивил. Ошарашил.

Я наклонился вперед, всем своим видом показывая Джейми, что я весь внимание. Я изобразил на своем лице выражение зачарованности, подобострастия и недоверия. Все мое тело говорило о желании вытащить наконец эту проклятую историю из его заскорузлых мозгов. Ну же, давай, Джейми. Это потрясающе. Давай дальше.

– Мой *единственный* долг – это долг перед этим домом, сказал я ему. Но он не стал меня слушать. Я всегда считал его интеллектуальным парнем. Но какой ты, к черту, интеллектуал, если не научился слушать других? Он смотрел сквозь меня, как сквозь стенку. Обозвал меня страусом. А я не страус, я продолжатель семейной традиции. Искренний и убежденный.

– Но какого черта ему было нужно от тебя, Джейми? Завербовать братьев Прингл в студенческое братство Оксфордского университета?

В моей голове мелькнула мысль, что это, возможно, не такая уж плохая идея, но мое лицо, если только оно справлялось со своими обязанностями, выражало лишь искреннее сочувствие Джейми, ставшему объектом таких гнусных домогательств.

После полуминутного молчания он собрал в кулак все свои интеллектуальные ресурсы:

– Советская компартия приватизируется, так?

– Так.

– В этом все и дело. Распродажа партийной собственности. Зданий. Домов отдыха, контор, автомашин, спортивных дворцов, школ, больниц, иностранных посольств, земельных участков, бесценных картин, Фаберже и черт знает чего еще. Добра на миллиарды долларов. Чувствуешь, чем пахнет?

– Чувствую. «Россия навывнос». Тайно это началось еще при Горбачеве, а сейчас уже никто никого не стесняется.

– Каким боком Ларри влез в это дело, пусть гадают, кому интересно. Рад сказать, что братья Прингл не имеют к нему никакого отношения. – Еще один гигантский глоток портвейна. – И не хотят иметь. Спасибо, этого дерьма мы и мизинцем не коснемся. Кушайте сами.

– Но, Джейми, – хотя мое время истекало, я продолжал делать вид, что заинтригован настолько, что не в состоянии произнести ни слова. – Но Джиммини, – это была его оксфордская кличка, – что он просил тебя *сделать*? Купить Кремль? Мне жутко интересно.

Налившиеся кровью глаза Джейми снова остановились на доске почета его компании.

– Ты все еще работаешь на своих прежних хозяев?

Я колебался и медлил с ответом. Когда-то Джейми подал заявление с просьбой принять его в нашу организацию, но получил отказ. С тех пор он время от времени поставлял нам сведения, которые мы обычно уже и в более полном виде имели из других источников. Продолжает ли он восхищаться нашими тайными делами или уже осуждает их? Скажет ли он мне больше, если я отвечу да? Я выбрал средний путь.

– Только время от времени, Джейми. Ничего обременительного. Послушай, не заставляй меня умирать от любопытства. Что затеял Ларри?

Пауза без дополнительной порции портвейна и гримас.

– Ну?

– Он сделал два захода. Пару лет назад он позвонил мне, наговорил кучу всяких слов про то, что хочет вложить в мое дело, если я соглашусь, порядочный кусочек в несколько миллионов, что все будет сделкой старых друзей и что он зайдет повидать меня, когда в следующий раз будет в Лондоне. Все оказалось пустым трепом.

– А второй заход? Когда он был?

Я не знал, на что напирать больше: на что или на когда. Но Джейми решил за меня.

– Ларри Петтифер задумал следующее, – объявил он громким и торжественным голосом, – Ларри Петтифер заявил, что он уполномочен неким бывшим советским государственным учреждением, название которого не упоминается... – поправка: некоторыми сотрудниками этого учреждения, имена *которых* так же не называются, – вступить в переговоры с настоящей банковской фирмой по поводу возможности открытия этой фирмой счета – ряда счетов, офшорных, разумеется, посредством которых настоящая фирма будет получать значительные суммы в твердой валюте из неназванных источников, – фактически будет держать упомянутые суммы на анонимной основе и осуществлять определенные выплаты в соответствии с инструкциями, которые настоящей фирме будут передавать неназванные лица, сопровождая их паролем или письменным подтверждением, которые должны будут совпасть с паролем или формой письменного распоряжения, предоставленными заранее настоящей фирме. Выплаты будут значительными, но никогда не будут превосходить текущего счета, а кредит никогда не будет запрашиваться.

Монолог Джейми раскручивался со скоростью всего пятнадцати оборотов в минуту, а корабельные часы неумолимо показывали, что времени осталось только девять минут.

– И это были большие суммы? Я хочу сказать, большие по *банковским* меркам? Какие цифры называл Ларри?

Джейми снова проконсультировался со списком за моей спиной.

– Если ты думаешь о порядке величин, которые некоторые из попечителей и их советники обсуждали сегодня утром, то я думаю, ты не очень далек от истины.

– Тридцать миллионов фунтов? Какого черта они собрались купить? Откуда у них такие деньги? Ведь это порядочный кусок, не так ли? Даже для тебя, не говоря уж обо мне! Что он затевает? Я просто ошарашен.

– Отмывание денег, вот что это такое. Я чувствую, что мне пришлось бы действовать по их инструкции и не совать нос в их дела. У него на севере какой-то партнер, с которым он собирался вести дела. Что-то вроде совместного распоряжения определенными суммами. Темные делишки.

Мое время подходило к концу. Его тоже.

– Где, он сказал, на севере?

– Не понял?

– Ты сказал, что у него на севере приятель.

– В Макклсфилде. Партнер в Макклсфилде. А может быть, в Манчестере. Нет, в Макклсфилде. У меня там была девица. Синди. Занималась торговлей шелком. Шелковая Синди.

– Но где же, черт его побери, Ларри взял тридцать миллионов? Ладно, это не его деньги, но ведь они *чьи-то*!

Пауза. Подсчет. Молитва. Улыбка.

– *Мафии*, – прорычал Джейми. – Разве не так их там зовут? Враждующие *мафии*. Газеты полны статьями о них.

Он качает головой и бормочет себе под нос что-то вроде «его дело».

– И что же ты сделал? – спросил я, изо всех сил стараясь придать своему голосу оттенок удивленной заинтересованности. – Сообщил своим партнерам? Послал его ко всем чертям?

Корабельные часы тикают, подобно бомбе с часовым механизмом, но, к моему отчаянию, Джейми не произносит ни слова. А потом вдруг начинает нетерпеливо извергать фразы, как будто это я заставил его ждать:

– Видишь ли, в таких ситуациях людей не посылают ко всем чертям. Для них дают обеды. Беседуют с ними о старых временах. Говорят им, что надо подумать, посоветоваться с правлением. Я сказал им, что у нас возникли проблемы, частично практические, частично этические. Сказал, что было бы чудесно, если бы они сообщили мне, кто их клиент, в какое дело он собирается вкладывать деньги и каков будет их статус с точки зрения налогообложения. Что было бы *полезно* некоторое официальное подтверждение. Я предложил, чтобы они предприняли некоторые шаги через посредство министерства иностранных дел – на достаточно высоком уровне, конечно. У них оказалась некая *бумага* из советского посольства в Лондоне. Подписанная каким-то *чиновником*. Не послом. Возможно, это была подделка, а возможно, нет. Никто этого просто не мог сказать.

Он исследовал клеймо на обратной стороне своей чайной ложки и сравнил его с клеймом ложки с соседнего места.

– Разрозненный сервиз, – пробормотал он. – Возмутительно.

Он был просто убит.

– Невероятно, как это могло случиться? Надо будет спросить мамашу Питерс. *Невероятная* халатность.

Ты сказал «они», Джейми?

Прости, старина, ты что-то сказал? Я положил ладонь на его рукав.

– Извини меня, Джейми, я, может быть, ослышался, но мне показалось, что ты сказал «они». Ты хотел сказать, что Ларри пришел не один? Мне кажется, что я не совсем тебя понял.

– Правильно, они. – Он все еще изучал ложки.

Мои мысли бешено скакали. Чечеев? Партнер из Макклсфидда? Или приятель Ларри из Гульевского университета?

К моему удивлению, Джейми улыбнулся снисходительной и очень сальной улыбкой.

– Петтифер привел *помощницу*. Куколку, так я называл бы ее. Он сказал, что эта помощница будет его посредником. Все детали *будут* ее делом. Ларри в арифметике не силен, но эта девочка была просто зубр. Когда дело доходило до цифр, Ларри ей в подметки не годился.

Я был немало удивлен. Наверняка удивлен, потому что весело хихикнул, хотя внутри у меня все напряглось в тревоге.

– Ладно, Джейми, если хочешь, я угадаю, кто она была. Это была русская, и на валенках у нее был снег.

Его снисходительная улыбка так и осталась на месте. Возмутительные ложки он наконец положил на стол.

– Не угадал. Приличная английская девушка, насколько я могу судить. Прилично одета. По-английски говорит, как лорды или вот как мы с тобой. Я не удивился бы, если бы она оказалась движущей силой всей этой затеи. Если бы она пришла ко мне проситься на работу – взял бы не задумываясь.

– Хорошенькая?

– Нет. Не хорошенькая. Красавица. Ей-Богу, я редко употребляю это слово. Почему она связалась с таким дерьмом, как Петтифер, одному Богу известно. – Тут он сел на своего любимого конька. – За такую фигуру полжизни не жалко. Маленькая красивая попка. Ноги – прямо из шеи. Она сидела тут передо мной и устроила мне из них феерическое представление.

Тут он ударился в философию:

– Одна из самых больших загадок жизни, Тим, и я наблюдаю такое снова и снова. Хорошенькая девчонка может иметь кого захочет. И кого же она выбирает? Самое что ни на есть дерьмо. Ставлю фунт против пенни, что

Петтифер колотит ее. А ей, наверное, это нравится. Мазохистка. Совсем как моя свояченица Анджи. Денег куры не клюют, красавица писаная, а переходит от одного дерьма к другому. И обращаются они с ней так, что удивительно, как у нее еще все зубы целы.

– Она назвала себя?

– Салли. Салли не помню как дальше. – Один из углов его рта опустился в отвратительной ухмылке. – Иссиня-черные волосы зашпилены на макушке, так и ждут, что ты распустишь их. Моя слабость, обожаю черные волосы. В них вся женственность. Потрясающе.

Я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не чувствовал. Я действовал, как автомат, собирая и регистрируя сведения. Только это, а Джейми, печальный и старый, кивал мне и глотал свой портвейн.

– После этого что-нибудь слышал о нем?

Ни звука. И о ней тоже. Думаю, они поняли намек. Нам уже случалось указывать на дверь уголовникам. И их девкам.

Корабельные часы давали мне еще пять минут.

– Ты направил их к кому-нибудь? Скажем, намекнул, куда они могли бы обратиться?

Страшная гримаса, из последних запасов.

– Мы в «Братьях Прингл» не очень сведущи в таких делах. Это больше по части отдела полиции, занимающегося финансовыми мошенничествами. Там сразу подыскали бы адресок.

Перед своим предпоследним вопросом я изобразил дурацкую улыбку, отражающую, кроме того, мои дружеские чувства и мое восхищение портвейном.

– А тебе не пришло в голову, Джейми, когда он ушел – или они ушли, – снять трубку, набрать номер тех, на кого я работал, и намекнуть им про Ларри? Теперь, когда я больше у них не работаю... Про Лари и его девочку?

Глаза Джейми Прингла смотрели на меня с бычьим гневом.

– Настучать на Ларри? И как у тебя язык повернулся? Я же банкир. Вот если бы он придушил свою дорогую мамашу и бросил ее в ванну с кислотой, тогда, я думаю, мне было бы простительно снять трубку и кое-кому позвонить. Но когда однокашник приходит ко мне, чтобы обсудить финансовое предложение, пусть даже такое, от которого за милую душу несет мошенничеством, то это тот случай, когда я связан *клятвой* абсолютного и *полного* молчания. Вот если ты захочешь сообщить им, то это будет *твое* дело. Налей себе.

Моя цель была почти достигнута. Оставался только один страшный барьер. Наверное, это мой внутренний палач решил, что, вымотав себя вопросами про полицию и про Пью с Меррименом, этот пункт я должен оставить напоследок. А может быть, просто ищейка решила, что сперва надо собрать мелочи, а уж потом подбирать главное.

– Так когда, Джейми?

– Ты что-то сказал, старина?

Он почти спал.

– Когда они свалились на тебя, Ларри и его деваха? Я так понимаю, что ты назначил им день, раз у вас был обед, – предположил я, надеясь таким образом побудить его заглянуть в записную книжку или по телекому спросить Пандору.

– Куропаткой, – громко объявил он, и мне показалось, что он уже начал рассказывать мне свой сон. – Угостил их куропаткой. Мамаша Питерс приготовила. Однокашник, старые времена. Не видел его четверть века.

Принял по высшему разряду. Счел своим долгом. Последняя неделя сентября, последняя куропатка. В этом доме, во всяком случае. Чертовы арабы их всех перестреляли. С ними теперь хуже, чем десять лет назад. К середине сентября не подстрелишь уже ни одной. Главная вещь – самодисциплина. Держаться традиций, что бы ни делали чертовы иностранцы. И не назови их чурками теперь. Не говоря уж об обезьянах.

Мой рот онемел. Мне словно сделали обезболивающий укол у дантиста, от которого нёбо онемело, а язык провалился в горло.

– Так значит, в *конце* сентября, – переспросил я, словно обращаясь к глухой старухе. – Так? Правильно, Джейми? Они были у тебя в последнюю неделю сентября? Очень великодушно с твоей стороны было угостить их куропаткой. Надеюсь, они оценили это. Особенно с учетом того, что ты мог бы и показать им на дверь. Я хочу сказать, что я был бы благодарен. И ты – тоже. Так значит, в *конце* сентября? Да?

Я бормотал все это, но не уверен, что Джейми ответил мне: он давал представление с ужимками, гримасами и невнятным бормотанием чего-то вроде «не-а» и «ссов-верно». Я уверен только в том, что часы пробили. Помню, что кошачья мордочка Пандоры появилась в двери и промяукала, что карета Золушки подана. Помню, что тысячеголосый хор ангелов грянул гимн в моей голове, празднуя мой выход из черного света, и что шум в ней двух бутылок «Шваль Блан» 1955 года и изрядного количества портвейна «Грэхем» 1927 года был ему подходящим аккомпанементом.

Джейми Прингл тяжело поднялся на ноги и явил миру страсть, которую я не видел в нем нигде, кроме как на поле регби.

– Пандора, девочка. Посмотри, пожалуйста, сюда. Это просто возмутительно. *Сейчас* же ступай к миссис Питерс, ты слышишь, дорогая? Набор ложек перепутан. Это разбивает весь сервиз! Выясни *как*, выясни *где*, выясни *кто*.

А я свое «*когда*» уже выяснил.

Даже если в одном углу моей головы эйфория и сохранилась, в остальных она быстро улетучилась. В белом свете, который ко мне вернулся, я яснее, чем когда-либо прежде, мог видеть чудовищность их совместного предательства. Да, я взял с собой револьвер. Да, я тайно обдумывал свой план, брал в аренду машину и ехал в ночь, чтобы намеренно убить моего друга и старого агента. Но он заслужил это! И она тоже заслужила!

Я шел пешком.

Эмма.

Я был пьян. Не от вина. За двадцать лет службы в Конторе я научился пить, не пьянея. Но все равно я был пьян. Пьян в стельку.

Эмма.

Кто ты или кем ты кажешься, со своими зачесанными наверх волосами, когда соблазняешь ножками Джейми Прингла? Что ты обо мне выдумывала, когда за моей спиной смеялись – вы двое смеялись – над Тимбо, старым дуралеем Тимбо, запоздавшим в развитии Тимбо с его дежурной улыбкой?

Прикидывалась ангелочком. До поздней ночи выстукивала на машинке свои «безнадежные случаи». Висела на телефоне, стучала своими каблучками, выглядела печальной, занятой высокими мыслями, отрешенной. Брала «санбим», чтобы съездить на почту, на железнодорожную станцию, в Бристоль. Ради угнетенных всего мира. Ради Ларри.

Я шел пешком. Я кипел от злости. Потом я радовался. Кипел от злости снова.

И все же, как бы зол я ни был, я не смог не обратить внимание на неприметную парочку, которая на другой стороне улицы перестала разглядывать витрину и направилась в ту же сторону, что и я, и с той же скоростью. Я понял, что за моей спиной их трое: эти двое и третий в то ли фургончике, то ли такси для подстраховки. Когда я это увидел, я понял, что, несмотря на весь свой гнев, свое облегчение, несмотря на то что в жизни у меня появилась новая цель и что я снова стал обитателем мира обычного дневного света, я должен позаботиться о том, как я выгляжу со стороны. Я не должен сделать ни одного движения, которое означало бы, что я есть кто-нибудь иной, кроме хорошо пообедавшего поверенного, бывшего шпиона, теперь отправившегося по своим законным делам. И я был благодарен Ларри, Эмме и моим соглядатаям за то, что они возложили на меня эту ответственность. Потому что заботиться о внешнем виде всегда означает действовать по правилам, держать анархию в узде, а анархия внутри меня в этот момент кричала во всю глотку:

Эмма! Каким колдовством ему удалось увести тебя так далеко?

Ларри! Ты мстительный вороватый ублюдок с наклонностью манипулировать людьми.

Вы оба! Что вы затеяли и почему?

Крэнмер! Ты не убийца! Ты можешь ходить с поднятой головой! Ты чист!

Я был глупец.

Беснующийся, взбешенный, слишком сдерживающий себя глупец, хотя и глупец, выпущенный на волю. Я вообразил себя безумно влюбленным и пригрел на своей груди змею.

Принял, баловал, обслуживал, угождал, боготворил, ублажал, выполнял все ее причуды. Дарил ей драгоценности и свободу, сделал ее своей вешалкой для нарядов и объектом своей любви, последней из своих женщин, своей иконой, богиней и, как Ларри любил повторять, своей рабыней. Любил ее за ее любовь ко мне, за чары ее серьезности и ее смеха, за ее ранимость и за неразборчивость в знакомствах. Любил за доверчивость, с которой она искала у меня защиты. И все это на основании *чего?* Под действием какого импульса, если забыть о сопливых страстях запоздавшего с развитием мужчины?

Моя новоявленная, моя вырвавшаяся на волю ярость подсказала мне безумную мысль, тотчас же овладевшую мной: она была приманкой, намазанной медом мухоловкой, подброшенной мне моими врагами. Я, Крэнмер, ветеран мимолетных романов, туалетный мечтатель, мастер уклоняться от слишком навязчивых женских чар, попался на старый, как мир, трюк!

Она была подсадной уткой с самого начала. Ее подкинул мне Ларри. ЧЧ. Зорин. Двое из них, трое или даже все четверо!

Но *зачем?* С какой целью? Чтобы использовать меня в качестве прикрытия? Но это же абсурд.

Устыдившись, что соблазнился на такие причудливые, такие непрофессиональные догадки, я отставил их в сторону и стал искать новой пищи для тлеющего огня моей паранойи.

Что я знаю о ней? По своей собственной воле ничего, кроме того, что она сама сочла нужным рассказать мне, и того, что по воскресеньям рассказывала Ларри в моем присутствии. Отчет ищек Мерримена все еще

лежал непрочтенным за занавеской в моем убежище, пылясь и олицетворяя собой мою честность любовника.

Итальянское имя.

Отец умер.

Мать-ирландка.

Бродячее детство без систематического воспитания.

Интернат в Англии.

Уроки музыки в Вене.

Интересовалась Востоком, интересовалась мистикой, поддавалась всякому новому поветрию среди хиппи, катилась прямо в руки дьяволу.

Возвращалась домой, снова уходила бродяжничать, снова училась музыке, сочиняла ее, аранжировала, участвовала в учреждении чего-то вроде «Группы альтернативной камерной музыки», собиравшейся исполнять «классическую музыку старого мира на традиционных инструментах нового» – или наоборот?

Устала от своих метаний, попала на летние курсы Кембриджского университета, прочла или не прочла утешительные слова Лоуренса Петтифера о вырождении Запада. Вернулась в Лондон, отдавалась всякому, кто просил вежливо. Запугала себя до смерти, встретила Крэнмера и назначила его своим добровольным, угождающим, слепым защитником.

Встретила Ларри. Исчезла. Вновь объявилась с зачесанными наверх волосами под именем Салли и устроила Джейми Принглу феерическое представление с ножками.

Моя Эмма. Мой ложный рассвет.

Мы играем нагишом. Она набросила свои черные волосы мне на плечи.

– Можно мне звать тебя Тимбо?

– Нет.

– Потому что так тебя зовет Ларри?

– Да.

– Понимаешь, я тебя люблю. Поэтому, естественно, я буду звать тебя так, как ты только захочешь. Захочешь – буду звать тебя Эй, Ты. Я на все согласна.

– Тимом будет чудесно. Да, ты согласна на все.

Мы лежим перед камином в ее спальне. Ее голова уткнута в мою шею.

– Скажи, ты шпион, да?

– Ну разумеется. А как ты догадалась?

– Сегодня утром я видела, как ты читаешь свою почту.

– Ты хочешь сказать, что ты увидела невидимые чернила?

– Ты ничего не выкидываешь в мусорную корзину. Все, что надо выкинуть, ты складываешь в пластиковый пакет и относишь в мельницу для мусора. Сам.

– Я – очень молодой винодел. Я родился шесть месяцев назад, когда встретил тебя.

Но зерна подозрений упали на почву. Почему она следит за мной? Почему она так думает обо мне? Что такое Ларри заложил в ее головку, что заставляет ее установить за своим защитником плотную слежку?

Я добрался до своего клуба. В холле пожилые мужчины читают биржевые сводки. Кто-то здоровается со мной, Гордон как его? Спасибо, Гордон, как Прюнелла? Устроившись в кожаном кресле в курительной комнате, я смотрю,

не читая, в газету, я прислушиваюсь к шепоту людей, которые считают важным то, что они шепчут. За высокими окнами – осенний туман. Чарли, слуга-нигериец, приходит, чтобы зажечь лампы для чтения. Снаружи, на Пэл-Мэл, шайка моих филеров переминается с ноги на ногу где-нибудь в подъезде и завидует прохожим, спешащим домой на уик-энд. Я живо могу нарисовать их себе. Я сижу в курительной до сумерек, делая вид, что читаю. Старинные часы бьют шесть. Но отставной адмирал не спешит.

– А Ларри действительно верит, да? – спрашивает она.

Воскресный вечер. Мы в гостиной. Ларри уехал десять минут назад. Я налил себе большую порцию виски и устроился в своем кресле, как боксер между двумя раундами.

– Во что? – спрашиваю я.

Мой вопрос остается без ответа.

– Я до сих пор не встречала верующего англичанина. Большинство из них только говорят «с одной стороны» и «с другой стороны» и ничего не делают. Как механизм, из которого вынули пружину.

– Я так ничего и не понял. Во что он верит?

Я раздражаю ее.

– Неважно. Ты, наверное, не слушаешь меня.

Я делаю еще один глоток виски.

– Наверное, мы слышим разные вещи, – говорю я.

Что я хотел этим сказать? Я сам размышляю над этим, глядя на тлеющий за тюлевыми занавесками курительной комнаты розовый закат. Что я слышал такое, чего Эмма не слышала, когда Ларри что-то рассказывал ей, пел ей свои политические арии, возбуждал ее, вытягивал ее у меня, стыдил и прощал ее и снова вытягивал еще чуть-чуть? Я слышал Ларри-великого соблазнителя, решил я, отвечая на свой вопрос. Я понял, что мои предубеждения обманули меня, что Ларри оказался гораздо искуснее меня в краже сердец. И что двадцать лет я питал иллюзии относительно того, кто руководит кем в великой паре Крэнмер–Петтифер.

После этого, наблюдая за ленивым горением угля в камине курительной комнаты, я перешел к вопросу, не удалось ли Ларри какими-то оккультными методами, которых я пока не понимал, почти подстроить собственное убийство. И не оказал ли бы я ему услугу, нанеся смертельный удар, вместо того чтобы удержаться от него?

Розовый туман, который я наблюдал за окнами своего клуба, стал гуще, когда мое такси начало подъем на Хаверсток-Хилл. Мы въезжаем в страну несчастий Эммы. Она начинается, насколько мне удалось установить, у Белсайз-Виллидж и тянется до Уайтстоун-Понд на севере, Кентиш-таун на востоке и Финчли-роуд на западе. Все, что между этими пунктами, – вражеская территория.

Что сделал ей Хэмпстед, она никогда не рассказывала, а я из уважения к суверенитету партнера, так много значившему для нас обоих, никогда не спрашивал. Из ее обмолвок я мог представить себе, что она пошла по рукам интеллектуальных князьков, которые были старше нее и куда менее заумны. В ее рассказах фигурировали известные журналисты. Психоаналитики обоих полов были ловушкой. Одно время я рисовал себе мою бедную красавицу раз за разом отчаянно выплывающей к поверхности и снова почти захлебывающейся на ее пути к спасительному берегу.

Приемная врача помещалась в бывшей баптистской церкви. Латунная табличка у ворот оповещала об Артуре Медави Дассе и его многочисленных ученых титулах. Доска в приемной предлагала ароматерапию, буддийское учение и вегетарианский полупансион. Дежурная в приемной уже пошла домой. В кресле Эммы сидела женщина в зеленом платье с полным лицом. Наверное, я слишком упорно разглядывал ее, потому что она покраснела. Но я видел перед собой не женщину в зеленом платье, а Эмму в ее роли трагической героини в тот вечер, когда мы впервые встретились.

Одета вызывающе. Не *прилично*, как для банка Принглов. И неставляла мне напоказ ноги, хотя я видел, что, несмотря на сгорбленную от боли фигуру, она высока и очень хороша и что ее ноги очень красивы. Скромная шляпка освобождала ее лоб от черных волос. Ее глаза были стоически отвернуты в сторону. Платье напоминало частично униформу Армии Спасения, частично платье Эдит Пиаф после потасовки. Длинная джутовая юбка, черные ботинки бродяги. Полосатый шерстяной жилет, смутно напоминающий австралийскую полупустыню. А тонкие пальцы пианистки защищают черные слегка потертые варежки.

Моя спина действительно болит. От головы до пяток пробегают огненные змеи. И все же я исподтишка изучаю ее, ее болячки для меня интереснее моих. Ее болезнь слишком стара для нее, слишком уродлива. Она превращает ее скорее в пожилую гувернантку, чем в юную мошенницу. Мне хочется найти ей хороших докторов и более теплую постель. Мы снова встречаемся глазами. Я вижу, что боль делает ее более общительной, более привязчивой, чем красивая молодая женщина обычно может себе позволить. Старый тактик во мне срочно взвешивает возможности. Выразить сочувствие? Оно и так уже подразумевается, поскольку мы товарищи по несчастью. Изобразить из себя ветерана? Спросить ее, первый ли это ее визит сюда? Нет, лучше обойтись без снисходительности. В наше время девицы такие, что в свои двадцать с небольшим она запросто может оказаться больше ветераном, чем ты в свои сорок семь. Я выбираю черный юмор.

– Вы выглядите просто ужасно, – говорю я.

Ее глаза все еще не смотрят на меня. Руки в варежках соединены во взаимном утешении.

Но – о счастье! – она вдруг улыбнулась!

Вульгарная улыбка величиной в двадцать два карата всю сияла мне через всю комнату, торжествуя победу над стульями с виниловыми сиденьями, над дешевыми лампами дневного света и над двумя скверными спинами. Я заметил, что ее глаза белесо-голубые, как оловянная посуда.

– Ну, спасибо, – сказала она на невыразительном по моде английском, которым принято говорить у современной молодежи. – А я все ждала, что кто-нибудь скажет мне это.

Нам не понадобилось еще и дюжины фраз, чтобы я понял, что у нее самая прекрасная в Лондоне улыбка. Потому что – вообразите себе: в тот самый момент, когда она сидит тут, ожидая избавления от муки, она пропускает первое публичное исполнение в своей музыкальной карьере! Если бы не ее спина, она сейчас сидела бы в Уимблдонском концертном зале, слушая свою собственную аранжировку народной музыки и музыки первобытных племен со всего света!

– У вас это хроническое, – спросил я, – или вы просто потянули, ушибли ее или что-нибудь в этом роде? Того, что у меня, в вашем возрасте еще не бывает.

– Это мне сделала полиция.

– Боже праведный, какая полиция?

– Некоторых из моих знакомых решили выселить из пустующего дома. И горстка нас отправилась пикетировать этот дом. Здоровенный детина-полицейский стал вытаскивать меня из пикета и заталкивать в полицейскую машину. Моя спина и не выдержала. Моего обывательского уважения к полиции разом не стало.

– Но это ужасно. Вы должны были подать на него в суд.

– Боюсь, что в суд на меня должен был подавать он. Я его укусила.

Я слушаю ее с открытыми от изумления глазами. Я глотаю каждое ее удивительное слово. Она для меня – одна из редких в этом мире неиспорченных душ. И я делаю все, чего можно ожидать от пятизвездного лопуха. Вплоть до приглашения ее отужинать в лучшем лондонском ресторане в качестве простой компенсации ее потери.

– А добавка там будет? – спрашивает она.

– Сколько захотите.

К моему удивлению, она не оказывается вегетарианкой.

Наш роман нельзя назвать бурным – да и с чего бы ему быть бурным? С первого взгляда на нее мне было ясно, что ни по возрасту, ни по социальному положению она не повторяет ни одну из моих прежних жертв, уступчивых женщин-коллег, старших секретарш или занимающихся адюльтером в спортивных целях дам из английской глубинки. Она молода. Она образованна. Она – не нанесенные на лоцию воды. Она – риск. И уже годы прошли, если это вообще когда-нибудь было, с тех пор как Крэнмер выходил за назначенные им самим для себя границы, как он играл в требующие отваги игры, как он нетерпеливо ждал вечера, как он не мог заснуть до рассвета.

Много ли нас у нее? Не думаю. Пожилые мужчины, которые заезжают за ней на квартиру и везут куда-нибудь на концерт в окраинном лондонском концертном зале, один раз это пустующий театр в Финчли, другой – спортивный зал в Руислипе или частная гостиница в Лэдброук-Гроув, а потом сидят в заднем ряду, с должным восторгом слушая ее странную музыку, прежде чем отвезти ее на ужин. А за ужином подбадривают ее, если она не в настроении, и сдерживают, если в ударе, а потом оставляют у ее двери, ограничиваясь братским чмоканием в щеку и обещанием повторить все на будущей неделе.

– Я такая *шлюшка*, Тим, – доверительно сообщает мне она за столиком в «Уилтоне». – Когда я захожу в полную людей комнату, мужчины смотрят на меня, и я начинаю флиртовать со всеми подряд. А потом я оказываюсь с кем-то, кто хорошо выглядел на витрине, но оказывается полным *импотентом*, когда приводишь его домой.

Она нарочно провоцирует меня? Или она фантазирует? Подталкивает ли она меня попытать счастья? Ведь не хуже я какого-нибудь слюнявого банкира тридцати лет из Хэмпстеда с «порше»? И как мне узнать, что это не блеф, ведь если я открою свои намерения, а она отвергнет меня, то что будет с нашими отношениями? Не безумна ли она? Несомненно, что ее хаотический жизненный путь наводит на мысль именно о безумии, хотя я могу и позавидовать ему: сумасшедший бросок из Лондона в Хартум в

призрачной надежде разыскать поразительно симпатичного итальянца, с которым она и разговаривала-то всего полминуты в Кемден-Лок; погружение на полгода в какой-то *ашрам* в Центральной Индии; пеший поход из Панамы в Колумбию в поисках музыки какого-то племени; кусание полицейского, если только этот полицейский не был, разумеется, предметом ее очередного увлечения.

Что касается ее политических увлечений, то они суть пародии на разглагольствования воскресного комментатора, берущегося за один прием пригвоздить к позорному столбу какой-нибудь общественный порок. Поэтому как я могу смеяться над ее отказом есть турецкие фиги, «потому что посмотрите, что они делают с курдами»? Или покупать японскую рыбу, «потому что посмотрите, что они делают с китами»? И что смешного – и не английского – в том, чтобы подчинить свою жизнь принципам, даже если, на мой устаревший взгляд, эти принципы неэффективны?

Тем временем я подкрадываюсь к ней, воображаю ее себе, проверяю первые впечатления и жду: жду поощрения с ее стороны, потому что искра никогда не разожжет огня, если вы не выберете для нее подходящий момент, когда в один из наших братско-сестринских вечеров она протянет свою руку и положит ее мне на щеку или костяшками своих пальцев помассирует и мою больную спину. Только однажды она спросила меня, чем я зарабатываю на жизнь. И, когда я ответил, что служил в казначействе, она спросила, вызываяще выставив вперед свой подбородок с ямочкой:

– И на чьей же ты тогда стороне?

– Ни на чьей. Я государственный служащий. Это совсем не устраивает ее.

– Ты не можешь быть ни на чьей стороне, Тим. Это все равно что не существовать. Обязательно надо иметь то, во что верить. Иначе ты ни рыба ни мясо.

Однажды она спросила меня о Диане: что пошло не так?

– Ничего. Все было не так, когда мы поженились, и не изменилось после.

– Тогда зачем вы поженились?

Я сдерживаю раздражение. Мне хочется сказать ей, что в любви прошлые ошибки объяснить не проще, чем обнаружить. Но она молода и еще верит, я полагаю, что для всего можно найти объяснение, если только как следует поискать.

– Это была просто жуткая глупость, – отвечаю я с обезоруживающей, как я надеюсь, откровенностью. – Послушай, Эмма, не говори мне, что *ты* никогда не делала глупостей. По-моему, ты только о них мне и рассказываешь.

На это она довольно снисходительно улыбается мне, и я в приступе тайного гнева ловлю себя на том, что сравниваю ее с Ларри. Вам, красавчикам, жизнь не устраивает трудных проверок, не правда ли, хочется мне сказать ей. Вам не нужно лезть из кожи вон, ведь так? Вы можете сидеть и судить жизнь, вместо того чтобы она вас судила.

Она улавливает мою горечь или что бы это ни было. Она берет двумя руками мою руку и задумчиво прижимает к своим губам, внимательно глядя на меня. Умна ли она? Или она дурочка? Сама Эмма отвергает эти категории. У ее красоты, как и у красоты Ларри, своя мораль.

А на следующей неделе мы снова старые друзья, и так продолжается до того дня, когда Мерримен вызывает меня к себе и сообщает, что ветераны «холодной войны» не подлежат вторичной переработке и что я, следовательно, могу немедленно поискать себе новую лужайку в Ханибруке. Однако вместо уныния, в которое должен был повергнуть меня этот

приговор, я испытываю только прилив неуместного энтузиазма. Мерримен, на этот раз ты прав! Крэнмер свободен! Крэнмер расплатился по своим долгам! Отныне и до конца своих дней он будет, наплевав на свои прежние принципы, следовать совету Ларри. Он будет сначала прыгать, а уж потом смотреть, куда прыгнул. Он будет брать, вместо того чтобы отдавать.

Глава 7

Но Крэнмер будет не только брать. Он станет жить скромно, станет жить в деревне, станет жить свободно. Он самоустранится от сложностей большого мира, тем более что «холодная война» выиграна и позади. Внеся свой вклад в эту победу, он с достоинством уступит поле брани новому поколению, о котором с такой теплотой сказал Мерримен. В полях, на ниве, в сельской тиши он в самом прямом смысле соберет урожай, ради которого он так славно потрудился, в достойных, упорядоченных, открытых человеческих отношениях он наконец обретет свободу, ради которой он сражался эти двадцать с лишним лет. Но он не замкнется в себе, нет, ни в коем случае. Напротив, он займет себя самыми разными видами полезной обществу деятельности, но только в рамках микрокосма, малой общины, а не в пресловутых интересах нации, которые в наши дни загадка даже для тех избранных, кто по долгу службы блюдет их.

И эта восхитительная перспектива, свалившаяся мне на голову с такой неожиданной стороны, сподвигла меня на акт великолепного безрассудства. В качестве места свершения великого события я выбрал Грильный зал ресторана «Коннот». Прояви я чуть больше предусмотрительности, я выбрал бы что-нибудь поскромнее, потому что я слишком поздно понял, что переоценил возможности ее гардероба. Ну да ладно, к черту предусмотрительность. Если она когда-нибудь придет ко мне, я одену ее с головы до ног в золото!

Она слушает меня осторожно, но осторожность – не то слово, которым можно описать мои речи. Исключая, конечно, мое секретное прошлое: тут я нем как рыба.

Я говорю ей, что люблю ее и опасаюсь за нее днем и ночью. Люблю за ее талант, за ее живой ум, за ее смелость, но особенно за ее хрупкость и – я решаюсь произнести это слово, потому что она сама уже намекнула на него, – ее рискованную доступность.

Моими устами, как никогда прежде, говорит правда. Может быть, это больше, чем правда, может быть, это мечта о ней, потому что меня подхватила и понесла радость от возможности быть нерасчетливым после стольких лет самоконтроля и изворотливости. Я наконец свободен чувствовать. И все благодаря ей. Я говорю ей, что хочу быть для нее всем, чем может быть мужчина: прежде всего я хочу дать ей убежище и защитить, не в последнюю очередь от нее же самой; затем я хочу дать ей возможность заниматься ее искусством, хочу быть ее другом, товарищем, возлюбленным и учеником; я хочу дать ей кров, под которым ее распавшиеся части смогут в гармонии воссоединиться. И для этого я предлагаю ей здесь и сейчас разделить со мной мою сельскую жизнь: в самом пустынном уголке Сомерсета, в Ханибруке, бродить по холмам, выращивать виноград и делать из него вино, заниматься музыкой и любовью, создать вокруг себя мир Руссо в миниатюре, но более привлекательный, прочесть книги, которые мы всю жизнь хотели прочесть.

Удивленный своим безрассудством, не говоря уже о красноречии – за исключением, разумеется, деликатного вопроса о том, как же я все-таки провел последние двадцать пять лет своей жизни, – я слушал себя, слушал,

как весь свой арсенал я выстреливаю одним гигантским залпом. Моя жизнь, говорил я, до сегодняшнего вечера была сплошной комедией мезальянсов, явным следствием того, что мое сердце так и не было выпущено из бокса.

Господи, неужели я снова цитирую Ларри? Временами, к своей досаде, я слишком поздно обнаруживаю, что мои лучшие фразы сказаны им.

Но сегодня, продолжал я, оно выпущено на дорожку и скачет, а я с сожалением оглядываюсь назад на многочисленные повороты, которые я сделал. И наверняка – если я только правильно понимал ее – это даже могло быть связующим нас, несмотря на разницу лет, звеном: разве она не признавалась мне постоянно, что до смерти устала от мелких увлечений, мелких разговоров, мелких умов? А что до ее карьеры, то Лондон остается у нее под боком. С ней останутся ее друзья, ей не нужно будет отказываться ни от чего из того, что дорого ей, она будет вольной пташкой, а не моей канарейкой в клетке. С оглядкой, как верю я в глубине души, на каждое слово, на каждый душевный порыв. Потому что для чего нам убежище, как не для того, чтобы порвать с одной жизнью и начать другую?

Долгое время она, похоже, не в состоянии вымолвить ни слова. Возможно, я обрушился на нее слишком страстно для степенного чиновника, подыскивающего себе компаньона для неторопливой жизни на покое. Действительно, глядя на нее, я спрашиваю себя, а говорил ли я только что вообще или просто слушал внутренний голос вырвавшихся на волю сирен моих долгих лет тайных инкарнаций?

Она смотрит на меня. Лучше сказать, изучает. Она читает по моим губам, с моего лица выражение страха, обожания, серьезности, желания – всего, что появляется на нем, пока я обнажаю перед ней мою душу. Глаза цвета олова неподвижны, но внимательны. Они подобны морю, ожидающему удара молнии. Наконец она делает мне знак замолчать, хотя я давно уже молчу. Она делает его, кладя мне палец на губы и оставляя его там.

– Все в порядке, Тим, – говорит мне она. – Ты хороший человек. Ты лучше, чем ты сам думаешь. Все, что ты должен сделать теперь, – это поцеловать меня.

В «Конноте»? Она, наверное, увидела изумление на моем лице, потому что тотчас рассмеялась, встала со своего места, обошла стол и без малейших признаков смущения запечатлела на моих губах долгий поцелуй, к явному удовольствию и одобрению пожилого официанта, в глаза которого я неотрывно смотрел, пока она не отпускала меня из своих объятий.

– При одном условии, – строго сказала она, снова усаживаясь на свое место.

– Скажи его.

– Мое пианино.

– Что с твоим пианино?

– Я могу перевезти его? Я не могу аранжировать без пианино. Именно так я делаю свои тра-ля-ля.

– Я знаю, как ты делаешь свои тра-ля-ля. Знаешь, вези с собой полдюжины пианино. Вези вагон. Вези все пианино в мире.

В ту же ночь мы стали любовниками. На следующий день с утра я словно на крыльях помчался в Ханибрук приготовить все к ее приезду. Оглянулся ли я хоть раз назад, подумал ли я хоть раз не спеша, правильно ли поступил? Не заплатил ли я слишком высокую цену за то, что мог бы получать по более низкой? Нет, я этого не сделал. Всю свою жизнь я уклонялся от ударов, плел заговоры и выглядывал из-за угла. Отныне с Эммой в качестве моей бесценной подопечной я сделаю свои мысли и дела одним целым, я забуду

про расчетливость – и в подтверждение этого в тот же день я срочно позвонил в Веллс мистеру Эпплби, торговцу старинными драгоценностями и антикварной мебелью. И поручил ему немедленно, не считаясь с расходами, подыскать мне самый лучший, самый красивый кабинетный рояль из всех, какие только делали человеческие руки: нечто действительно старое и добротное, мистер Эпплби, и из хорошего дерева – мне приходит в голову атласное дерево, – а тем временем, скажите, вы еще не продали то прекрасное ожерелье с тремя нитками жемчуга и застежкой в виде камеи, которое я видел у вас в витрине меньше месяца назад?

Мистер Дасс слишком застенчив, чтобы попросить вас раздеться. Если вы мужчина, то вы стоите перед ним в носках раздетым по пояс и держите руками свои брюки, а ваши подтяжки болтаются у вас на бедрах. Даже когда он положил вас на живот и колдует над вашей поясницей, он оголил ровно столько вашего тела, сколько нужно для его миссии.

И еще мистер Дасс говорит. Говорит со своим мягким восточным акцентом. Говорит, чтобы вселить в вас уверенность и создать близость. Иногда, чтобы не дать вам заснуть, он задает вам вопросы, но сегодня, в своем новом тревожном состоянии, я сам хочу спросить его: Вы их видели? – Она была здесь? – Он привел ее сюда? – Когда?

– Вы делаете упражнения, Тимоти?

– Как «Отче наш», – лгу я сонным голосом.

– А как леди в Сомерсете?

Под прикрытием своей показной сонливости я соображаю быстро. Он говорит, как я отлично знаю, о своей коллеге из Фроума, которую рекомендовал мне, когда я перебирался в Ханибрук. Но я предпочитаю другое толкование:

– О, спасибо, с ней все прекрасно. Слишком много работает. Много путешествует. Но чувствует себя отлично. Да вы, наверное, видели ее позже меня. Когда она последний раз была у вас?

Он смеется, объясняя мне мою ошибку, смеюсь с ним и я. Мой роман с Эммой – не секрет для мистера Дасса, как не секрет ни для кого другого. В первые месяцы моей новой жизни одним из моих главных удовольствий было представлять ее любому, кто готов был меня слушать: Эмма, моя компаньонка, моя любовь, моя подопечная, ничего предосудительного.

– Она и в подметки вам не годится, мистер Дасс, уверяю вас, – с опозданием отвечаю я на его вопрос, вгоняя его в краску своей похвалой.

– Это, Тимоти, еще как сказать, – настаивает он, массируя мои плечи. Чувствуется, однако, что он польщен. – Надеюсь, вы ходите к ней регулярно? От сеанса раз в полгода проку не будет.

– Вот это вам надо сказать Эмме, – говорю я. – Она на прошлой неделе обещала мне сходить к вам. Готов поспорить, что так и не пришла.

Но в ответ на все мои хитрые заходы мистер Дасс уклончиво хранит молчание. Я так настойчив, наверное, даже бестактен, потому что я на взводе. Была ли она здесь вчера? Сегодня? Уклоняется ли он от ответа на мои вопросы потому, что стесняется сказать мне, что она была здесь с Ларри? Какова бы ни была причина, ответа мне не получить. Возможно, он слышит напряжение в моем голосе или чувствует его в моем теле. Поскольку мистер Дасс слеп, мне никогда не узнать, какие откровения пересказывают ему его сверхчуткие уши и мягко вгрызающиеся в мою спину пальцы.

– Надеюсь, что в следующий раз вы сконцентрируетесь на лечении лучше, Тимоти, – строго говорит он, получая от меня двадцатифунтовую бумажку.

Он отпирает свою шкатулку для денег, а мой взгляд падает на лежащий возле телефона журнал регистрации посетителей. Украсть его, мелькает у меня мысль. Взять его и выйти. И тогда ты своими глазами увидишь, была ли она здесь, с кем и когда. Но я не могу обокрасть слепого мистера Дасса, чтобы узнать про Эмму, даже если это решило бы все загадки мироздания.

Стоя на мостовой возле приемной, я тяжело дышу, и густой туман раздражает мои глаза и ноздри. В десяти ярдах от меня под уличным фонарем притаился автомобиль. Мои ищейки? Я иду к машине, хлопаю обеими руками по крыше и громко кричу: «Тут кто-нибудь есть?» Эхо моего голоса отдается в тумане. Я прохожу двадцать шагов и оборачиваюсь. Ни одна тень не осмелилась приблизиться ко мне. Из серой стены тумана до меня не доносится ни звука.

Моя цель сменилась, вспоминаю я. Я больше не ищу со страхом признаков смерти или жизни Ларри. Я ищу их двоих. Их сговор. Их движущие мотивы.

Я вхожу в конусы света и выхожу из них, прохожу мимо боковых улиц и под нависающими ветками деревьев. Укутанные фигуры беженцев мелькают мимо. Я надеваю свой плащ. В его кармане обнаруживаю кепку и надеваю и ее тоже. Мой силуэт изменился. Я стал невидим. Три собаки меланхолично бредут одна за другой, время от времени меняясь местами. Я снова останавливаюсь, прислушиваюсь. Ничего. Мои ищейки пропали.

И сейчас, спустя десять лет, этот дом все еще пугает меня. За его серыми стенами, наполовину заросшими розовато-лиловой глицинией, покоятся останки моих грез о счастье на всю жизнь. Когда я перебрался отсюда в скромную пригородную квартиру, по пути в Контору я обходил его стороной. А когда необходимость все-таки заставляла меня проходить мимо его дверей, я боялся, что меня силой затащат в них и заставят отбыть здесь еще один срок.

Но с течением времени мой страх сменился тайным любопытством, и он стал притягивать меня к себе против моей воли. Я стал выходить из метро на остановку раньше и пересекать Хис-стрит только для того, чтобы мельком заглянуть в его освещенные окна. Как они живут? О чем говорят, кроме меня? Кем был я, когда жил здесь? О том, что Диана ушла из Конторы, мне было известно слишком хорошо, потому что одно из своих писем она написала Мерримену.

– Твоя бывшая милашка решила, что мы – гестапо, – объявил он мне, кипя от гнева. – И она не церемонится в выражениях. Противозаконные, некомпетентные, бесконтрольные – это мы. Ты знал, *какую* змею ты пригрел на груди?

– Это же Диана. Она и мухи не обидит.

– Допустим, но что же она собирается с этим делать? Постирать свое белье на публике, я полагаю? Послать все это в «Гардиан»? У тебя есть *хоть какое-нибудь* влияние на нее?

– А у тебя?

Потом до меня дошли слухи, что она учится на психотерапевта, вышла замуж за эксперта, похудела, берет уроки йоги в Кентиш-таун. У Эдгара научное издательство.

Я нажал кнопку звонка. Она открыла дверь тотчас же.

– Я думала, что это Себастиан, – сказала она.

У меня чесался язык извиниться, что я не Себастиан.

Мы устроились в гостиной. Я уже забыл, как низки здесь потолки. Ханибрук, наверное, избаловал меня. На ней джинсы и вязаный свитер времен нашего отпуска в Падстоу. Он бледно-голубой и идет ей. Ее лицо более худое и шире того, которое запомнилось мне. Фигура – пышнее. Меньше теней под глазами. Книги Эдгара от пола до потолка. Большинство по предметам, о которых я даже не слышал.

– Он на семинаре в Равенне, – говорит она.

– Ах, вот как. Замечательно. Чудесно. – Я не могу найти естественный тон, когда говорю с ней. Не могу чувствовать себя непринужденно. И никогда не мог.

– В Равенне, – повторяю я.

– Ко мне вот-вот должен прийти пациент, а я не заставляю пациентов ждать, – говорит она. – Что тебе нужно?

– Исчез Ларри. Они его ищут.

– Кто они?

– Все. Контора, полиция. По отдельности. Полиции нельзя говорить про связь с Конторой.

Ее лицо напрягается, и я боюсь, что она вот-вот закатит мне одну из своих обвинительных речей о необходимости для всех нас говорить друг другу всю правду и о том, что секретность – не симптом, а болезнь.

– Почему?

– Ты имеешь в виду, почему нельзя говорить или почему он исчез?

– И то и другое.

Откуда у нее эта власть надо мной? Почему в разговоре с ней я начинаю запинаться, почему стараюсь умаслить ее? Из-за того, что она слишком хорошо меня знает? Или из-за того, что никогда не знала меня совсем?

– Его обвиняют в краже денег, – говорю я, – кучи денег. Полиция подозревает, что я – его сообщник. Контора тоже.

– А ты не сообщник?

– Разумеется, нет.

– Тогда зачем же ты явился ко мне?

Она сидит на подлокотнике кресла, ее спина выпрямлена, ладони сложены на коленях. У нее серьезная улыбка профессионального слушателя. На столике рядом бутылки, но она не предлагает мне выпить.

– Потому что он влюблен в тебя. Ты – одна из тех немногих восхищающих его женщин, с которыми он не переспал.

– А ты это знаешь точно?

– Нет. Но предполагаю. Это следует также из манеры, в которой он описывает тебя.

Она снисходительно улыбается.

– Вот как? А ты что, готов поверить ему на слово? Ты слишком доверчив, Тим. Неужто добреешь к старости?

Я готов вlepить ей затрещину. У меня чешется язык сказать ей, что я всегда был добр, но она одна не замечает этого; я добавил бы к этому, что мне плевать, спала она с Ларри или с бегемотом из зоопарка, и что единственной причиной малейшего интереса Ларри к ней было его желание досадить мне. К счастью, она опережает меня со своей очередной колкостью:

– Кто послал тебя, Тим?

– Никто, я действую по собственной инициативе.

– Как ты добрался сюда?

– Пешком. Один.

– Понимаешь, я так и вижу, что Мерримен за углом ждет тебя в своей машине.

– Не ждет. Если бы он узнал, что я здесь, он спустил бы на меня всех собак. Практически, я могу считать себя в бегах... – В дверь позвонили. – Диана, если ты что-нибудь узнаешь о нем, если он позвонит, напишет, придет к тебе сам или если ты узнаешь, как его можно найти, сообщи, пожалуйста, мне. Мне он нужен позарез.

– Это Себастиан, – сказала она и пошла в прихожую.

Я слышал голоса, потом молодые ноги сбежали по лестнице вниз, в подвал. В приступе запоздалого возмущения я подумал, что она по своему усмотрению распорядилась моим старым кабинетом и превратила его в помещение для приема пациентов. Она вернулась к своему креслу и села на его подлокотник, в точности как прежде. Я подумал, что она собирается указать мне на дверь, потому что ее лицо приняло выражение твердости. Потом я понял, что она приняла одно из своих решений и теперь собиралась сообщить его мне.

– Он нашел то, что искал. Это все, что мне известно.

– А что он искал?

– Он не сказал. А если бы сказал, то я, скорее всего, не сказала бы тебе. И не устраивай мне допрос, Тим, я сыта ими по горло. Ты на семь лет затащил меня в Контору, и это было ужасно. Я не стану больше подписываться под этическим кодексом и не стану подчиняться распоряжениям.

– Я не устраиваю тебе допрос, Диана. Я просто спрашиваю тебя, что он искал.

– Свою идеальную ноту. Он сказал, что это всегда было его мечтой. Сыграть одну идеальную ноту. Он всегда был афористичен, это у него в крови. Он звонил. Он нашел ее. Ноту.

– Когда?

– Месяц назад. У меня создалось впечатление, что он куда-то уезжал и звонил, чтобы попрощаться.

– Он сказал куда?

– Нет.

– Даже никак не намекнул?

– Нет.

– Не за границу? Может быть, в Россию? Это было что-то интересное, новое?

– Он не сделал абсолютно никаких намеков. Он был эмоционален.

– Ты хочешь сказать – пьян?

– Я хочу сказать, эмоционален, Тим. Из того, что ты пробудил в Ларри самое худшее, не следует, что у тебя есть на него право собственности. Он был эмоционален, был уже поздний вечер, и Эдгар был здесь. «Диана, я люблю тебя, и я нашел ее. Я нашел идеальную ноту». С ним было все в порядке. Он был собран. Он хотел, чтобы я знала это. Я поздравила его.

– Он сказал тебе ее имя?

– Нет, Тим, он говорил не о женщине. Ларри слишком зрел, чтобы думать, что мы – ответ на все вопросы. Он говорил об открытии самого себя и того, что он собой представляет. Тебе пора научиться жить без него.

В мои планы не входило накричать на нее, и мне стоило усилий не сделать этого. Но, раз она назначила себя высшей жрицей самовыражения, у меня, похоже, уже не было причин сдерживаться и дальше.

– Я мечтаю жить без него, Диана! Все свое чертово состояние я отдал бы за то, чтобы избавиться от Ларри и его занятий на остаток моей жизни. К сожалению, мы безнадежно связаны друг с другом, и я должен найти его ради своего, а возможно, и ради его спасения.

Она улыбнулась в пол, что, как я подозреваю, она делала всякий раз, когда пациент проявлял признаки мании величия. В ее голосе прибавилось мягкости.

– Как Эмма? – спросила она. – Молода и хороша собой, как всегда?

– Спасибо, с ней все в порядке. А почему ты спрашиваешь? Он что, говорил и о ней тоже?

– Нет. Но и ты не говорил. И мне интересно почему.

Я карабкался вверх. Когда в Хэмпстеде вы карабкаетесь вверх, вы исследуете его, а когда вы идете под гору, вы возвращаетесь в ад. Здесь разреженной воздух, жиже туман, здесь сложенные из кирпича дома и георгианские фасады. Я зашел в паб и выпил большую порцию виски, потом еще одну, потом еще несколько, припоминая вечер, когда я возвращался в Ханибрук с черным светом, сиявшим в моей голове. Если в пабе были люди, то я не видел их. Потом я снова отправился в путь, не ощутив никаких перемен в своем настроении.

Я вошел в аллею. С одной ее стороны тянулась высокая кирпичная стена, с другой – острые пики железной ограды. В дальнем конце белела деревянная церковь, шпиль которой от основания тонул в тумане.

Я разразился проклятиями.

Я проклинал английский дух, всю мою жизнь и погонявший, и державший меня на привязи.

Я проклинал Диану, укравшую у меня мое детство и презиравшую меня же за это.

Я вспоминал все мои отчаянные попытки найти в ком-то понимание, и свои неудачи, и возвращение снова и снова к сжигавшему меня одиночеству.

Прокляв Англию за то, что она сделала из меня то, чем я сейчас являюсь, я принялся проклинать ее секретную семинарию, Контору и Эмму, выманившую меня из моей комфортабельной неволи.

Затем я принялся проклинать Ларри за то, что он зажег свет в гулкой пустоте того, что он называл моими глупыми квадратными мозгами, и за то, что он выволок меня за пределы моего бесценного мирка.

Но больше всего я проклинал себя.

Внезапно мне отчаянно захотелось спать. Вес моей головы сделался вдруг слишком большим для меня. Ноги отказывались мне подчиняться. Я стал уже подумывать о том, чтобы лечь прямо на тротуар, но тут, на мое счастье, подвернулось такси, и я поехал в свой клуб, где лакей Чарли передал мне телефонное сообщение. Мне звонил инспектор Брайант, который просил меня при первой возможности позвонить по прилагаемому номеру.

В клубах не спят. Вы вдыхаете запах мужского пота и капусты, вы слушаете сопение товарищей по клубу, и вы вспоминаете школу.

Вечер дня Матча Шестерок, ежегодного праздника винчестерского футбола, игры настолько сложной, что всех ее правил не знают даже ветераны. Наш колледж победил. Если обойтись без ложной скромности, то победил я, потому что именно Крэнмер, капитан команды и герой матча, возглавил решающую сумасшедшую атаку. Теперь славная шестерка по традиции в библиотеке празднует победу, а новички стоят на столе и своими

песнями и танцами ублажают триумфаторов. Некоторые из новичков плохо поют, и для улучшения их голосов приходится швырять в них книгами. Другие поют слишком хорошо, и для приведения их к норме приходится бросать в них насмешки и куски хлеба. А один новичок совсем отказался петь и в свое время должен быть выпорот: это Петтифер.

– Почему ты не пел? – спрашиваю я его позже, вечером, когда он прижат лицом к тому же столу.

– Это против моей религии. Я еврей.

– Неправда, ты не еврей. Твой отец священник.

– А я сменил веру.

– Даю тебе последний шанс, – вызывающе говорю я. – Как иначе называется винчестерский футбол?

Это подарок, это самый простой вопрос из жаргона колледжа, который я только могу придумать.

– Травля евреев, – отвечает он.

У меня нет другого выбора, как выпороть его, а ему стоило только ответить: Наша Игра.

Глава 8

Окошко слишком мало, чтобы из него можно было выпрыгнуть, и слишком высоко от земли, чтобы в него можно было увидеть что-нибудь, кроме оранжевых верхушек портовых кранов и набухших дождем бристольских облаков. В комнате три стула, они, как и стол, привинчены к полу. На стене зеркало, как я полагаю, полупрозрачное. Воздух застоявшийся, нечистый и отдающий пивом. Перечисляющий мне мои права насмешливый голос тонет в шуме улицы пятью этажами ниже.

Брайант сидит за одним концом стола, я за другим, а Лак без пиджака посередине. С правой стороны от Лака на полу стоит открытый портфель из коричневого кожаного материала. В его отделениях я углядел четыре прямоугольных пакета разных размеров, каждый из которых завернут в черный пластик и снабжен ярлыком. На ярлыках надписи красными чернилами вроде «ЛП в д 27», которую я перевожу как «вещдок № 27 дела Лоуренса Петтифера». Ничего удивительного, что в моем заторможенном состоянии ума меня больше занимает не № 27, а остальные двадцать шесть, а если уж 27, то почему в портфеле их четыре?

Никакой преамбулы. Никаких извинений за то, что в послеобеденное субботнее время мне пришлось тащиться в Бристоль. Локоть Брайанта уперт в стол, а в сжатом кулаке подбородок, словно Брайант держит себя за бороду. Лак выуживает из портфеля транзисторный магнитофон и бросает его на стол.

– Не возражаете?

Не дожидаясь ни моих возражений, ни моего согласия, он нажимает пусковую кнопку, трижды щелкает пальцами, останавливает ленту и отматывает ее назад. Мы прослушиваем щелканье пальцев Лака еще трижды. Со времени, когда я последний раз видел его, он обзавелся сыпью после бритья и мешками под маленькими глазками.

– Есть ли у вашего друга доктора Петтифера *машина*, мистер Крэнмер? – угрюмо спрашивает он. И кивает своей длинной головой на магнитофон: говорите этой штуке, а не мне.

– В Лондоне у Петтифера была целая конюшня машин, – ответил я.

– В основном, правда, чужих.

– Чьих?

– Я никогда не спрашивал его об этом. Я не в курсе круга его знакомств.

– А в Бате?
– Не имею никакого представления, как он решал в Бате свои транспортные проблемы.

– Я туповат и буквален. Я гораздо старше, чем неделю назад.
– Когда вы в последний раз видели его в машине? – спросил Лак.
– Боюсь, что без посторонней помощи я не смог бы ответить на этот вопрос.

Брайант обрел новую улыбку. В ней было что-то победное.

– О, мы готовы прийти вам на помощь, если вы этого желаете, мистер Крэнмер, сэр. Ведь мы готовы, Оливер?

– Как я понимаю, вы вызвали меня сюда за тем, чтобы опознать некоторые вещи? – спросил я.

– Вызвали, – согласился Брайант.

– В таком случае, если речь идет о его машине, то, боюсь, очень маловероятно, что я смогу помочь вам.

– Вы когда-нибудь видели его в зеленой или черной «тойоте» выпуска примерно 1990 года? – спросил Лак.

– Я не эксперт по японским машинам.

– Мистер Крэнмер, сэр, не эксперт ни в чем, – объяснил Брайант Лаку. – Он ничего не знает, сержант. Об этом можно судить по тем большим иностранным книжкам, которыми набит его особняк.

Лак достал из портфеля и протянул мне захватанный полицейский справочник моделей машин. Листая его страницы, я добрался до снимка голубой «тойоты-карины» 1989 года с черными молдингами, похожей на ту, на которой Ларри в свой абсолютно последний раз приезжал на воскресенье в Ханибрук. Лак видит его тоже.

– Как насчет вот этой? – спрашивает он, придерживая страницу своим костлявым пальцем.

– Боюсь, что мне она ничего не напоминает.

– Вы хотите сказать?..

– Я хочу сказать, что не могу припомнить, что он ездил в такой машине.

– Тогда почему мистер Гагати, ваш местный почтальон, *припоминает*, что видел, как черная или зеленая «тойота» с водителем, описание которого отвечает описанию Петтифера, въезжала на ведущую к вашему дому дорожку в тот самый момент, когда он выходил из деревенской церкви очень жарким воскресеньем, как он полагает, в июле?

Мне становится не по себе от мысли, что они допрашивали Джона Гагати.

– У меня нет никаких соображений, почему он мог вспомнить или не вспомнить подобную вещь. А поскольку въезд на мою дорожку не виден от церкви, я склонен сомневаться, что он это видел.

– «Тойота» проехала мимо церкви в *вашу* сторону, – возразил Лак.

– Она въехала на участок дороги, не видимый из церкви, и *не* появилась на его другом конце. Единственный съезд с дороги в этом месте ведет к *вашему* дому.

– Мистер Гаппи мог не заметить, как она выезжала, – ответил я. – Она могла остановиться на обочине.

Брайант продолжал смотреть на меня, а Лак снова полез в свой портфель, извлек один из пакетов и из него – банковскую книжку в пластиковой обложке лондонского банка Ларри. В свое время я держал в руках сотни их, каждый раз ломая голову над тем, что же происходит с деньгами Ларри, кому он их дает и какие чеки он забывает оплатить.

– Дарил ли вам Петтифер когда-нибудь *наличность*? – спросил Лак.

– Нет, мистер Лак, доктор Петтифер никогда не давал мне никаких денег.
– А вы ему давали?
– Время от времени я ссуживал ему небольшие суммы.
– Сколь небольшие?
– Фунтов тридцать-пятьдесят.
– Вы их называете небольшими, да?
– Я не сомневаюсь, что на них можно было бы накормить много голодных детей. Я не очень долго помогал Ларри.

– Не желаете ли вы изменить, в каких-либо деталях или по форме, свои показания в той части, где вы утверждаете, что никогда не имели никаких деловых отношений с Петтифером?

– Они правдивы. Поэтому я не желаю менять их.

– Восьмая страница, – сказал он, передавая мне банковскую книжку.

Я открыл ее на восьмой странице. На ней была запись за сентябрь 1993 года, месяц, когда Контора выплачивала Ларри его политую потом зарплату: сто тридцать тысяч фунтов, переведенных на его счет посреднической фирмой «Миллс энд Хьюборн», зарегистрированной в Сент-Хелиере, на Джерси, и покрывающих превышение кредита в 3728 фунтов.

– У вас есть *какие-либо* соображения по поводу того, как и за что доктор Петтифер получил сто тридцать тысяч фунтов в сентябре 1993 года?

– Никаких. Почему бы вам не спросить об этом тех, кто выплатил ему эти деньги?

Мое предложение не вызвало у него энтузиазма.

– Благодарю вас, «Миллс энд Хьюборн» – одна из ваших старомодных, чопорных семейных юридических фирм с Нормандских островов, они *не* любят бесед с полицией и *не* расположены разглашать информацию о своих клиентах без соответствующего постановления судебных властей островов. *Тем не менее* ...

В его тылу Брайант положил руки на стол, готовясь вступить в сражение.

– *Тем не менее*, – повторил Лак, – в результате моих исследований *выяснилось*, что та же самая фирма выплачивала Петтиферу также его годовую зарплату, по всей видимости, по поручению некоторых иностранных издательств и кинокомпаний, зарегистрированных в таких странных местах, как Швейцария. Вас это не удивляет?

– Я не вижу, почему это должно удивлять меня.

– А потому, что так называемая зарплата была фиктивной. Петтифер никогда не делал этой работы. Гонорар за изданные за границей книги, которые он никогда не *писал*. Плата за услуги, которые он никогда не *оказывал*. Вся эта схема от начала до конца была фикцией, к тому же состряпанной не очень компетентными людьми, если вы хотите знать мое мнение. Не найдется ли у вас, мистер Крэнмер, *каких-нибудь догадок* по поводу того, кто от имени доктора мог вывалить на него всю эту кучу дерьма?

У меня догадок не было, и я поспешил сообщить об этом. И я был неприятно поражен легкостью, с которой за пару дней один-единственный фараон при помощи только компьютера смог сорвать фиговый листок, которым Верхний Этаж прикрыл выплату Ларри его тридцати сребреников. Хотя подозрения на этот счет у меня всегда были.

– С этой фирмой, «Миллс энд Хьюборн», связаны некоторые весьма занятные обстоятельства, которыми, с вашего позволения, я хочу поделиться с вами, – резюмировал Лак с назойливым сарказмом. – Одной из ее *побочных* областей деятельности, как нам удалось выяснить из некоторых

источников, является осуществление неофициальных платежей по получению правительства Ее Величества, – пол под моими ногами закачался, – под которыми я подразумеваю получение больших сумм наличными от *казначейства* Ее Величества, – при слове «казначейства» его подбородок вытянулся в мою сторону, – и осуществление разнообразных выплат, включая взятки влиятельным иностранным гражданам, средства для «проталкивания» оборонных контрактов и другие так называемые «серые» виды государственных расходов. Вам ничего не известно о вещах такого рода? Видите ли, на мистера Брайанта и на меня произвело большое впечатление то совпадение, что вы служили именно в казначействе и что деньги британского правительства перекачиваются именно петтиферовским благодетелям с Нормандских островов.

И в ночном кошмаре мне не могло присниться, что Секция выплат и финансирования может дойти до такого идиотизма, чтобы для выдачи денег Ларри и для финансирования других, не имеющих к нам отношения тайных операций использовать один и тот же источник, бесконечно увеличивая тем самым риск разоблачения Ларри и остальных, получающих деньги.

– Боюсь, что все это вне рамок моей компетенции.

– Тогда, может быть, вы скажете нам что-нибудь, что в *рамках* вашей компетенции, – грубо предложил Брайант. – Вы – высокопоставленный джентльмен из казначейства, и это практически все, что нам позволили узнать о вас.

– Я никак не возьму в толк, что вы подразумеваете.

– Подразумеваю? Я? О, ничего, ничего, мистер Крэнмер, сэр. Это вне моей компетенции. Очень хитрая штука, эти тайные фонды казначейства, так мне сказали. Ну ладно, это я могу понять. Когда вам надо сунуть какому-то арабскому дельцу несколько миллионов, чтобы он помог сбыть ваши разваливающиеся истребители, почему не сунуть несколько монет себе в карман просто за то, что вы – английский джентльмен? А еще лучше – своему сообщнику.

– Это возмутительное и абсолютно лживое обвинение.

– Тринадцатая страница, – сказал Лак.

– Что-нибудь заметили? – спросил Лак.

Не заметить было трудно. Тринадцатая страница банковской книжки Ларри относилась к июлю 1994 года. До двадцать первого числа этого месяца на текущем счету держалась сумма больше ста сорока тысяч фунтов. Двадцать первого Ларри снял со счета сто тридцать восемь тысяч, оставив на нем 2176 фунтов.

– Что вы об этом думаете?

– Ничего. Он, наверное, купил дом.

– Не угадали.

– Вложил во что-нибудь. Откуда мне знать?

– Двадцать второго июля, *предупредив* банк за два дня до этого, доктор Петтифер снял со своего счета сто тридцать восемь тысяч фунтов и получил *всю* эту сумму наличными в коричневых конвертах с двадцатифунтовыми купюрами. Принимать пятидесятифунтовые он отказался. У него не оказалось с собой никакой сумки или портфеля, и кассирше пришлось упрашивать подруг, пока у одной из них не нашлась инкассаторская сумка, куда и были ссыпаны конверты. На следующий день он заплатил своей квартирной хозяйке одну тысячу фунтов и заплатил по четырем большим счетам, включая и счет за вино. Судьба остальной

наличности в количестве ста тридцати тысяч фунтов ровно в настоящее время *неизвестна*.

Зачем, тупо думал я. Какая логика в том, что человек, обокравший русское посольство на тридцать семь миллионов, снимает со своего банковского счета все сто тридцать тысяч? Для кого? Зачем?

– Если, конечно, он не отдал их вам, мистер Крэнмер, – из-за другого конца стола предположил Брайант.

– Или если они не были вашими с самого начала, – высказал свою догадку Лак.

– И незаконными, разумеется, – сказал Брайант. – Но мы ведь не говорим о законных вещах, правда? Выражаясь воровским жаргоном, вы приделали им ноги. Адок положил их в банк. Он ваш кореш. Ваш сообщник. Так?

Я счел ниже своего достоинства отвечать, и он продолжил тоном школьного учителя:

– Вы ведь денежный мешок, не так ли, мистер Крэнмер, сэр? Барахольщики, так я называю их. У вас много, но вы хотите еще. Весь мир так устроен, не правда ли? И вот вы сидите весь день у себя в казначействе или сидели. Вы видите, как кучи денег проплывают у вас под носом, и от большинства из них проку никакого, осмелюсь вам сказать. И вы говорите себе: «Послушай, Тимоти, а ведь вон той маленькой кучке в твоём кармане будет лучше, чем в их». И вы немножко приделываете им ноги. И никто этого не замечает. Тогда вы приделываете ноги другой кучке. Побольше. И снова никто не замечает. Как хороший бизнесмен, вы расширяете свой бизнес. Мы ведь не можем стоять на месте, не правда ли, особенно в наше время и в наш век. Никто не может. Это ведь в человеческой природе, не так ли? Особенно после миссис Тэтчер. И вот в один прекрасный день у вас появляется, так сказать, возможность прорыва на некий зарубежный рынок. Рынок, где вам не надо учить местный язык и где вы знакомы с обстановкой. Вроде России, например. И вы затеваете большое дело. Вы, доктор и некий иностранный господин, его знакомый, который именуется профессором. Каждый из вас в своем деле дока. Но мистер Крэнмер, сэр – мозги. Мистер Шишка. У него есть класс. Хладнокровие. Положение. Как, уже горячее, сэр? Нам вы можете открыть всю душу. Мы люди маленькие, правда, Оливер?

Когда вас обвиняют в чудовищных вещах, ничто не выглядит менее правдоподобным, чем правда. Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы защищать свою страну от ее предателей. И теперь на меня самого ставят клеймо предателя. За всю жизнь я не присвоил ни одного доверенного мне пенни. Теперь меня обвиняют в незаконном переводе больших сумм на Нормандские острова и выплате их себе при участии моего бывшего агента. И все же, когда я слышу себя доказывающим свою невиновность, мой голос звучит абсолютно так же, как голос любого виновного человека. Мой голос срывается и становится визгливым, беглость речи покидает меня, для себя я так же неубедителен, как и для моих обвинителей. *Так всегда в жизни, слышу я голос Мерримена, нас наказывают за провинности, которых мы не совершали, а куда большее жульничество сходит нам с рук.*

– Мы ведь только думаем вслух, мистер Крэнмер, сэр, – объяснил Брайант со слоновьей вежливостью, когда они дали мне выговориться, – никакому из обвинений предпочтение не отдано, по крайней мере, на данном этапе. В конце концов, мы ведь жаждем сотрудничества, а не крови. Вы говорите нам, где нам искать то, что мы ищем, а мы кладем это обратно на полочку. Все разбегаются по своим домам и выпивают по стаканчику отличного ханибрукского вина. Вы меня понимаете?

– Нет.

Затем последовала бессвязная интерлюдия, во время которой Лак извлек на свет более ранние банковские книжки, которые отличались от первой только величиной сумм на счете. Картина становилась ясна. Как только у Ларри на его счете образовывалась заметная сумма, он обращал ее в наличность. Что он делал с ней дальше, оставалось загадкой. Из пакета был извлечен месячный проездной билет, все еще действительный, на электричку от Бата до Бристоля стоимостью семьдесят один фунт. Они сказали, что он был найден в ящике его стола в преподавательской. Нет, сказал я, я понятия не имею, зачем Ларри надо было так часто ездить в Бристоль. Возможно, ради театров, или библиотек, или женщин. У Лака, казалось, наступил момент счастливого успокоения. Он сидел, словно привязанный к своему стулу, его рот был открыт, а плечи поднимались и опускались под его потной рубашкой.

– Крал ли доктор Петтифер у вас когда-либо и что-либо? – спросил он с тем неизменным недовольством, которое делало его неприятным собеседником.

– Разумеется, нет.

– Однако странно. В других отношениях вы о нем не слишком высокого мнения. Почему вы так уверены, что он никогда ничего не украл у вас?

Вопрос был ловушкой, прелюдией к новой атаке. Поскольку, однако, я не имел ни малейшего представления, с какой стороны она начнется, у меня не было иного выбора, чем дать на него прямой ответ.

– Доктор Петтифер может обладать самыми разными качествами, но я никогда не считал его вором, – ответил я и не успел еще закрыть рот, как Брайант закричал на меня. Сначала я подумал, что он поставил себе задачей не дать мне углубиться в мои мысли. Но потом я увидел, что над своей головой он размахивает пухлым пакетом.

– А что вы тогда скажете об этом, мистер Крэнмер, сэр?

Прежде чем увидеть, я услышал: позвякивая, старинные Эммины драгоценности покатались ко мне по столу, все до одного украшения, купленные мной для нее, начиная с робко предложенных ей викторианских черных сережек, через ожерелье с тремя нитками жемчуга к колье с застежкой в виде инталии^[14], изумрудному перстню, гранатовой подвеске и камее в золотой оправе, на которой могла быть изваяна сама Эмма, – все было высыпано на стол передо мной, подобно мусору, невежественной рукой инспектора-детектива Брайанта.

Я стоял на ногах. Драгоценности дорожкой лежали на столе, и дорожка заканчивалась возле меня. Должно быть, я поднялся очень резво, потому что Лак тоже стоял, перегораживая мне дорогу к двери. Я взял ожерелье с инталией и с опаской повертел его в руке, словно убеждаясь, что оно не повреждено; мысленно я касался пальцами шеи Эммы. Потом я перевернул ее камее, потом ее брошь, ее подвеску и, наконец, перстень. В моем мозгу пузырьками всплывала тарабарщина Конторы: сцепление... расцепление... подсознательные связи... *Держать ее подальше от Ларри*, говорил я себе, *что бы они ни делали и чем бы ни угрожали. Эмма должна быть отдельно от Ларри.*

Я сел.

– Не узнаём ли мы часом какую-нибудь из этих вещиц, а, мистер Крэнмер, сэр? – добродушно спросил Брайант, как фокусник, только что исполнивший хитроумный трюк.

– Разумеется, узнаю. Я их покупал.

– У кого, сэр?

– У Эпплби в Веллсе. Как они попали к вам?

– С вашего позволения, какова точная *дата* их покупки в торговом доме Эпплби в Веллсе? Мы знаем, что вы не очень сильны в датах, но все же...

Продолжить ему не удалось. Я грохнул своим кулаком по столу так сильно, что драгоценности поскакали, а магнитофон взлетел в воздух, перевернулся и упал лицом на стол.

– Это драгоценности Эммы! Отвечайте мне, откуда вы их взяли? И перестаньте насмехаться надо мной!

Редко случается, что эмоции и оперативная необходимость совпадают, но это был именно такой случай. Брайант убрал свою улыбку и изучал меня, явно что-то прикидывая. Вероятно, он решил, что я готов признаться ему в обмен на нее. Лак сидел прямо, вытянув в мою сторону свою длинную голову.

– *Эммы?* – задумчиво повторил он. – Я не думаю, что мы знаем *Эмму*, а, Оливер? Эмма, кто бы это могла быть, сэр? Может быть, вы просветите нас?

– Вы отлично знаете, кто она. Вся деревня знает, что Эмма Манзини – моя компаньонка. Она музыкант. Драгоценности ее. Я купил их для нее и подарил их ей.

– Когда?

– Какое это имеет значение? На протяжении последнего года. По разным случаям.

– Она иностранка, да?

– Ее отец итальянец, он умер. По рождению она британская гражданка, и воспитывалась она в Англии. Где вы нашли их? – Я вернулся к тону меланхолических догадок. – Фактически я ее муж, инспектор! Скажите мне, что произошло?

Брайант надел очки в роговой оправе. Не знаю чем, но они меня раздражали. Казалось, что они лишают его глаза последних остатков человеческой доброты. Его траченные молю усы опустились в сердитой усмешке.

– И мисс Манзини в дружеских отношениях с нашим доктором Петтифером, мистер Крэнмер, сэр?

– Они знакомы. Какое это имеет значение? Ответьте мне, откуда у вас ее драгоценности!

– Приготовьтесь к удару, мистер Крэнмер, сэр. Драгоценности вашей Эммы мы получили у мистера Эдварда Эпплби с Маркет-плейс в Веллсе, того самого джентльмена, который продал вам упомянутые драгоценности впервые. Он пытался связаться с вами, но с вашим телефоном творилось что-то странное. Поэтому, опасаясь, что дело может оказаться срочным, он обратился в полицию Бата, которая в то время была занята другими делами и не предприняла дальнейших действий.

Он снова вернулся к амплу рассказчика.

– Видите ли, мистер Эпплби имеет контакты с Хэттон-Гарден и навещает своих коллег-ювелиров, так у него заведено. И вдруг один из них обращается к нему и, зная его как торговца антикварными украшениями, предлагает ему купить ожерелье вашей мисс Манзини с этим, как его, итальянское слово, как вы его назвали? Вон там, слева.

– Инталия.

– Спасибо. Предложив мистеру Эпплби эту Италию, он выкладывает всю кучу. Все, что сейчас перед вами. Это все, что вы купили мисс Манзини, сэр, вся коллекция?

– Да.

– А поскольку все дилеры друг друга знают, мистер Эпплби спросил его, откуда у него все это. Тот ответил, что все куплено у мистера Петтифера из Бата. За свои цацки доктор Петтифер получил двадцать две тысячи фунтов. По его словам, это его семейные драгоценности. Достались от его матери, теперь, увы, покойной. Это хорошая цена за них – двадцать две тысячи фунтов?

– Это рыночная цена, – слышу я свой ответ. – А застрахованы они на тридцать пять.

– Вами?

– Украшения зарегистрированы как собственность мисс Манзини. Платил страховку я.

– Было ли заявлено страховой компании об их пропаже?

– Никто не знал, что они пропали.

– Вы хотите сказать, что вы не знали. Могли ли мистер Петтифер или мисс Манзини подать заявление от вашего имени?

– Не представляю себе, как они могли это сделать. Спросите лучше в страховой компании.

– Спасибо, сэр, спрошу обязательно, – сказал Брайант и списал название и адрес из моей записной книжки.

– За наследство своей мамочки доктор хотел наличные, но в магазине на Хэттон-Гарден этого сделать для него не могли. Таковы правила, знаете ли, сэр, – фальшиво-дружеским голосом продолжил он. – Самое большое, что они могли для него сделать, это дать ему чек, который можно обналичить в банке, потому что он заявил, что банковского счета у него нет. Потом доктор поскакал через улицу и предъявил его в банке ювелира. Открывать счета не стал, взял всю кучу, и ювелир его больше не видел. Ему пришлось, однако, назвать свое полное имя и подтвердить его водительскими правами. Это удивительно, если учесть, как много причин у него было этого не делать. Адресом был Батский университет. Ювелир позвонил в его канцелярию, и там ему подтвердили, что доктор Петтифер у них есть.

– И когда все это происходило?

Ах, как ему нравилось мучить меня своей понимающей улыбкой!

– А это по-настоящему волнует вас, не так ли? – спросил он. – *Когда*. Вы не можете припомнить дат, но сами всегда спрашиваете когда.

Он изобразил на своем лице великодушие.

– Доктор толкнул камешки вашей дамы двадцать девятого июля, в пятницу.

Примерно в это время она перестала надевать их, подумал я. После публичной лекции Ларри и после мяса под соусом, которое последовало или не последовало за ней.

– Кстати, а где мисс Манзини *сейчас*? – спросил Брайант.

Мой ответ был готов, и я произнес его вполне уверенно:

– По моим последним данным, где-то между Лондоном и Ньюкаслем. У нее концертное турне, ей нравится ездить с группой, которая исполняет ее музыку. Она воодушевляет их. Где она в настоящий момент, точно я не знаю. У нас не принято часто звонить друг другу, но я уверен, что скоро она мне позвонит.

Теперь очередь Лака поиграть со мной. Он разворачивает еще один пакет, но в нем, похоже, только заметки чернилами, написанные им для самого себя. Я спрашиваю себя, женат ли он и где живет, – если он вообще живет где-нибудь, кроме сияющих продезинфицированных коридоров его службы.

– *Сообщи*ли вам Эмма что-нибудь о пропаже ее украшений?

– Нет, мистер Лак, мисс Манзини ничего мне о них не сообщила.

– А почему же? Уж не хотите ли вы мне сказать, что ваша Эмма потеряла драгоценностей на тридцать пять тысяч фунтов и даже не потрудились *упомануть* об этом?

– Я хочу сказать, что мисс Манзини могла не заметить их пропажи.

– А она жила *дома* в эти последние месяцы, не так ли? Я хочу сказать, у *вас* дома? Она ведь не находится в разъездах все время?

– Мисс Манзини жила в Ханибруке все лето.

– И у вас, тем не менее, не возникло ни малейшего подозрения, что в один день у Эммы *были* ее украшения, а на следующий день их у нее *не было*?

– Нет, не возникло.

– Вы не заметили, что она *перестала* носить их, например? Это могло натолкнуть вас на размышления, не правда ли?

– Только не в ее случае.

– А почему?

– Как большинство художников, мисс Манзини своенравна. Однажды она может нарядиться, а потом целыми неделями одно упоминание о нарядах раздражает ее. Причин для этого может быть много. Это и ее работа, что-нибудь, действующее ей на нервы, и ее спинные боли.

Мое упоминание о спине Эммы было встречено многозначительным молчанием.

– У нее повреждена спина? – сочувственным голосом спросил Брайант.

– Боюсь, что да.

– Бедняжка. Как это случилось?

– Насколько я знаю, она подверглась грубому обращению во время своего участия в мирной демонстрации.

– На это ведь можно посмотреть с разных точек зрения, не правда ли?

– Уверен, что да.

– В последнее время она не кусала полицейских?

– Я оставил без ответа этот вопрос.

Лак продолжил:

– И вы не спросили ее: «Эмма, почему ты не носишь свое кольцо? *Или* свое ожерелье? *Или* свою брошь? *Или* свои серьги?»

– Нет, не спросил, мистер Лак. Мисс Манзини и я никогда не беседуем друг с другом в таком духе.

Я был высокомерен и знал это. Лак действовал мне на нервы.

– Прекрасно. Итак, вы друг с другом не беседуете, – бросил он. – А также вы не знаете, где она.

Он, очевидно, терял терпение.

– И как, по вашему глубоко личному мнению высокоуважаемого сотрудника казначейства, выглядит тот факт, что ваш друг доктор Лоуренс Петтифер в июле этого года сбыл драгоценности вашей Эммы *дилеру* с Хэттон-Гарден за две трети того, что вы за них заплатили, заявляя при этом, что это драгоценности его матери, хотя фактически он получил их от *вас* через Эмму?

– Мисс Манзини была вольна распорядиться этими драгоценностями по своему усмотрению. Если бы она отдала их молочнику, я и мизинцем не

пошевелил бы. – Я искал, чем уколоть его, и с благодарностью ухватился за подвернувшееся оружие. – Но мистер Гаппи, вероятно, уже нашел для вас решение вашей проблемы, мистер Лак?

– Это вы о чем?

– Разве не в июле, по словам Гаппи, он видел, как мистер Петтифер приближается к моему дому? В воскресенье? Вот вам и грабитель. Петтифер подходит к дому и видит, что он пуст. По воскресеньям прислуги в нем нет. Мисс Манзини и я уехали пообедать в город. Он взламывает окно, проникает в дом, идет в ее комнату и завладевает драгоценностями.

Он, должно быть, уже догадался, что я издеваюсь над ним, потому что покраснел.

– Мне показалось, вы утверждали, что Петтифер не крадет, – подозрительно возразил он.

– Давайте будем считать, что вы меня переубедили, – учтиво ответил я. Магнитофон хрюкнул, и лента в нем остановилась.

– Минутку подожди, пожалуйста, Оливер, – вежливо приказал Брайант.

Лак уже протянул руку, чтобы сменить пленку. Но вместо этого он несколько зловеще, как мне показалось, убрал руку и положил ее вместе с другой себе на колено.

– Мистер Крэнмер, сэр...

Брайант стоял рядом со мной. Его ладонь легла на мое плечо – традиционный жест при аресте. Он нагнулся, и его губы были не дальше дюйма от моего уха. До сих пор физического страха у меня не было, но теперь Брайант напомнил мне о нем.

– Знаете ли вы, что это означает, сэр? – очень тихо спросил он, больно сжимая мое плечо.

– Разумеется, знаю. Уберите с меня свою руку.

Но его рука не сдвинулась с места. Ее нажим возрастал по мере того, как он говорил.

– Потому что это то, что я с вами собираюсь сделать, мистер Крэнмер, сэр, если не увижу с вашей стороны гораздо больше упомянутого мной сотрудничества, чем вижу в данный момент. Если вы не проявите его в ближайшее же время, то я, как поется в старой песенке, пойду на любые уловки и подлоги, сделаю это делом своей жизни, но упрячу вас туда, где вы весь остаток вашей будете видеть перед собой очень скучную стену вместо мисс Манзини. Вы слышали это, сэр? А я не слышал.

– Я слышу вас прекрасно, – сказал я, тщетно пытаюсь стряхнуть с себя его руку. – Отпустите меня.

Но его рука держала меня все крепче.

– Где деньги?

– Какие деньги?

– Не стройте из себя дурочку, мистер Крэнмер, сэр. Где деньги, которые вы с Петтифером рассовали по заграничным банковским счетам? Миллионы, принадлежащие известному иностранному посольству?

– Я понятия не имею, о чем вы говорите. Я ничего не крал и ни в каких заговорах с Петтифером или с кем-нибудь еще не участвую.

– Кто такой АМ?

– Кто?

– В дневнике Петтифера из его квартиры сплошь АМ. Поговорить с АМ, поехать к АМ, позвонить АМ.

– Абсолютно не представляю себе. Может быть, это «утром»? А РМ – «пополудни»^[15].

Думаю, что в другом месте он ударил бы меня, потому что он поднял глаза на зеркало, словно прося разрешения.

– В таком случае, где ваш друг Чечеев?

– Кто?

– Перестаньте ктокать. Константин Чечеев – культурный русский джентльмен из советского, а потом русского посольства в Лондоне.

– Никогда в жизни не слышал этого имени.

– Ну, разумеется, вы не слышали. Потому что *мне*, мистер Крэнмер, сэр, вы нагло лжете своим мерзким барским языком, вместо того чтобы помогать в моем *расследовании*.

– Он сжал мое плечо еще сильнее и налег на него. Огненные стрелы пронзили мою спину.

– Вы знаете, что я о вас думаю, мистер Крэнмер, сэр? Знаете?

– Мне нет никакого дела до того, что вы думаете.

– Я думаю, что вы очень жадный господин с очень большим аппетитом. Я думаю, что у вас есть маленький дружок по имени Ларри. И маленький дружок по имени Константин. И маленькая авантюристка по имени Эмма, которую вы растлили и которая считает, что закон – филькина грамота, а полицейских можно кусать. И я думаю, что вы строите из себя аристократа, а Ларри строит из себя вашего ягненка, а Константин вместе с некоторыми другими очень мерзкими ангелами поет в московском хоре, а Эмма играет вам на рояле. Я слышал, что вы что-то сказали?

– Я ничего не сказал. Отпустите меня.

– А я ясно слышал, что вы меня оскорбляли. Мистер Лак, вы слышали, как этот джентльмен употреблял оскорбительные выражения в отношении полицейского?

– Да, – ответил Лак.

Брайант сильно потрянул меня и прокричал мне в ухо:

– *Где он?*

– Я не знаю!

Хватка его кисти не ослабевает. Его голос становится тихим и доверительным. На своем ухе я чувствую его горячее дыхание.

– Вы на перепутье вашей жизни, мистер Крэнмер, сэр. Вы можете быть паинькой с инспектором-детективом Брайантом, и в этом случае мы сквозь пальцы посмотрим на многие из ваших темных делишек, я не говорю, что на все. Или вы будете и дальше водить нас за нос, и тогда мы не сможем исключить из нашего расследования ни одну из дорогих вам персон, как бы молода и музыкальна она ни была. Вы снова выкрикиваете мне оскорбления, мистер Крэнмер, сэр?

– Я ничего не сказал.

– Прекрасно. А то ваша леди, согласно нашим протоколам, выкрикивает их. А нам с ней в ближайшем будущем предстоит много беседовать, и я не хотел бы демонстрировать плохие манеры, ведь правда, Оливер?

– Правда, – ответил Оливер.

После прощального нажима Брайант отпустил меня.

– Спасибо, что приехали в Бристоль, мистер Крэнмер. Расходы, если пожелаете, вам оплатят внизу, сэр. Наличными.

Лак держал для меня дверь открытой. Думаю, он предпочел бы захлопнуть ее перед моим носом, но английское чувство «честной игры» удержало его от этого.

С горящим на моем плече оскорбительным клеймом кисти Брайанта я вышел в серые вечерние сумерки и решительно направился в гору, к

Клифтону. Я снял по номеру в двух отелях. Первый был в четырех-звездном «Идене», с прекрасным видом на Гордж. Там я был мистером Тимоти Крэнмером, владельцем унаследованного от дяди Боба старинного «санбима», украсившего собой гостиничную автостоянку. Второй – в занюханном мотеле «Старкрест» на другом конце города. Там я был мистером Колином Бэйрстоу, коммивояжером и пешеходом.

В настоящий момент я сидел в роскошном номере на втором этаже «Идена» с видом на Гордж. Я заказал бифштекс с кровью и бутылку бургундского и попросил дежурного отключить мой телефон до утра. Бифштекс я отправил в кусты под мои окном, а вино, если не считать рюмки, которую выпил, – в раковину. Пустой поднос и запасную пару туфель я выставил за дверь, повесил на ее ручку табличку «Не беспокоить» и по пожарной лестнице спустился к служебному выходу.

Дойдя до телефонной будки, я набрал дежурный номер Конторы с последней семеркой, потому что сегодня была суббота. В трубке раздался подслащенный голос Марджори Пью.

– Да, Артур, чем могу быть полезна вам?

– Сегодня после обеда полиция допрашивала меня.

– О да.

И тебе «о да», подумал я.

– Они докопались до выплат Авессалому через наших друзей с Нормандских островов, – доложил я, используя один из бесчисленных псевдонимов Ларри. Мысленно я представил себе, как она печатает на своем компьютере «Авессалом». – Они докопались и до связи с казначейством и подозревают, что я воровал из правительственных фондов и расплачивался со своим сообщником Авессаломом. Они уверены, что этот след выведет их и к русскому золоту.

– Это все?

– Нет. Какой-то кретин из секции выплат и финансирования спутал провода. Трубу Авессалома они используют для платежей и другим нашим друзьям.

Дальше была либо одна из ее воспитательных пауз, либо она просто не знала, что сказать.

– Сегодня я ночую в Бристоле, – сказал я. – Завтра утром они могут захотеть побеседовать со мной еще раз.

Я повесил трубку. Моя миссия была выполнена. Я предупредил ее, что другие источники могут оказаться под угрозой. Я объяснил ей причину моего невозвращения в Ханибрук. И я был уверен, что она не побежит в полицию, чтобы проверить мою версию.

Постелью Колина Бэйрстоу в мотеле был продавленный диван с засаленным оранжевым покрывалом. Растянувшись на нем во весь рост, с телефоном под рукой, я смотрел в мрачный желтый потолок и обдумывал свой следующий шаг. С момента, когда мне в клубе вручили записку Брайанта, я находился в состоянии оперативной готовности. Со станции Касл Кери я доехал до Ханибрука, где собрал весь свой аварийный комплект Бэйрстоу – кредитные карточки, водительские права и паспорт – и бросил его в потрепанный дипломат, старые наклейки на котором свидетельствовали о бродячей жизни коммивояжера. Добравшись до Бристоля, я оставил «санбим» Крэнмера у «Идена», а дипломат Бэйрстоу – в сейфе управляющего мотелем.

Из этого дипломата теперь я извлек записную книжку с железными кольцами и пятнистой ланью на обложке. Интересно, насколько порядки Конторы изменились после переезда на набережную, размышлял я. Мерримен не изменился ни капли. Барни Уолдон не изменился. И, насколько я знал полицию, любая процедура, практиковавшаяся последние двадцать пять лет, скорее всего, будет в ходу и через сто лет.

Собравшись с духом, я набрал номер одной из автоматических телефонных станций Конторы и, сверяясь с цифрами из своей записной книжки, подключился ко внутренней телефонной сети Уайтхолла. Еще пять цифр соединили меня с отделом Скотланд-Ярда, ответственным за связи с разведкой. Ответил хорошо поставленный мужской голос. Я сказал, что я из Норт-Хауса, что означало код моей секции. Хорошо поставленный голос не выказал никакого удивления. Я назвался Банбери, что означало, что я начальник секции. Хорошо поставленный голос спросил: «С кем вы хотите говорить, мистер Банбери?» Я ответил, что мне нужен департамент мистера Хэтта. Никто никогда не видел мистера Хэтта, но если он существовал, то заведовал информацией о машинах. Откуда-то издалека донеслась рок-музыка, а потом в трубке раздался живой девичий голос.

– Мистеру Хэтту надоедает Банбери из Норт-Хауса, – сказал я.

– Все в порядке, мистер Банбери, мистеру Хэтту нравится, когда ему надоедают. Меня зовут Элис. Чем мы можем быть вам полезны?

Двадцать лет я запоминал приметы машин Ларри. Я мог назвать номер любой его развалюхи и вдобавок еще ее цвет, возраст, приметы и имя бедняги-хозяина. Я назвал Элис номер голубой «тойоты». Я едва успел назвать ей последнюю цифру, как она уже читала мне с экрана своего компьютера.

– Андерсон Салли, Кембридж-стрит, 9А, рядом с Бельвью-роуд, Бристоль, – прочла мне она. – Хотите грязное белье?

– Да, пожалуйста.

И она мне его вывалила: номер страховки, телефон хозяйки, внешние приметы машины, место первой регистрации, срок годности разрешения, других машин у этого владельца нет.

За дежурной стойкой мотеля прыщеватый юноша в красном пиджаке дал мне захватанную карту Бристоля.

Глава 9

На такси я добрался до бристольского вокзала Темпл-Мидс, а от него шел пешком. Я был посреди индустриальной пустыни, ночью казавшейся величественной. Мимо меня проносились тяжелые грузовики, обдавая мой дождевик маслянистой жижей. И все же над городом в долине стояла нежная дымка, небо было полно влажных звезд, а томная полная луна вела меня вверх по холму. Я шел, и подо мной один за другим открывались взгляду залитые оранжевым светом железнодорожные пути. Я вспомнил Ларри и его сезонку от Бата до Бристоля, семьдесят один фунт в месяц. Я попытался представить себе его пассажиром. Где у него было дело? А где дом? Салли Андерсон, Кембридж-стрит, 9А. Грузовики оглушали меня. Я не слышал своих шагов.

Дорога, начавшаяся как виадук, перешла на холм. Его вершина была справа от меня. Прямо передо мной террасой спускались по склону коттеджи с плоскими фасадами. Красные кирпичные стены делали их похожими на оборонительные сооружения. Там, наверху, подумал я, вспомнив свою карту. Там, наверху, думал я, припоминая пристрастие Ларри к уединенным местам. Я подошел к перекрестку, нажал кнопку для пешеходов на светофоре и

подождал, пока моторизованная кавалерия Англии с визгом и лязгом затормозит. Добравшись до другого тротуара, я вступил на боковую улицу, украшенную развешанными поперек нее, проводами. Серьезного вида чернокожий мальчик лет шести сидел на пороге заведения «Бар С Океанской Рыбой Китайские Блюда Навынос».

– Это Кембридж-стрит? Бельвю-роуд?

Я улыбнулся, но ответной улыбки не последовало. Бородатый друид в мешковатой ирландской шапочке вышел, несколько излишне осторожно переставляя ноги, из двери с надписью «Робинс по лицензии». В руках у него был коричневый бумажный пакет.

– Смотри себе под ноги, приятель, – посоветовал он мне.

– Почему?

– Тебе нужна Кембридж-стрит?

– Да.

– Ты как раз и стоишь на ней, приятель.

Следуя его инструкциям, я прошагал пятьдесят ярдов и повернул налево. Коттеджи шли только по одной стороне улицы, другая ее сторона представляла собой заросшую травой лужайку. Вокруг лужайки тянулся невысокий кирпичный забор затейливого рисунка с красным карнизом, увиденный мной снизу. Изображая случайного прохожего, я подошел к нему. Внизу от станции разбегались в разные стороны железнодорожные пути, теряясь во тьме.

Я повернулся и оглядел коттеджи. У каждого из них было по два окна на втором этаже, по плоской крыше, по трубе и по телевизионной антенне. Но у каждого был свой пастельный оттенок. Входная дверь слева, эркер справа. Проведя взглядом по их ряду, я увидел либо свет в эркере, либо свет в спальне, либо мерцание телеэкрана, либо слабый свет возле кнопки дверного звонка. За задернутыми шторами чувствовалась жизнь. Только один дом стоял в темноте, и это был 9А. Жильцы сбежали? Или любовники, сняв часы, заснули в объятиях друг друга?

С видом человека, для которого нет секретов, я заложил за спину руки, как колониальный чиновник, инспектирующий подчиненных. Я архитектор, я инспектор, я возможный покупатель. Я добропорядочный англичанин, занятый виноделием. Кромка проезжей части сплошь уставлена машинами. Я иду по ее середине. Голубой «тойоты» здесь нет. Никакой «тойоты» нет. Я иду медленно, делая вид, что читаю номера домов. Купить вот этот? Или этот? Или все их сразу?

По моей груди бежит пот. Я не готов, думаю я. Я не способен, не тренирован, не вооружен, не храбр. Я слишком много времени провел за письменным столом. А после волны страха приходит волна вины. Он здесь. Мертвый. Он упал на спину и умер там. Убийца пришел за трупом. Виновный пришел за своим лекарством. Но потом я вспомнил, что Ларри снова жив, и жив с того самого момента, когда Джейми Прингл припомнил последнюю куропатку охотничьего сезона, и моя вина уползла в свою нору.

Я добрался до конца ряда. 9А – угловой, каким и должен быть надежный дом. Задернутые занавески на втором этаже оранжевого цвета и повешены неровно. Дешевая ткань блестит под бледным светом уличного фонаря. Внутри света нет.

Продолжая свою разведку, я свернул на боковую улицу. Еще одно темное окно второго этажа. Оштукатуренная стена. Боковая дверь. Перейдя на противоположную сторону улицы, я хозяйским взглядом посмотрел вдоль улицы налево и направо от себя. Из-за тюлевой занавески за мной следил

желтый кот. Среди дюжины припаркованных по обе стороны улицы у тротуара машин одна накрыта пластиковым чехлом.

Еще один осторожный взгляд на двери, тротуар и машины. Тени просматриваются не полностью, но я не вижу ни одной человеческой фигуры. Носком своего правого ботинка я приподнял край пластикового чехла и увидел знакомый номер голубой «тойоты» Ларри. Трюк, которому нас учили еще на курсах разведчиков: если уезжаешь и беспокоишься о машине, накрой ее чехлом.

У боковой двери не было ни ручки, ни замочной скважины. Проходя мимо нее на обратном пути, я украдкой толкнул ее, но она оказалась запертой изнутри. На ее средней панели был мазок мелом в форме буквы «L». Нижняя черта буквы хвостиком загибалась вниз. Я потрогал мазок. Это был не мел, а восковой карандаш, и вода была ему не страшна. Я снова свернул на Кембридж-стрит, уверенно подошел ко входной двери и нажал кнопку звонка. Ни звука. Электричество отключено. Манера Ларри относиться к счетам. Я неуверенно постучал. Как в Ханибруке в сочельник, подумал я, когда эхо отдалось в доме, только теперь моя очередь тревожить счастливых любовников в постели. Я действовал решительно, тайных помыслов у меня не было. Но меня серьезно занимала метка на двери.

Я приоткрыл крышку почтового ящика и захлопнул ее. Я постучал в стекло эркера и крикнул: «Эй, там, это я!» – больше для видимости, потому что по тротуару кто-то проходил мимо. Я подергал поднимающуюся ставню, но она была заперта. У меня на руках были перчатки, и они напоминали мне о Придди. Я заглянул в стекло эркера, слабо освещенного уличным фонарем. Прихожей не было, входная дверь вела прямо в гостиную. На письменном столе я различил неясные контуры портативной пишущей машинки, а левее на полу – кипу почты, в основном счетов и печатных материалов; Ларри мог неделями перешагивать через них, не замечая. Я оглядел все еще раз и увидел то, что не разглядел с первого взгляда, – рояльный стульчик Эммы перед машинкой. И, наконец, решив, что я уже привлек к себе внимание соседей, сделал то, что в таких случаях делают законопослушные граждане: достал свою записную книжку, сделал в ней запись, вырвал листок и бросил в почтовый ящик. И пошел прочь по улице, давая их любопытству успокоиться.

Я быстрым шагом обошел квартал, держась середины улицы, потому что не люблю теней, и вышел на ту же улицу с противоположной стороны. Я снова прошел мимо боковой двери, глядя на этот раз не на метку, а туда, куда показывал хвостик нижней черты L. L означает «Ларри». «Ларри» на тайном языке Ларри, которым они с Чечеевым пользовались, когда обменивались секретными материалами и условными знаками. В парках. В туалетах пабов. На автостоянках. В Кью-Гарденс. Написанное Ларри L значило: «Послание оставлено в тайнике». Переделанное в С – подпись Чечеева: «Я забрал содержимое тайника». Заложено и вынуто, и не один раз, а больше пятидесяти раз за четыре года их сотрудничества: микропленку тебе, деньги и указания мне, деньги и указания тебе, микропленку мне.

Хвостик указывал вниз и был нарисован с нажимом. Многозначительный хвостик. Он показывал по диагонали на мой правый ботинок, а у носка моего правого ботинка был порог двери. Из-под порога высывался сплюснутый окурок, и нужно было быть очень любознательным человеком, чтобы задаться вопросом, как окурок мог оказаться так сплюснут и еще к тому же засунут под порог, если только кто-нибудь специально не раздавил его и не

затолкал в щель. Тот же любознательный человек мог также обратить внимание на то, что свет уличного фонаря освещал только левую сторону порога, так что, если вы не поняли значения загнутого вниз хвостика, на окурки вы, скорее всего, внимания не обратили бы.

У меня, разумеется, не было ссоры Чечеева; я не мог выполнить молниеносный нырок верхней частью туловища, заставивший нашего главного соглядатая Джека Эндовера вспомнить о валлийских саперах. Я поступил так, как престарелые шпионы поступают во всем мире: я нагнулся и сделал вид, что зашнуровываю ботинок, а сам одной рукой выковырял окурки вместе с привязанной к нему бечевкой, потянул за нее и был вознагражден за свои труды плоским латунным ключом от английского замка, привязанным к другому ее концу. Потом, спрятав ключ в своей ладони, я выпрямился и уверенно направился за угол, к парадному выходу.

– Они в отпуске, милый, – раздался за моей спиной низкий голос.

Я быстро повернулся, не забыв про свою дежурную улыбку.

В дверях соседнего дома стояла освещенная светом из своей открытой двери крупная светловолосая женщина в чем-то вроде белой ночной рубашки и со стаканом чего-то крепкого в руке.

– Я знаю, – ответил я.

– Меня зовут Фибс. Вообще-то я Феба. Вы бывали здесь прежде, да?

– Правильно. Я забыл ключ, и мне пришлось вернуться и взять его. В следующий раз я забуду, как меня зовут. А отпуск им был нужен, да?

– Ему был нужен, – туманно сказала она.

Мои мозги, наверное, работали на бешеной скорости, потому что я расшифровал сказанное ею мгновенно.

– Ну, разумеется, – подхватил я. – Бедняга. Я имел в виду, как он выглядел: лучше, пошел на поправку? Или все еще всех цветов радуги?

Однако осторожность удержала ее от дальнейших признаний.

– Так что вам нужно? – мрачно спросила она.

– Боюсь, что это не мне, а им нужно. Машинку Салли. Еще одежды. Практически все, что я смогу унести.

– А вы, случайно, не судебный исполнитель?

– Боже праведный, конечно, нет! – Я рассмеялся и сделал в ее сторону пару шагов, чтобы она могла лучше разглядеть меня и убедиться, что я порядочный человек.

– Я его брат, Ричард, Дик. Брат добропорядочный. Они мне позвонили, не смогу ли я забрать некоторые их вещи и отвезти в Лондон. Этот кошмарный случай, он сказал, что упал с лестницы. И ей не повезло, был один парень, а стал совсем другой. Им удалось уехать вместе? Я так понимаю, что спешка была ужасная.

– Никакого случая тут не было, милый, все подстроено. – Она хихикнула, довольная своей догадливостью. Через силу хихикнул и я. – Сначала уехал он, потом она, а почему – я не знаю.

Не сводя с меня глаз, она отпила еще глоток из своего стакана.

– Понимаете, я не хотела бы, чтобы вы входили. По крайней мере, пока они во Франции. Это мне не по душе.

Шагнув назад в свой дом, она с треском захлопнула входную дверь. Минуту позже с негромким треском учебной гранаты на втором этаже поднялась ставня, и обросший шерстью мужчина с окладистой бородой и в жилетке высунулся наружу.

– Эй, ты! Подойди сюда. Ты брат Терри, что ли?

– Да.

– Дик, да?
– Правильно, Дик.
– Ты ведь о нем все знаешь?
– Да порядочно.
– Тогда скажи, Дик, какая его любимая футбольная команда?
– Московское «Динамо», – ответил я, не дав себе даже времени подумать, потому что футбол был одним из многочисленных бзиков Ларри. – А Лев Яшин – величайший футболист всех времен. А величайший гол был забит Понедельником в матче между Россией и Югославией в 1960 году.
– Черт побери.

Он исчез в окне, и последовала пауза, во время которой он, по-видимому, консультировался с Фебой. Потом он, улыбаясь, появился снова.

– А я болею за «Арсенал». Но он не возражал. Спрашиваешь, где он заработал свой фингал? Я видел разные фонари, но это был тот еще. Что случилось, спрашиваю я его, она слишком рано сдвинула ножки? Ударился головой о дверь, отвечает. А потом приходит Салли и объявляет, что это была автомобильная авария. Кому теперь верить? Тебе подсобить?

– Позже, может быть. Я тебе крикну, если не возражаешь.
– Меня зовут Уилф. Он псих ненормальный, но он мне нравится.
Окно с грохотом захлопнулось.

Я закрыл за собой входную дверь и обошел кипу конвертов на полу. В тщетной надежде я щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Какой дурак, не захватил с собой ручного фонаря. Я стоял в полумраке, не осмеливаясь дышать. Тишина страшила меня. Бегство из Бристоля. Спешу, или тебя убьют. Снова пот, на этот раз холодный. Я выдохнул, потом медленно вобрал в себя воздух и услышал запах дома-старика, впадающего в старческое слабоумие. Я осмотрелся вокруг, стараясь не останавливать взгляд на освещенных местах. Единственным источником света был уличный фонарь. Но его свет падал поперек эркера, а не внутрь комнаты. Чтобы увидеть то, что было внутри нее, мои глаза должны были прихватить немного света из эркера и торопливо перенести его вглубь, как носят воду в горсти.

Ее рояльный стульчик, невредим. Я провел по нему рукой: трубки из легкого сплава, как в рычажной настольной лампе, которые выдвигаются и потом поворачиваются, прижимая опору с подушечкой к ее пояснице. Ее портативная электрическая машинка. Она стояла на столе, но сам стол я едва мог разглядеть из-за кучи бумаг на нем, а бумаги – из-за покрывшей их пыли. Потом я увидел второй стол, только это был не стол, а чайная тележка с присобаченными к ней цифровым телефоном и автоответчиком и типичной для Петтифера путаницей электрических и антенных проводов, перехваченных клейкой лентой. Сигнальная лампочка автоответчика, однако, не горела, потому что в розетке не было напряжения.

Комната стала меньше, а ее стены приблизились ко мне. Мои глаза стали видеть больше. Теперь провод пишущей машинки я видел до самой стены. Я начал различать признаки поспешного отъезда: выдвинутые и наполовину опустошенные ящики письменного стола, разбросанные по полу бумаги, решетка камина, забитая обуглившейся бумагой, лежащая на боку мусорная корзинка. Еще из ларрианы: прислоненные к стене стопки экзотических журналов с его бумажными закладками; старинный плакат с изображением Иосифа Сталина за самым миролюбивым занятием – срезанием роз в саду. Над его головой Ларри пририсовал корону, а поперек груди написал: «Мы работаем круглосуточно». Прилепленные к висящей над камином гравюре с

изображением Нотр-Дама листки записок. Рукой в перчатке я отодрал пару из них и отнес в эркер к свету, но прочесть все равно не смог. Я разобрал только, что одна из них была написана Эммой, а вторая Ларри. Сняв остальные в том порядке, как они были наклеены на гравюру, я наклеил их липким слоем одна на другую, прежде чем бросить их пачкой в свой карман.

Я вернулся ко входной двери и взял горсть конвертов из лежащей на полу кучи. Мисс Салли Андерсон, с трудом разобрал я, «Свободный Прометей лимитед», Кембридж-стрит, 9А. Штемпель не Макклсфилда, а Цюриха. Терри Олтмен, эсквайр, прочел я, «Свободный Прометей лимитед». Терри Олтмен – один из рабочих псевдонимов Ларри, а Прометей за свои штучки был прикован к скале высоко в Кавказских горах, пока Ларри с Эммой не освободили его. Памфлеты, обличительные брошюры советского полиграфического качества. Информационные выпуски аналитического центра Би-би-си в Кавершеме с заголовком «Южная Россия», адресованные управляющему «Свободного Прометея лимитед». Салли Андерсон, «Свободный Прометей лимитед». Банковские извещения. Папка, набитая письмами, адресованными Эмме и написанными рукой Ларри на чем попало – от картонного кружка под пивную кружку и бумажной салфетки до титульного листа радикального сочинения какого-то анархиста из Айлингтона. Начинаются с «дорогая», «дорогая Эмм», а дальше – «о, черт, я забыл сказать тебе». Статья с заголовком «Как манипулируют прессой» и подзаголовком «Западная пресса играет в московском спектакле». Спокойно, сказал я себе, бросая все обратно в кучу. Метод, Крэнмер, метод. Ты оперативник, ты участник бесчисленных обысков Конторы, в некоторых из которых твоим подручным был Ларри. Не спешить. В любой момент – только одно дело. В бело-красной обложке брошюра по-русски с кричащими буквами заголовка: «Геноцид на Кавказе», продукция советского агитпропа. Ее можно было бы датировать 1950 годом, если бы на обложке не стоял февраль 1993-го и если бы она не была посвящена «трагическим событиям октября прошлого года». Я наугад открыл ее и увидел снимки заколотых ножами и вздувшихся детских трупов. «Кавказское обозрение II», Мюнхен, 1956, стр. 134–156. «Кавказское обозрение V», Мюнхен, 1956, стр. 41–46. Подчеркнутые куски. Сердитые заметки на полях, не поддающиеся прочтению при тусклом свете.

В гостиной внутренняя дверь в ту сторону дома, которая смотрит на боковую улицу. Я повернул ручку. Дверь не поддалась. Я толкнул сильнее, и она открылась, царапая линолеум. Пахло протухшим маслом, пылью и хозяйственным мылом. Я был в буфетной. Через окошко над раковиной на кафель падало с улицы больше света. На сушке для посуды – батарея тарелок. Они сохли так долго, что их пора было снова мыть. На полках свидетельства недемократических гастрономических пристрастий Ларри: сардины с перцем из гастронома на Джермен-стрит, оксфордский мармелад и чай «Фортнум». В холодильнике прокисший йогурт и простокваша. Рядом с холодильником деревянная дверь со шпингалетами сверху и внизу и замком с цепочкой и собачкой. Эту дверь я изучал с улицы. Вернувшись в гостиную, я бросил взгляд на часы. Вечность длилась три минуты.

На хлипкой лестнице без ковра была крошечная тьма. От нижнего этажа я насчитал четырнадцать ступенек. Добравшись до площадки, я пошарил руками и нащупал сначала дверь, а потом и ручку. Я толкнул дверь и вошел. Это была уборная. Я шагнул назад, закрыл дверь и, прижавшись к ней спиной, снова стал шарить руками по стене, пока не нащупал еще одну дверь. Открыв ее, я оказался в залитой светом спальне Эммы: мертвенный

свет уличного фонаря бил прямо в окно, без помехи проникая через жиденькие занавески. Я отдал ей все, думал я, разглядывая голые доски пола и растрескавшийся умывальник, искусственные цветы в глиняном кувшине, разболтанный ночник и отстающие от стен коричневые обои, но она ничего не захотела. Вот от всего этого я ее спас, но она снова выбрала это.

На полу застлана постель – так, как она стелила ее, когда мы собирались заняться любовью: боком к камину, много подушек, белое одеяло. Поперек одеяла простая ночная рубашка из дешевого магазина, которую она привезла с собой, когда перебралась ко мне, ее длинные рукава раскинута, словно для объятия. Я вижу ее лежащей на животе нагишом с подбородком, положенным на руки, и головой, повернутой в мою сторону: через плечо она смотрит, как я вхожу в комнату. Отблески огня в камине играют на ее боках и на ее распушенных черных волосах, языками черного пламени раскиданных на плечах.

Две книжки, одна на его стороне, другая на ее. С его стороны том в красной обложке в стиле двадцатых годов некоего У.И.Д.Аллена с мало что говорящим названием «Белед-эс-Сибя». Я открыл его наугад и наткнулся на заметку памяти поэта Обри Герберта с подчеркнутыми словами: «Ему не хватало хамства гения». Я смутно припомнил, что Герберт сражался за спасение Албании от самозванных освободителей Балкан и что он был одним из кумиров Ларри. Со стороны Эммы валялась книга Фицроя Маклина «На Кавказ» с подзаголовком «На самый край земли».

Черно-белый плакат. На этот раз не Сталин, а кто-то совсем мне не известный. Бородатый широкоскулый черноглазый современный пророк в традиционной, по моим представлениям, одежде кавказского горца: меховой папахе и кожаном жилете с петлями для всяческой амуниции. Подойдя ближе, я разобрал написанное кириллицей поперек нижнего угла имя «Башир Хаджи» и с трудом прочел слова: «Моему другу Мише, великому воину». Я подумал, что для гнездышка влюбленных это довольно странный сувенир. Освободив плакат от кнопок, я положил его на постель рядом с ночной рубашкой Эммы. Одежда, подумал я, мне нужно больше одежды. Кто уезжает в спешке, редко забирает всю свою одежду. Ниша в стене рядом с дымоходом занавешена тряпкой, напомнившей мне штору дяди Боба, закрывающую альков в моем убежище священника. Я отодвинул ее в сторону и от неожиданности отступил назад.

Я в Придди, я борюсь с ним. Я схватил его за воротник его зеленого австрийского дождевика, который он называет своим молескином. Это ниспадающее складками, длиннополое одеяние серо-зеленого цвета, шелковистое на ощупь. Его мягкость была мне отвратительна. Притягивая его к себе, я слышал треск рвущейся ткани и смеялся. Я видел, как во время нашей драки он рвался клочьями. Когда я тащил вымазанного грязью Ларри ногами вперед к пруду, я в лунном свете видел, как он рвется, волочась за Ларри, подобно рубищу нищего.

И вот я вижу его снова вычищенным и ничуть не хуже прежнего, висящим на проволочных плечиках и еще с ярлыком химчистки на подкладке. Я проверил пуговицы: все целы. Разве я не отрывал пуговиц? Не помню. А разорванное место, где оно? Я отчетливо помню треск рвущейся ткани. Я не могу найти ни одного ни порванного, ни заштопанного места, даже на подкладке. Даже на швах, даже на петлях, даже на воротнике, за который я схватил его.

Я осмотрел пояс. Ларри завязывал его узлом. У него прекрасная пряжка, но Ларри она не нравилась, и он завязывал пояс узлом, на манер наемного танцора. Вот почему мне было так удобно ухватиться своей рукой в перчатке за этот пояс, когда я волочил его по земле и его голова прыгала по кочкам, а улыбка то исчезала, то появлялась в лунном свете.

Это совсем другой плащ, решил я. А потом подумал: а разве у Ларри когда-нибудь был второй экземпляр чего-нибудь, кроме женщин?

В кухне под раковиной я нашел сверток черных пластиковых мешков для мусора. Отделив один, я побросал в него письма, не отделяя напечатанных от личных. При этом мне снова попались на глаза заколотые дети, и я вспомнил разговор с Дианой и идеальную ноту. Что идеального, спрашивал я себя, в криках умирающих детей? Опустившись на колени перед камином, я сгреб с решетки обгоревшую бумагу и с великой осторожностью уложил ее во второй пластиковый мешок. Третий и четвертый мешки я заполнил бумагами и папками с письменного стола. Туда же я сунул дневник с эмблемой компании «Эссо», заполненную банковскую книжку, которую кто-то тщетно пытался сжечь, и адресную книжку с откидывающейся бакелитовой крышкой в стиле сороковых годов, которая в моем представлении не ассоциировалась ни с Ларри, ни с Эммой и про которую я уже решил, что она попала к ним случайно, как вдруг понял, что она русского происхождения. Я извлек из пишущей машинки ленту, выдернул ее вилку из розетки и поставил машинку на кухонном столе по дороге к боковой двери. Этого требовала легенда: я сказал Фебе, что собираюсь забрать машинку Салли. Ленту я сунул в третий мешок.

Я вернулся в гостиную и собрался было отделить автоответчик, но потом передумал и отнес его вместе с телефонным аппаратом к свету. При свете уличного фонаря я нашел на корпусе кнопку повторного набора, снял трубку и нажал кнопку. В трубке раздались гудки вызова. Ответил мягкий мужской голос, голос иностранца, хорошо говорящего по-английски, как мистер Дасс: «Спасибо за звонок в офис „Международной компании прочных ковров“. Если у вас есть сообщение или вы хотите сделать заказ, говорите, пожалуйста, после короткого гудка...». Я дважды прослушал эту запись, отсоединил автоответчик и положил его на кухонном столе рядом с пишущей машинкой. На глаза мне попались ключи от машины на гвозде. «Тойота». Я сунул их в карман, радуясь тому, что мне не придется красться с мешками по задворкам поздней субботней ночью. Бегом я поднялся на второй этаж. Причин для спешки у меня не было, но, возможно, подняться не спеша у меня просто не хватило бы мужества.

Я стоял у окна спальни. Кембридж-стрит была пустыня. Дожидаясь, когда мои мысли прояснятся, я смотрел на лужайку и на путаницу железнодорожных путей за ней. Небо еще больше потемнело. Бристоль укладывался спать. Именно здесь Эмма стояла, дожидаясь его, подумал я. Нагишом, как она ждала меня в случаях, когда решала, что мы займемся любовью. Я подошел к постели. Подушки сдвинуты в одну сторону: к одной голове. Что она думала, лежа тут одна? *Сначала уехал он, потом она*, сказала Феба. Вот здесь она лежала, совсем одна, перед своим отъездом. Я нагнулся, чтобы забрать портрет горца с автографом. Воображаемым или настоящим, запахом ее тела дохнуло на меня от постельного белья. Я сложил плакат до размера, уменьшавшегося в моем кармане. Зеленый дождевик Ларри я снял с вешалки и перебросил через руку. Я медленно спустился по лестнице и прошел на кухню. Я отодвинул шпингалеты боковой двери,

открыл замок и выдвинул задвижку, чтобы дверь не захлопнулась. Все медленно. Мне было очень важно не спешить.

Оставив дверь распахнутой настежь, я спустился на тротуар к машине, откинул чехол и на заднем сиденье увидел грубые башмаки Ларри. Я решил не обращать на них внимания. Башмаки Ларри, и Ларри жив. И что особенного в этих ботинках, сшитых по мерке в фирме «Лобб оф Сент-Джеймс» и со скрежетом зубовным оплаченных Верхним Этажом, и все потому, что Ларри решил испытать нашу любовь к нему?

На них я заметил высохшую грязь, какая бывает и на любых других ботинках: возьми скребок, и отчистится. Ненависть снова вспыхнула во мне. Я хотел заново повторить ту ночь у пруда в Придди и на этот раз уж точно добить его.

Я вернулся в кухню, забрал пишущую машинку и автоответчик и снова спустился к машине, терзая себя вопросом, заведется ли она. В уме я прикидывал, сколько понадобится времени, чтобы выкатить ее руками на склон и, если она не заведется под гору, перегрузить мой багаж в такси.

Мое мужество было почти на исходе, когда я еще раз вернулся в дом за остатками своего багажа: дождевиком Ларри, который был нужен мне как бесспорное доказательство того, что он жив, и моими четырьмя мешками, которые я за горлышко перетащил и уложил в багажник рядом с пишущей машинкой, кроме мешка с обгоревшими бумагами; его я бережно водрузил на сиденье. Теперь мне больше всего на свете хотелось сесть за руль и поскорее увезти свои сокровища в безопасное место. Я беспокоился, однако, о Фебе и Уилфе. Во время моего обыска они больше всего занимали мои мысли. Им я был благодарен за то, что они признали меня, но я хотел быть уверенным, что сделал все, чтобы сохранить их расположение, особенно расположение Фебы, которая засомневалась во мне. Я не хотел, чтобы они звонили в полицию. Я не хотел, чтобы в душе у них остались сомнения.

Поэтому я вернулся к дому, изнутри задвинул шпингалеты боковой двери, запер дверь на замок и еще раз прошел через гостиную мимо рояльного стульчика Эммы. Выйдя из парадной двери, я запер ее на два оборота, как она была заперта раньше. Потом я подошел к соседнему участку и крикнул в сторону окна на втором этаже:

– Спасибо, Уилф! Я закончил. Все в порядке.

Ответа не последовало. Не думаю, что в моей жизни были более длинные двадцать ярдов, чем те, которые отделяли входную дверь дома 9А от голубой «тойоты», и я был как раз на половине этого пути, когда понял, что за мной следят. Сначала я подумал, что за моей спиной Ларри или Манслоу, потому что мой преследователь держался так тихо, что моя уверенность в том, что за мной следят, основывалась не на слухе, а на других моих профессиональных чувствах – покалывании в спине, отражении от воздуха передо мной, – которые возникают всякий раз, когда кто-то у тебя за спиной. Чувство присутствия постороннего бывает и тогда, когда ты в стекле витрины не видишь никого сзади.

Я наклонился, чтобы открыть дверь машины. При этом я оглядел округу и никого рядом не увидел. Я резко выпрямился и повернулся, готовый нанести удар локтем, но лицом к лицу со мной был маленький негритенок из «Бара Океанской Рыбы», который был слишком серьезен, чтобы говорить со мной.

– Почему ты не в постели? – спросил я его. Он помотал головой.

– Ты не устал?

Он снова помотал головой. Не устал или нет постели.

Он продолжал смотреть на меня, пока я садился за руль и включал зажигание. Мотор завелся с первого раза. Мальчик протянул ко мне руку, и, прежде чем я смог остановить себя, я извлек из пропитанных потом глубин своей куртки бумажник Колина Бэйрстоу и положил в нее десятифунтовую бумажку. Затем я тронулся, кляня себя на чем свет стоит, потому что в моих ушах звучал ласковый голос инспектора Брайанта: «Приятный нестарый белый джентльмен в голубой „тойоте“ думал, что он купил тебя, сынок, когда протягивал тебе десятку через окно».

С вершины на бристольской стороне Мендипских холмов открывается один из самых широких и самых красивых видов Англии с круто спадающими к небольшому полю и чистеньким деревенкам склонами и видом на город между двумя величественными холмами. Это было одно из тех мест, куда я возил Эмму солнечными днями, когда нам нравилось сесть в машину и прокатиться куда-нибудь. Весной и летом здесь довольно много влюбленных на машинах. В окрестных лугах отцы играют в футбол с детьми. Но в октябре между часом ночи и семью утра вы вполне можете быть уверены, что вам не помешают.

Я сидел с ладонями на руле «тойоты» и с подбородком на ладонях и смотрел, как шествует ночь. Надо мной висели звезды и луна. Запах росы и костров наполнял машину.

При свете лампочки салона машины я читал обмен любовными записками на желтых квадратах бумаги, которые я наклеил на приборную доску в том порядке, как я снимал их с картины.

Эмма: АМ ждет сегодня твоего звонка в 5.30.

Кто такой АМ, слышу я голос Брайанта. АМ, который на каждой странице дневника Петтифера.

Ларри: Ты меня любишь?

Эмма: Звонил ЧЧ. Откуда не сказал. Ковров все нет.

Ларри: Где мой чертов боврил, женщина?

(Ларри ненавидел кофе, но был наркоманом. Боврилом он называл свой метадон.)

Ларри: Ты для меня вовсе НЕ навязчивая идея. Просто я не могу выкинуть тебя из своей дурацкой башки. Почему бы тебе не переспать со мной?

Эмма: Звонил АМ. Ковры поступили. Все, как обещано. Потому что я в эти игры не играю. Подожди до четверга.

Ларри: Не могу.

Часы бегут, как те бессмысленно потраченные часы, когда я ждал прихода и ухода шпионов – в машинах, на уличных перекрестках, на вокзалах и в заплыванных кафе. У меня две кровати в двух гостиницах, но ни в одной из них я не могу выспаться. У меня удобный, с кожаными сиденьями «санбим» с новеньким обогревателем, но я должен мерзнуть в разваливающейся «тойоте». Накинув на плечи молескин Ларри, я несколько раз тщетно пытался заснуть. В семь я мерил шагами гравий, проклиная туман. Я никуда не могу двинуться! Я никогда не спущусь с этого проклятого холма! В половине девятого, при идеальной видимости, я подъехал к воротам крытой автостоянки при новом торговом центре только для того, чтобы узнать, что по воскресеньям она открывается в девять. Я отъехал к кладбищу и полчаса бездумно бродил среди надгробий, потом вернулся в торговый центр и приступил к следующему этапу моей шпионской одиссеи. Я поставил машину на стоянку, для вида купил в центре крем для бритья и лезвия, поймал

такси, которое довезло меня до Клифтона, забрал в «Идене» свой «санбим» и вернулся на нем в торговый центр. «Санбим» я припарковал как можно ближе к «тойоте», после чего отцепил вертлявую тележку от длинной цепочки ее подружек и подкатил к «тойоте». Я нагрузил в нее четыре пластиковых мешка, башмаки, пишущую машинку, автоответчик и зеленый дождевик и отвез все это к «санбиму».

Все это я проделал, не потрудившись даже оглядеться по сторонам, потому что, как говорили у нас в Конторе, когда Бог придумал супермаркеты, нам, шпионам, он подарил то, о чем до этого мы могли только мечтать: место, где любой дурак мог переложить из одной машины в другую все, что угодно, без того чтобы любой другой дурак это заметил.

Потом, поскольку у меня не было желания привлекать чье-либо внимание к мисс Салли Андерсон с Кембридж-стрит, или к «Свободному Прометею лимитед», или к эсквайру Терри Олтмену, я отогнал «тойоту» на грязную промышленную окраину за городской чертой, накрыл ее снова чехлом и пожелал ей провалиться в тартарары.

Потом я вернулся на стоянку супермаркета, на «санбиме» добрался до «Идена», где поставил его на стоянку и оплатил счет кредитной карточкой Крэнмера. Затем снова на такси я съездил в мотель «Старкрест», где оплатил второй счет кредитной карточкой Бэйрстоу.

Затем я возвратился в «Иден» за своей машиной и на ней – в Ханибрук, «заснуть и видеть сны».

Или не сны, как сказал бы Ларри.

На обочине дороги напротив ворот моей усадьбы два велосипедиста не знали, чем себя занять. В оставленной в холле исполненной горечи записке миссис Бенбоу сожалела, что «у мужа плохо с сердцем» и что «из-за этих допросов в полиции» она не сможет помогать мне в будущем. Остальная почта была не более утешительна: две повестки бристольского отделения полиции с требованием уплаты штрафа за нарушения правил парковки, которых я не совершал, и уведомление налогового инспектора о начале полного расследования моих счетов, доходов, расходов и долговых обязательств за последние два года на основании полученной им обо мне информации. И предварительный счет от моего мусорщика мистера Роуза, известного всей округе тем, что он никогда никому не посылал счетов. Единственным исключением был, видимо, мой друг, акцизный инспектор:

Дорогой Тим,

в пятницу на следующей неделе, примерно в полдень, я собираюсь нанести тебе один из моих неожиданных визитов. Есть ли шансы и перекусить у тебя?

Всего лучшего,

Дэвид

Дэвид Беринджер, бывший сотрудник Конторы. После смены профессии стал только счастливее.

И, наконец, последний конверт. Коричневый. Скверного качества. Адрес напечатан на старой портативной машинке. Штемпель Хельсинки. Клапан конверта плотно заклеен. Скорее, переклеен, я думаю. Внутри листок бумаги в полоску. Чернильная авторучка. Почерк мужской. Помарки. Сверху помечено: Москва – и дата шестидневной давности.

Тимоти, дорогой друг,

на меня спустили всех собак. Я под домашним арестом и опозорен ни за что. Если у тебя есть предлог приехать в Москву или если ты имеешь связь

со своими бывшими работодателями, пожалуйста, помоги мне, вразуми моих гонителей. Ты сможешь связаться со мной через Сергея, который взялся отправить это письмо. Позвони ему по известному тебе номеру, говори только по-английски и упомяни только имя твоего старого друга и делового партнера.

Питер

Я продолжал смотреть на письмо. Питер – это Володя Зорин. Питеру я звонил, чтобы договориться о встрече на Шепард-маркет. С Питером завязывались дружеские связи, от которых при огласке можно было откреститься. Питер низвергнут в ад, он под домашним арестом и в любой день на рассвете может быть застрелен, как многие до него.

Было воскресенье, а по воскресеньям, даже без приготовления обеда для Ларри, у меня много дел. В одиннадцать я в своем выходном костюме стою на коленях на вышитой подушечке дяди Боба и беру ноты евхаристического псалма, который ненавижу всей душой. Мистер Гаппи собирает пожертвования; бедняга не может поднять на меня глаза, протягивая ко мне руку с кружкой. После церкви очередь сестер Бетел в их Дауэр-хаусе угощать нас скверным шерри и последними сплетнями о строительстве местных дорог. Сегодня, однако, местные дороги не интересовали их, и разговор был беспредметный. Я обратил внимание, что они украдкой бросали на меня взгляды всякий раз, когда им казалось, что я этого не замечу. И к тому времени, когда я с тачкой Теда Ланксона, нагруженной моими трофеями, под покровом темноты добрался до своего убежища, мне уже казалось, что я не хозяин этого имения, а забравшийся в него вор.

Я стоял перед куском использовавшейся когда-то для затемнения старой шторы, которой я завесил альков. Даже сейчас частная жизнь Эммы так же дорога мне, как она дорога ей самой. Шпионить за ней было против убеждений, которые я никогда не разделял до встречи с ней. Если звонили ей, а трубку снимал я, то я передавал ей ее без комментариев и без расспросов. Письма на ее имя лежали нетронутыми на столике в прихожей до тех пор, пока она не решала обратить на них внимание. Я не интересовался ни почтовыми штемпелями на них, ни тем, мужским или женским почерком написан адрес, ни обратным адресом. Если искушение становилось нестерпимым – когда я узнавал почерк Ларри или другой известный мне мужской почерк, – я отправлялся вверх по лестнице, хлопая конвертом себя по боку и радостно выкрикивая: «Письмо Эмме! Письмо Эмме! Эмма, тебе письмо!» Наверху я с облегчением просовывал его под дверь ее студии, говоря ему: прощай.

До настоящего момента.

До момента, когда я с чувством, противоположным чувству триумфа, сорвал занавеску и наклонился к восьми коробкам из-под винных бутылок, в которые я не глядя побросал содержимое ее бюро в то воскресенье, когда она покинула меня, и к папке без заголовка, в которую Мерримен с удовольствием скопировал выдержки из моего личного дела и которая теперь лежала поперек них.

Я быстро открыл ее так, как я в своем воображении проглатываю яд. Пять страниц формата А4 без заголовка, выписанные из моего досье его Шинами. Не дав себе даже времени, чтобы сесть, я прочел их одним залпом, а потом стал перечитывать медленно, ожидая откровений, которые заставили бы меня схватиться за голову и воскликнуть: «Ах, Крэнмер, Крэнмер, как ты мог быть таким слепцом?» Но откровений не последовало. Вместо ответа из

конца задачника на загадку Эммы я получил только прозаическое подтверждение того, о чем я уже догадывался или уже знал: чередка любовников, повторяющиеся увлечения и разочарования, поиск идеала в испорченном и лживом мире. Я видел ее готовность быть беспринципной в отстаивании принципов, видел легкость, с которой она отказывалась от ответственности, когда та приходила в противоречие с тем, что она считала целью своей жизни. Ее детство, хотя и не настолько отвратительное, как она иногда заставляла меня думать, было именно настолько несчастным. Воспитанная матерью в убеждении, что она незаконная дочь великого музыканта, она впоследствии поехала к нему домой на Сардинию и обнаружила, что он – простой каменщик. Своими музыкальными способностями, если таковые и были, она целиком была обязана матери. Эмма ненавидела ее, и я тоже начинал ее ненавидеть, читая досье.

Осторожно отложив папку в сторону, я на минуту подумал о том, чего Мерримен хотел добиться, так настойчиво навязывая ее мне. Все, что она сделала, это воскресила мою боль за нее и мою решимость спасти ее от безумных затей, в которые Ларри вовлек ее.

Я схватил ближайшую коробку, опорожнил ее на пол, потом следующую, и так до тех пор, пока все восемь не были пусты. Четыре мусорных мешка с Кембридж-стрит с горлышками, перетянутыми бечевкой, смотрели на меня, как четыре инквизитора в черных балахонах. Я сорвал с них бечевку и вытряхнул их содержимое тоже на пол. Оставался только мешок с обгорелыми бумагами. Я осторожно вынул их и пальцами бережно разложил не сгоревшие куски по отдельным кучкам. Опустившись на ладони и на колени перед осколками загадки исчезновения Эммы, я приступил к задаче проникновения в тайный мир моей возлюбленной и ее любовника.

Глава 10

Я читал так, как никогда не читал прежде. То, что пропускали мои глаза, находили мои руки и достраивала моя голова. Я выравнивал листки бумаги, соединял вместе беззаботно разорванные другие, складывал их стопками и одновременно укладывал их в мою память. За часы я проделал то, на что в другое время у меня ушли бы недели, потому что, если я только не ошибался, в моем распоряжении были лишь часы. Если в моем безумии есть слепая логика, то во тьме этого сумасшествия должен наступить рассвет. Вот оно, объяснение! Вот наконец ответы на как, почему, когда и где, если я только сумею расшифровать их! Здесь, в этих бумагах, а не в уголке воспаленного сознания Крэнмера таятся ответы на вопросы, мучившие меня днем и ночью неделю за неделей: подставлен ли я, стал ли жертвой дьявольской интриги или я просто влюбленный дурак, жертва собственных климактерических фантазий?

Я еще не мог сообразить, насколько впереди или позади меня Ларри и Эмма. Я то знал, то знал наполовину, то снова совсем ничего не знал. Мне то казалось, что я могу предсказать их действия, но я не мог понять их цели, то для меня становилась ясной цель, но я не мог представить себе их мотивы – слишком уж безумны, далеки от моего понимания, слишком враждебны и бессмысленны они были. Или вдруг я осознавал, что сижу на своем стуле и блаженной улыбкой идиота улыбаюсь в потолок: я не мишень, я не жертва их обмана, для их игры я слишком незначителен: Крэнмер – просто не очень случайный и не очень невинный прохожий.

Листки цифр, деловые письма, письма из банков и копии писем в банки. Издания какого-то общества с названием «Ассоциация за выживание племен», литература из Мюнхена, брошюра под названием «Бог как деталь»

некоего П.Вука из Айлингтона. Дневник с эмблемой «Эссо» на обложке, календарь с пометками, раскладная русская адресная книга с торопливыми записями Ларри. Счета за телефон, электричество, воду, арендную плату, из бакалейной лавки и за виски Ларри. Счета оплачены, аккуратно сложены, квитанции сохранены. Счета в духе Эммы, а не Ларри, адресованные то С.Андерсону, то Т.Олтмену, то «Свободному Прометею лимитед» на Кембридж-стрит. Детская тетрадка, но ребенок – Эмма. Она затерялась между двумя папками и выскользнула, когда я стал их переключать. Я открыл ее и тут же закрыл в произвольном порыве самоцензуры. Потом снова открыл, уже более осторожно. Среди хозяйственных записок и набросков нот я наткнулся на случайные обращения к ее бывшему любовнику, Крэнмеру:

«Тим, я пытаюсь понять, что произошло с нами, чтобы объяснить это тебе, но потом я спрашиваю себя: а почему я должна тебе что-то объяснять? А минуту спустя я думаю, что мне надо просто все тебе рассказать, и именно это я и решила сделать...»

Эта похвальная решимость не была, однако, подкреплена делом. Сигнал пропал. Сели батареи в передатчике? В дверь ломилась тайная полиция? Я перевернул несколько страниц.

Эмма – Эмме:

«Все в моей жизни готовило меня к этому... Любой неверный любовник, любой неправильный шаг, все мое плохое и все мое хорошее, все во мне идет в одном направлении, потому что когда я иду с Ларри... Когда Ларри говорит, что он не верит словам, я тоже не верю им. Ларри – это действие. Действие – это характер. В музыке, в любви, в жизни...»

Эмма к Эмме звучит как пародия на Ларри.

Эмма – Тиму:

«...то, что осталось во мне, – это огромная зияющая пропасть на том месте, где я хранила свою любовь к тебе до того момента, когда поняла, что тебя там нет. Насколько я разгадала тебя и сколько ты рассказал мне сам или рассказал Ларри – неважно; важно, что Ларри никогда не предавал тебя в том смысле, как ты думаешь, и никогда не...»

Ну, конечно, в ярости подумал я, он не предавал, разве он смог бы? Украсть девушку у лучшего друга – это не предательство; во всяком случае, не большее предательство, чем украсть тридцать семь миллионов и выставить лучшего друга сообщником в этом деле. Это чистой воды альтруизм. Это благородство. Это жертва!

После шести страниц явно навеянного Ларри самосозерцания она снова снизошла до обращения ко мне, на этот раз в нравоучительном тоне:

«Ты видишь, Тим, что Ларри – сама продолжающаяся жизнь. Он никогда не бросит меня. Он снова сделал мою жизнь реальной, и уже просто быть с ним вместе значит ездить по свету и участвовать в событиях, потому что там, где Тим уклоняется, Ларри участвует, а где Тим...»

Сигнал снова сдох. Где Тим что? Что еще во мне можно было оплевать, что она еще не оплевала? И если Ларри – сама продолжающаяся жизнь, то что тогда Тим по евангелию от Ларри, записанному для нас его верным учеником Эммой? Прерванная жизнь, я так понимаю. Более известная как смерть. А смерть, когда она обнаружила, что живет с ней, показалась ей, видимо, несколько заразной – вот почему она набралась мужества и задала стрекача в то воскресное утро, когда я был в церкви.

Но за мной вины нет, подумал я. Я – обманутый, а не обманщик.

– Сделай меня одним человеком, Тим, – умоляла она меня в нашу первую ночь в Ханибруке, – я слишком долго была слишком многими людьми, Тим. Будь моим монастырем для одного-единственного послушника, Тим, моей Армией Спасения. Не бросай меня никогда.

Ларри никогда не бросит меня, дуручка? Да Ларри тащит тебя в такую пучину, которой ты никогда еще не видела! Вот что он делает! И не рассказывай мне сказок о твоей любви к нему! Ларри – *жизнь*? Твои самые сокровенные чувства? А ты умеешь ли хранить верность своим чувствам и остались ли у тебя чувства, которым можно хранить верность? И сколько еще раз ты будешь бежать за розовой мечтой только за тем, чтобы ранним утром возвратиться домой в рваном платье и с выбитыми зубами, украдкой, таясь от соседей?

Хотя чувство вины и незнание больше не удерживали меня, желание защитить владело мною. Каждая новая страница и каждое прочтенное слово подстегивали мое нетерпение, мое желание скорее освободить ее от ее самой последней, самой большой глупости.

Эмма как художник. Эмма как любовница шута с комплексами. Эмма как эхо вечного визга Ларри против мира, который он не может ни принять, ни разрушить. *«Это мы»*, написала она. Маяк – наиболее милосердное описание этого. Он гордо возвышается в центре станицы. У него четыре стройных, суживающихся кверху стены с окнами, немного напоминающими бойницы моей колокольни. У него коническая верхушка, похожая на шлем и на другие конические верхушки. На первом этаже она нарисовала сентиментальную корову, на втором Ларри и Эмма едят из котелков, на третьем они обнимаются. А на последнем этаже они, голые, как в раю, разглядывают окрестности из противоположных окон.

Но когда это? И что это? В данный момент Крэнмер, ее спаситель, карабкался к ней по стене, крича *«остановись!»*, и *«подожди!»*, и *«вернись!»*.

Адресованное Эмме длиннущее возмущенное послание Ларри на тему происхождения слова «ингуш». Этим именем, оказывается, ингуши обязаны русским пришельцам: по-ингушски это просто «народ», как «чечен» по-чеченски (так колонизаторы-буры называли «банту», черный народ в Африке). Ингушское название народа Ингушетии – «галгай». Ларри взбешен такой неделикатностью русских и, естественно, хочет, чтобы это негодование разделила и Эмма.

Я читаю обгоревшие бумаги.

Иногда мне приходится подносить их к свету. Иногда пользоваться лупой или самому домысливать оборванные предложения. Как знает каждый шпион, бумага горит плохо. Текст остается, пусть даже в виде белых надписей на черном фоне. Но Эмма шпионом не была, и меры предосторожности, предпринятые ею, были вовсе не те, которые рекомендуют коллеги Марджори Пью. Ее сильно наклоненный почерк был прекрасно различим на обуглившейся бумаге.

25 x MKZ22... прибл. 200 500 x ML7... 900

1 x MQ18... 50

Против каждого пункта галочка или крестик. Внизу страницы запись:
«Заказ подтвержден АМ 14 сент. в 10.30, его телефонным звонком».

Я слышу слова Джейми Прингла: *«В арифметике Ларри не силен... когда дело доходит до цифр, он ей в подметки не годится»*. Передо мной возникает она, сидящей за своим письменным столом на Кембридж-стрит, со строго зачесанными назад черными волосами и в блузке с высоким воротником, занятой расчетами, в которых ее музыкальная голова так сильна, и ожидающей, пока Ларри с бристольского вокзала доберется в гору до дому после очередного «трудного дня на Лубянке, дорогая».

Окончательный итог прибл. четыре с половиной,

читаю я внизу на следующей странице. Цифры у нее тоже с наклоном.

Четыре с половиной *чего*, черт тебя побери, спрашиваю я себя с накипевшей злостью. Тысяч? Миллионов? Из тех тридцати семи? Тогда почему Ларри пришлось продавать за тебя твои драгоценности? Почему ему пришлось снять со счета свои заработанные в Конторе деньги?

Я снова слышу голос Дианы, и снова кровь ударяет мне в голову: *одну идеальную ноту*.

Образ возникал. Возможно, он возник уже. Возможно, ответ на *что* уже был, и оставалось только *почему*. Но в этом настроении Крэнмер был штабным офицером. И выводы, если им вообще суждено появиться, будут после, а не до и не во время его розысков.

Я слушал.

Мне отчаянно хотелось смеяться, махать рукой, кричать: «Эмма, это я! Я люблю тебя! Это правда, все еще люблю! Это невероятно, это необъяснимо, но я люблю тебя, кто бы я там ни был – жизнь, смерть или старый зануда Тим Крэнмер!»

За бойницами моей башни разыгралась настоящая буря. Церковь вся гудела, ставни грохали, от страха перед раскатами грома свинцовые водостоки жались к каменным стенам. Их лотки переполнились, и горгульи не успевали выплевывать мчащуюся воду. Внезапно ливень прекратился, и вернулась тревожная сельская ночь. Но в голове у меня было только: «Эмма, это ты!», а слышал я только голос Эммы в автоответчике с Кембридж-стрит, голос такой приятный, что мне хотелось прижать автоответчик к своему лицу, такой он был теплый, терпеливый и музыкальный, немного ленивый, наверное, от недавнего секса, и обращенный к людям, которые, возможно, не слишком хорошо понимали английский или были не слишком знакомы с западными чудесами вроде автоответчика.

– Это «Свободный Прометей» из Бристоля, и это говорит Салли, – произносила она, – здравствуйте и спасибо за звонок. К сожалению, мы не можем поговорить с вами сейчас, потому что нас нет дома. Если вы хотите оставить нам свое сообщение, дождитесь короткого гудка и сразу после него начинайте говорить. Вы готовы?..

После Эммы то же сообщение по-русски записал Ларри. Когда Ларри говорил по-русски, он словно менял кожу, потому что для него переход на русский был своего рода бегством от тирании. Уходя в него, он отгораживался и от отца, донимавшего его нравоучениями, и от школы, требовавшей от него быть как все, и от старост, подкреплявших это требование поркой. После русского Ларри заговорил на языке, который я отнес к кавказским – впрочем, безо всякой уверенности, потому что я не понял в нем ни слова. Но от меня не ускользнула драматическая напряженность, заговорщические нотки, которые он ухитрился употребить в таком коротком и формальном сообщении. Потом я снова прослушал его на русском. Потом снова на незнакомом. Таким энергичным, таким героическим,

таком злободневном. Что он мне напомнил? Книгу возле постели на Кембридж-стрит? Мемуары его кумира Обри Герберта, сражавшегося за спасение Албании?

И вдруг я вспомнил – «Каннинг»!

Мы снова в Оксфорде, на этот раз ночь и идет снег. Мы сидим в чьей-то комнате в общежитии Тринити-колледжа, нас двенадцать человек, мы пьем подогретый кларет, и очередь Ларри читать нам сочинение на тему, которую ему вздумалось выбрать. «Каннинг» – просто один из многих занятых самосозерцанием оксфордских дискуссионных клубов, разве что немного старше остальных и богаче столовым серебром. Темой своего доклада Ларри выбрал Байрона и собирается потрясти нас. И таки потрясает, заявляя нам, что самые грандиозные романы у Байрона были не с женщинами, а с мужчинами, и подробно описывая увлечение поэта мальчиком из церковного хора в Кембридже и своим пажем по имени Лукас – в Греции.

Но вспоминая этот вечер сейчас, я слышу не вполне предсказуемое восхищение Ларри сексуальными подвигами Байрона, а его зависть к Байрону как к защитнику греков, *на свои деньги снарядившему отряд наемников* и поведшему их в бой против турок под Лепанто.

И я вижу Ларри сидящим перед газовой плитой со стаканом подогретого вина, прижатым к груди, представляющего себя Байроном; я вижу его сбившийся на лоб клочок волос, его пылающие щеки, его глаза, горящие огнем от вина и от риторики. Разве Байрон не продал драгоценности своей возлюбленной, чтобы поддержать безнадежное дело? Разве он не обратил свои доходы в наличность?

И я снова вспоминаю Ларри, одну из его воскресных ханибрукских лекций, когда он сказал нам, что Байрон был фанатиком Кавказа, доказывая это тем, что он написал грамматику армянского языка.

Я перехожу к записанным на автоответчик сообщениям. Я становлюсь пассивным курильщиком опиума, меня подхватывают навеванные дурманом видения, я вдыхаю опьяняющий дым и плыву в полном опасностей сиянии.

– Салли? – Гортанный голос иностранца, мужской, низкий и напряженный, по-английски. – Это Исса. Наш Главный Вождь завтра будет в Назрани. Он тайно встретится с Советом. Пожалуйста, передай это Мише.

Щелчок.

Мише, подумал я. Один из псевдонимов Ларри у Чечеева. Назрань – временная столица Ингушетии у границ Северного Кавказа.

Другой голос, мужской и смертельно усталый, не гортанный, по-русски быстрым шепотом:

– Миша, у меня новости. Ковры прибыли в горы. Ребята счастливы. Привет от Нашего Главного Вождя.

Щелчок.

Мужчина, бегло говорящий по-английски с легким восточным акцентом: голос, похожий на голос мистера Дасса, слышанный мной при повторном наборе на Кембридж-стрит:

– Привет, Салли, это «Прочные ковры», я говорю из *машины*, – гордо объявил он, словно телефон в машине был последней новинкой. – Только что наши поставщики просили подождать до следующей недели. Я полагаю, время им нужно для разговоров о дополнительной плате. (Смешок). Привет.

Щелчок.

После него голос Чечеева, бесконечное число раз слышанный мной по телефону и в микрофонных записях. Он говорит по-английски, и, по мере

того как я его слушаю, я все больше различаю в нем неестественную вежливость человека под обстрелом:

– Салли, доброе утро. Это ЧЧ. Пожалуйста, срочно передай Мише, что он не должен ездить на север. Если он уже поехал, он должен прервать поездку, пожалуйста. Это приказ Нашего Главного Вождя. Пожалуйста, Салли.

Щелчок.

Снова Чечеев, на этот раз спокойнее и медленнее:

– ЧЧ для Миши. Миша, пожалуйста, осторожнее. Лес следит за нами. Ты меня слышишь, Миша? Нас предали. Лес движется на север, в Москве все известно. Не едь на север, Миша. Не надо безрассудства. Важно добраться до безопасного места, сражаться будем потом. Приезжай к нам, и мы позаботимся о твоей безопасности. Салли, пожалуйста, передай это Мише срочно. Скажи ему, чтобы принял меры, о которых мы уже договорились.

Щелчок. Конец сообщения. Конец всех сообщений. Лес двинулся на север. Бирнамский лес дошел до Дансинана, а Ларри получил или не получил это послание. А Эмма, интересно? Что она получила?

Я считаю деньги: счета, письма, корешки квитанций. Я читаю сожженные письма из банков.

«Уважаемая мисс Стоунер»

– верхний правый угол листа сгорел, адрес отправителя утрачен за исключением букв...СБАНК и слов «...государственный... Женева». Адрес мисс Стоунер – «Бристоль, Кембридж-стрит, 9А».

«...звещаем Ва... акрыт... тот... ется значите... тог... в... аш... ущий сче... оволите ли Вы... озможно, захоти... рочности не... вести их н...»

Левая сторона и нижняя половина листа тоже сгорели, и ответ мисс Стоунер неизвестен. Но сама мисс Стоунер для меня не незнакомка. И для Эммы тоже.

«Уважаемая мисс Ройлотт».

Совершенно верно, мисс Ройлотт – естественная компаньонка мисс Стоунер. В сочельник вечером мы сидим перед большим камином в гостиной Ханибрука. На Эмме инталия и длинная юбка, и она сидит в аннинском кресле, а я вслух читаю «Пеструю ленту» Конан Дойла, где Шерлок Холмс спасает прекрасную мисс Стоунер от смертоносных интриг доктора Гримсби Ройлотта. Пьяный от счастья, я решаюсь отклониться от текста, притворяясь, что читаю по книге:

– Если мне будет позволено, мадам, – из всех сил я стараюсь изобразить голос Холмса, – проявить мой скромный интерес к вашей безукоризненной персоне, то я осмелился бы предложить, чтобы мы через некоторое время поднялись наверх и устроили испытание тем желаниям и аппетитам, которые согласно велениям моего пола я едва в силах сдерживать...

Но теперь пальцы Эммы на моих губах, так что она может поцеловать их своими собственными...

«Уважаемая мисс Ватсон».

Отправитель из Эдинбурга и подписался «Заморская юриди...». А Ватсону следовало бы сражаться с дикими питомцами домашнего зоопарка доктора Гримсби Ройлотта, вооружась армейским револьвером системы «эли», а не маскироваться под дамочку по имени Салли, проживающую по адресу: Бристоль, Кембридж-стрит, 9А.

«С удовольствием сообщаем... теряя... краткосрочн... комбин... ...ысокие проце... с... условия... изъять... ...фшорн...»

Охотно верю, что с удовольствием, думаю я. С тридцатью семью миллионами, кто бы без удовольствия? «Дорогая мисс Холмс». И еще той же мази из сальной баночки банкира.

Я коллекционирую ковры.

Килимы, хамаданские, белуджские, колиайские, азербайджанские, геббехские, бактрийские, басмакские и доземилитские. Заметки о коврах, торопливые записи о коврах, телефонные звонки, машинописные письма на грязноватой серой бумаге, отправленные нашим добрым другом таким-то, едущим в Стокгольм: пришли ли килимы? Они уже отправлены? На прошлой неделе вы говорили, что через неделю. Наш Главный Вождь расстроен, о коврах много всяких толков. Исса тоже расстроен, потому что Магомеду не на чем сидеть.

Звонил ЧЧ. Надеется приехать сюда в следующем месяце. Откуда не сказал. Ковров пока нет...

Звонил ЧЧ. НГВ в восторге. Ковры распаковывают сейчас. В горах найдено прекрасное место для хранения, все будет в целости. Когда он может ждать вторую партию?

Ковры от АМ. Нашему Главному Вождю или, по винчестерской традиции, НГВ.

«Дорогой Прометей, не до конца сожженное письмо на гладкой белой бумаге, принтерная печать, мы... возм... чтобы устр... рань... ставка 300 кашкейских ковров обсу... будем рады взять де... ледующего договорного этапа по получении Ва...»

Зубчатая иероглифическая подпись, напоминающая три стоящие рядом пирамиды, адрес отправителя «Прочные ковры», почтовый индекс не прочесть, «...сфилд».

Питерсфилд?

Мэнсфилд?

Какой-нибудь еще английский «филд»?

– В Макклсфилде, – слышу я окрашенный портвейном голос Джейми Прингла. – У меня там была девица.

Ниже подписи приписка торопливой рукой Ларри Эмме:

«Эмм! Это важно! Мы можем наскрести на это денег, пока ЧЧ там откладывает свои яйца? Л.»

Ее драгоценности уходят со сцены, подумал я. Деньги с его счета тоже. И наконец драгоценная дата, нацарапанная непоседливой рукой Ларри: 18.7., восемнадцатое июля, за несколько дней до того, как Ларри снял со счета свои «тридцать сребреников».

О, да, они наскребли, свидетель – совершенно не тронутая огнем бумага, идеально сохранившаяся половинка листа со списком ковров, выведенным аккуратным, с сильным наклоном, почерком Эммы:

Килимы – 60.000

Доземилиты – 10.000

Хамаданы – 1.500

Колиаи – 10 x 1.000

А внизу странички также ее рукой:

Полный итог расчетов с Макклсфилдом на настоящий момент – 14.976.000 фунтов стерлингов.

Лубянка,
между парадами

Эмм, слушай сюда!

Вчера ночью я положил свою голову на твой живот и ясно слышал шум моря. Я что, пил вчера? А ты? Ответ: нет, просто мне это снилось на моем отшельническом тюфяке. Ты представить себе не можешь, как успокоительно действует на ухо дружественный пупок и одновременно – отдаленный звук волн. Знаешь ли ты, – в силах ли ты вообразить, что это такое, каждой своей клеточкой испытывать острое, тревожное состояние всепоглощающей, опустошающей любви к Эмм? Скорее всего, нет. Скорее всего, ты для этого слишком толстокожа. Попробуй, однако, пока я не вернусь домой поздно вечером, что случится, кстати, за двенадцать часов до того, как ты получишь это письмо, и это – лишнее свидетельство моей смехотворной, божественной, клинической любви к тебе.

Пожалуйста, прими дополнительные меры,
чтобы любить и обожать
твоего
Ларри,
и не пользоваться заменителями.

PS. Через полчаса семинар, Марша разревется, если я обижу ее, и разревется, если не обижу. Толбот – какой идиот давал имена этим бандитам? – опять усядется на детский горшок, а меня вырвет.

PPS. После того, как я уморил их всех скукой, Толбота едва не задушил собственными руками. Иногда мне кажется, что я воюю со всем тэтчеровским поколением узколобых буржуйских детей.

PPPPPPPS. Марша принесла мне домашний ппппп-пирог!

Письмо, как и все письма Ларри, без даты.

Эмм, насчет Тимбо.

Тим – клетка, в которую я вошел. Тим – перестраховка, доведенная до логического предела. Из всех, кого я знаю, это единственный человек, кто может одновременно идти и вперед, и назад, и это будет выглядеть как прогресс или как отступление в зависимости от образа твоих мыслей. Тимбо, кроме того, огнеупорен; как человек, ни во что не верящий и поэтому открытый для всего, он имеет огромное преимущество перед нами. То, что у него сходит за добродушную терпимость, на самом деле есть трусливое приятие худших преступлений нашего мира. Он неподвижник, он апатист, он воинствующий Пассивист с большой буквы. И, разумеется, он милейший человек. К несчастью, именно милейшие люди испоганили мир. Тимбо – зритель. Мы – работники. Ну и поработаем же мы!

Л.

PS. Я глубоко внутри тебя и собираюсь оставаться там до нашей встречи, когда я буду глубоко внутри тебя...

Эмм,

Ницше сказал что-то ужасно суровое про то, что юмор бежит от серьезных мыслей, поэтому я снимаю перед Н шляпу и буду писать тебе только серьезные мысли. Я люблю тебя. Люблю твое сердце, люблю, как ты

смеешься, люблю, когда мы рядом, люблю твою отвагу, люблю моменты, когда мы молчим, люблю каждую твою ямочку и дырочку, каждый пучок, родинку, веснушку, все бугорки и все неподобные плоские места. Моя любовь простирается, сколько видит глаз. Она в деревьях, в небе, в траве, в городе Владикавказ на реке Терек, откуда Кавказ принимает нас в свои безопасные объятия и защищает от Москвы и от пучины христианства. Или защитил бы, если бы проклятые осетины не сидели у его порога.

Когда-нибудь ты сама испытаешь это, и ты поймешь сама. Я пишу, и на коленях у меня книжка Негли Фарсона. Послушай его удивительные слова: «Это может показаться странным, потому что здесь вы среди самых диких гор Земли, но к самым пустынным уголкам Кавказа вы испытываете глубокую личную привязанность, теплое братское чувство и щемящее желание, тщетное, как вы это сами понимаете, защитить их редкую красоту. Они завладевают вами. Если вы однажды испытали на себе чары Кавказа, вы уже никогда не избавитесь от них». Во время моей последней рождественской поездки я снова и снова убеждался в справедливости этих слов. Господи, как я люблю тебя. Художественный подкомитет собирается через час. Как это характерно для Лубянки, что даже художественный комитет у них «под». Ты мой Кавказ. Ich bin ein Ingush.^[16]

Твой в Аллахе
Л.

Эмм,
вопрос от дитяти тэтчеровского поколения Толбота, который, кстати, решил отпустить бороду: «Ларри, скажите, пожалуйста, что Запад нашел в Шеварднадзе?»

Отвечаю, дорогой Толбот: у него притворно печальное лицо, и он любому напоминает собственного папашу, тогда как на самом деле он гэбэшный динозавр, за плечами которого сделки с ЦРУ и длинный список преследований диссидентов.

Вопрос от дитяти тэтчеровского поколения Марши: «Почему Запад отказался признать законно избранного Гамсахурдиа? Тогда как московскую марионетку и грубияна Шеварднадзе не только признали, но и сквозь пальцы смотрят на его геноцид абхазов, мингрелов и кого там еще?»

Отвечаю, дорогая тэтчеровская дитятя Марша: спасибо за твой пппп-пирог и не хочешь ли ты пппп-переспать со мной, это потому, что Старые приятели по обе стороны Атлантики собрались и порешили между собой, что права малых народов серьезно угрожают миру во всем мире...

В своей любви к тебе я то впадаю в отчаяние, то проделываю обратный путь. Когда ты услышишь, что я, пыхтя, взбираюсь в гору, пожалуйста, лежи голышом, в задумчивости опершись на локоть и мечтая о горах.

Мои пальцы почернели.

По моим лодыжкам ползают змеи. Я стою с раскинутыми, как у распятого, руками, разматываю ленту пишущей машинки с ее бобины, протягиваю ее перед светом и сбрасываю на пол горкой у моих ног. Сначала я не могу понять ничего. Потом я понимаю, что передо мной опять письма Ларри, на этот раз в знакомом обличье ученого-террориста:

Ваша статья «На Кавказе должны прислушаться к доводам разума» отвратительна. Самое грязное из содержащихся в ней оскорблений – это попытка оправдать многолетнее подавление гордых и стремящихся к независимости народов. На протяжении трехсот лет русские из царской, а

потом и Советской России грабили, убивали и рассеивали по свету горцев Северного Кавказа, пытаясь уничтожить их культуру, религию и традиционный образ жизни. Когда конфискация имущества, обращение в рабство и в иную религию и намеренное создание разделяющих нации границ не достигали поставленных целей, русские угнетатели прибегали к тотальной депортации, к пыткам и к геноциду. Прояви Запад хоть малейший интерес к проблемам Кавказа в последние дни советского режима, вместо того чтобы с разинутым ртом слушать людей, преследующих свои корыстные интересы (ярким примером которых являются писаки вроде вас), и ужасных конфликтов, терзающих последнее время этот регион, можно было бы избежать. Равно как и тех, которые в скором будущем могут затронуть и нас.

Л. Петтифер

Бортовой залп по еще одному противнику Ларри остался незавершенным:

...именно поэтому осетины сегодня являются платными палачами Москвы, какими они были при коммунистах и при царе. На юге, правда, осетины терпят притеснения от другого этнического чистильщика, грузин. Но на севере в их войне на истощение против ингушей, в которой им бесстыдно помогают прекрасно оснащенные регулярные русские части, они бесспорно побеждают...

Напечатано Эммой за три дня до того, как я едва не убил автора. Чем, без сомнения, заслужил бы благодарность его неназванного противника.

Моя дорогая,

Ларри в состоянии, когда у него не дрожат руки. Именно в нем написаны трактующие не иначе как вопросы мироздания его письма ко мне. Я успел возненавидеть этот цветастый самодовольный тон всесторонне развитого эгоиста.

Мне нужно кое-что тебе сказать сейчас, когда мы глубже вовлекаемся в это, поэтому смотри на это письмо как на знак разворота на перекрестке, дающий тебе последний шанс повернуть назад.

Так получилось, что я – ингуш, и мне нет нужды говорить тебе, что я на стороне тех народов, которые не имеют голоса в этом мире и которые не знают, как вести себя там, где бал правят журналисты... Право ингушей на выживание – это мое право, и твое право, и право всякого доброго и свободного человека не склоняться перед злобными силами дезинформации, будь то коммуняки, капиталистические свиньи или тошнотворная партийная пропаганда тех, кто присваивает себе монополию на здравый смысл.

Так получилось, что я – ингуш, потому что мне нравится их любовь к свободе, потому что у них никогда не было ни феодализма, ни аристократии, ни крепостных, ни рабов, ни деления общества на высших и низших; потому что они любят леса и карабкаются по горам, потому что они поступают со своей жизнью так, как все мы, остальные, хотели бы поступить, вместо того чтобы заниматься всемирной безопасностью или выслушивать трюизмы на лекциях Петтифера.

Так получилось, что я – ингуш, потому что преступления, совершенные против ингушей и чеченцев, так очевидно чудовищны, что бесполезно искать большую несправедливость, совершенную против кого бы то ни было еще. Это было бы то же самое, что повернуться спиной к истекающему кровью на полу несчастному нищему...

Теперь я в ужасе. Но не за себя, а за Эмму. Мои внутренности свело, моя державшая письмо рука покрылась потом.

Так получилось, что я – ингуш (а не болотный араб или кит, как остроумно предположил Тим), потому что я их видел, я видел их небольшие селения в долинах и в их горах, и, подобно Негли Фарсону, я понял, что это своего рода рай, который нуждается в моей защите. В жизни, как мы оба знаем, может повезти или не повезти, все зависит от того, кого и когда ты встретишь, и от того, что ты можешь отдать другому. Но бывает момент, когда ты говоришь себе: к черту все, вот отсюда я начинаю свой путь, вот на этом самом месте. Ты помнишь снимки стариков в их огромных меховых шапках и в бурках? Так вот, на Северном Кавказе есть обычай: когда в неравном бою воин окружен врагами, он бросает на землю свою бурку, встает на нее и этим словно говорит, что не отступит ни на шаг с клочка земли, накрытого его буркой. Я бросил свою бурку где-то по дороге на Владикавказ ясным зимним днем, когда мне казалось, что передо мной все мироздание, которое ждет моего прихода, с каким бы риском он ни был связан и какой бы ценой мне ни обошелся.

За стенами колокольни пищали летучие мыши и ухала сова. Но я прислушивался к тем звукам, которые раздавались в моей голове: к бряцанию оружия и к воинственным крикам толпы.

Так получилось, что я – ингуш, потому что они олицетворяют для меня все самое несчастное в нашем мире, пережившем «холодную войну». Всю эпоху «холодной войны» мы кричали на всех углах, что защищаем слабого от напавшего на него громилы. Так вот, это была наглая ложь. Снова и снова во время «холодной войны» и после нее Запад вступал в сделки с этим самым громилой ради того, что мы называли стабильностью, к ужасу и отчаянию тех, кого мы, по нашим словам, защищали. Перед этой проблемой мы сейчас и стоим.

Сколько же раз я вынужден был выслушивать эти напыщенные разглагольствования? И закрывать для них свои уши и свой разум? Столько, что я перестал представлять себе действие, которое они могут произвести на так широко открытые уши, как уши Эммы.

Ингуши отказываются прекратить свое существование ради какой-то рационализации, они отказываются быть игнорируемыми, недооцененными или выброшенными за борт. И они сражаются, осознавая это или нет, против преступного сговора между прогнившей русской империей, дующей в старую дуду, и руководством Запада, которое перед лицом всего остального мира демонстрирует безразличие к своей хвальной христианской морали.

За это буду сражаться теперь и я.

Задремав на своем семинаре сегодня после обеда, я проснулся скачком на триста лет. Мне снилось, что Гельмут Коль – канцлер всея Руси, что Брежнев возглавил поход боснийских сербов на Берлин и что Маргарет Тэтчер сидит за кассой и выдает сдачу.

Вот все, что я хотел тебе сказать. Я люблю тебя, но ты хорошенько подумай, потому что там, куда я сейчас направляюсь, возможности вернуться назад уже не будет. Герой говорит «аминь» и уходит со сцены.

Л.

Я подошел к зеленому дождевику Ларри, повешенному мной на деревянный крючок на стене. Испачканные грязью ботинки стояли на полу под ним. Перед моими глазами стоял байронически улыбающийся Ларри.

– Ты, безумный ублюдок Пайд Пайпер^[17], – прошептал я, – куда ты увел ее?

Я запер ее в горной пещере на Кавказе, ответил он. Я соблазнил ее из моего вечного духа противоречия, соблазнил назло неверному Тиму Крэнмеру. Я увез ее на белом коне моей софистики.

Я вспоминал. Стоял, глядя на зеленый дождевик, и вспоминал.

– Эй, Тимбо!

Уже одно это обращение действует мне на нервы.

– Да, Ларри.

Опять проклятое воскресенье, и наше последнее, как я теперь знаю. Он только что привез Эмму из Лондона. Он чисто случайно оказался в Лондоне, и чисто случайно с машиной. Поэтому, вместо того чтобы ехать в Бат, он отвез Эмму ко мне. Как он ухитрился разыскать ее в Лондоне, я не имею ни малейшего представления. Как и о том, сколько времени они провели вместе.

– У меня большие перемены, – объявляет Ларри.

– Действительно? Это замечательно.

– Я назначил Эмму нашим послом при Сент-Джеймском дворе. Ее епархия будет включать в себя обе Америки, Европу, Африку и большую часть Азии. Так, Эмм?

– Это просто замечательно, – сказал я.

– Я нашел ей замену. Все, что нам нужно, это гербовые бланки, и мы можем основывать Организацию Объединенных Наций. Правда, Эмм?

– Это восхитительно, – сказал я.

Но это было все, что я сказал, потому что в роли Крэнмера других слов нет. Посмотреть добрым взглядом. Быть терпимым и не стремиться владеть всем. Оставить в покое детей с их идеализмом и оставаться на своей половине дома. Сыграть эту роль с достоинством непросто. Прочтя это, по-видимому, на моем лице, Ларри почувствовал если не вину, то хотя бы жалость: он положил руку мне на плечо и дружески пожал его.

– Мы ведь старые кореша, Тимберс, да?

– О чем речь, – согласился я. Теперь была очередь Эммы улыбнуться этой дружеской сцене.

– Вот, прочти, тут все написано, – сказал Ларри, извлекая из своего жеваного рюкзака брошюру в белой обложке с названием «Голгофа для народа». Какого народа – мне не ясно. На наших воскресных семинарах за последние месяцы обсуждались столь многие нерешенные конфликты, что Голгофа могла произойти в любом месте от Восточного Тимора до Аляски.

– Ну что ж, спасибо вам обоим, – сказал я. – Сегодня же вечером она будет на столике возле моей кровати.

Но, вернувшись в свой кабинет, я засунул ее подальше на своей полке для ненужных книг среди других непрочтенных памфлетов, которые Ларри за долгие годы навязал мне.

Я разглядывал портрет.

Я стоял перед плакатом, вывезенным из любовного гнездышка Эммы и повешенным на согнутый гвоздь в моей отшельнической келье.

Так кто же ты, Башир Хаджи?

Ты НГВ. Наш Главный Вождь.

Ты Башир Хаджи, потому что так ты подписался: *от Башира Хаджи моему другу Мише, великому воину.*

– Ларри, ты сумасшедший ублюдок, – говорю я вслух, – ты действительно сумасшедший ублюдок.

Я бежал. Я пробирался через дождь и темноту к своему дому. Во мне было чувство тревоги, с которым я ничего не мог поделать. Согнувшись в три погибели и ударяя коленками по подбородку, я в темноте спускался по склону к мостику, скользя, падая, ушибая коленки и локти, а черные облака надо мной бежали по небу, как бегут отступающие армии, и сильный дождь хлестал мне в лицо. Добравшись до двери кухни, я быстро огляделся по сторонам, прежде чем войти в нее, но на темном фоне деревьев я мало что мог разглядеть. Хлюпая мокрыми ботинками, я через большой зал и по парадному коридору поспешил в свой кабинет и на полке за моим письменным столом нашел то, что мне было нужно: отпечатанную полукустарным способом брошюру в блестящей белой обложке, по виду напоминающую университетские тезисы и озаглавленную «Голгофа для народа». Быстро открыл ее, открыл впервые. Три русских автора: Муталиев, Фаргиев и Плиев. Перевод, несомненно, Ларри. Засунув ее под свой свитер, я прохлюпал снова на кухню и снова вышел в ночь. Буря утихла. Над ручьем клубился туман, скрывая его от глаз. Тень на фоне холма, тень высокого человека, бегущего слева направо, словно его обнаружили, это мне показалось? Добравшись до своего убежища, я тщательно оглядел из бойниц округу, не зажигая огня, но не увидел ничего, что я рискнул бы назвать живым человеком. Вернувшись к своему самодельному столу, я раскрыл белую брошюру и разгладил ее страницы. Ну и язык у этих ученых мужей – тяжеловесный, полный околичностей, и никакого чувства времени. Через минуту они заводят толковище про смысл смысла. Я нетерпеливо пролистал несколько страниц. Все ясно, еще одна неразрешимая человеческая трагедия, каких полон мир. Поля измалеваны детскими примечаниями Ларри, предназначенными, как я подозреваю, персонально мне: «ср. с палестинцами», «Москва, как обычно, нагло лжет», «лунатик Жириновский утверждает, что всех российских мусульман следует лишить гражданских прав».

С запозданием я узнаю шрифт. Электрическая печатная машинка Эммы. Она, наверное, печатала для него, когда они были в Лондоне. Вернувшись, они заботливо преподнесли мне дарственный экземпляр. Как мило с их стороны.

И опять я не могу сказать, сколько мне известно к настоящему моменту или до какой степени моему отказывающемуся верить разуму еще нужны

доказательства того, что он уже знает и что не хочет признать. Но я знал, что, по мере того как я находил одну разгадку за другой, мое еще недавно приутихшее чувство вины возвращалось ко мне, потому что я начинал видеть себя творцом их безумия, провоцирующим и подстегивающим фактором, по сути фанатиком, чье нетерпение привело к последствиям, о которых он сам сожалеет.

Мы спорим, Крэнмер и Вся Остальная Англия. Спор начался вчера поздно вечером, но мне удалось уложить его в постель. За завтраком, однако, тлеющие угли снова разгорелись, и на этот раз никакие смягчающие слова не могут потушить их. На этот раз лопнуло терпение не Ларри, а Крэнмера.

Он упрекал меня за мое безразличие к агонии мира. Он дошел в этих упреках до границы вежливости и даже несколько дальше, высказав мнение, что я олицетворяю собой изъяны апатичного к морали Запада. Эмма, хотя и мало говорила, была на его стороне. Она скромно сидела, положив перед собой руки ладонями вверх, словно демонстрируя, что в них ничего нет. На этот раз я с подчеркнутой точностью ответил на атаку Ларри. В ответ они обозвали меня архетипом мелкобуржуазного самодовольства. Ну что ж, этим я и буду для них. И в этом порочном качестве я выдал им на полную катушку.

Я сказал, что никогда не считал себя ответственным за пороки мира и что я не чувствую себя ни их причиной, ни обязанным их вылечить. Что мир с моей точки зрения есть перенаселенные дикарями джунгли и что таким он был всегда. Что большинство его проблем неразрешимы.

Я сказал, что считаю любой тихий уголок этого мира вроде Ханибрука куском рая, вырванным из пасти ада. И что поэтому я полагаю невежливым со стороны гостя этого уголка затаскивать в него такую кучу всяких несчастий.

Я сказал, что всегда был готов и буду готов и дальше приносить жертвы ради моих соседей, моих соотечественников и моих друзей. Но когда речь заходит о спасении одних варваров от других в стране размером меньше буквы на карте, то я не могу понять, почему я должен бросаться в горящий дом ради спасения собаки, до которой мне никогда не было дела.

Я сказал все это с запалом, но душу в эти слова я не вложил, хотя и постарался не показать этого. Возможно, мне было приятно отстоять спорную точку зрения. К моему удивлению, Ларри вдруг заявил, что восхищен мной.

– Прямо по носу, Тимбо. Сказано от души. Поздравляю. Ты согласна, Эмм?

Эмма была все, что угодно, кроме согласна.

– Ты был отвратителен, – сказала она тихим, зловещим голосом, глядя мне прямо в глаза. – Ты действительно дошел до предела.

Она хотела сказать, что, к ее облегчению, я вел себя достаточно плохо, чтобы оправдать все ее грешки.

Тем же вечером она поднялась к себе, чтобы продолжить свое печатание: «Ты не понимаешь самого главного в вовлеченности».

Я вернулся к «Голгофе для народа». Я читаю об истории, читаю о ней слишком быстро, и я не в настроении читать о ней, пусть она даже и объясняет настоящее. Ученые споры по поводу основания города Владикавказ: был он построен на ингушской или на осетинской земле? Ссылки на «фальсификацию исторических фактов» осетинской стороной. Рассказы о храбрости равнинных ингушей в восемнадцатом и в девятнадцатом веках, когда они были принуждены взяться за оружие, чтобы

защитить свои жилища. Рассказы о спорном Пригородном районе, *священном Пригородном районе*, теперь яблоке раздора между осетинами и ингушами. Рассказы о местах, которые действительно могут быть размером только с букву на карте, но таких, что сотрясается вся Российская империя, когда их жители восстают. Рассказы о надеждах, порожденных приходом советской власти, и о том, как эти надежды улетучились, когда оказалось, что красные цари еще грознее белых...

И вдруг из моей временной прострации возникла вспышка света, и я снова в возбуждении вскочил на ноги.

К каменной стене был прислонен старый школьный ранец, в котором я хранил архив ЧЧ. Из него я вытащил связку папок. В одной из них были донесения о слежке, во второй – заметки о привычках и в третьей – микрофонные записи. Захватив папку с микрофонными записями, я вернулся к своему столу и возобновил чтение. Только на этот раз это была Голгофа самого ЧЧ, и в ушах у меня звучала его выразительная русская речь – можно сказать, речь образованного человека, когда они с Ларри сидели в напичканном микрофонами гостиничном номере в Хитроу и пили солодовое виски из стаканчиков для зубных щеток.

Во встречах Ларри с ЧЧ для меня всегда было что-то волшебное. И если Ларри ощущал свое родство с ЧЧ, то ощущал его и я. Разве не был Ларри тем общим, что нас связывало? Разве он попеременно не восхищал и тревожил, не воодушевлял и разочаровывал, не бесил и покорял нас обоих? Разве мы оба не были заинтересованы в том, чтобы он хорошо выглядел в глазах наших хозяев? И, когда я читаю записи и слушаю ленты, разве не оправдана моя гордость тем, что я держал все это в своих руках?

Гостиницы при аэропорте Хитроу – одно из любимых мест Чечеева. Номер здесь можно было взять на полдня и анонимно, гостиницы можно было менять, но благодаря Ларри слушатели обычно поспевали в них раньше Чечеева. В данном случае согласно последующему отчету Ларри ЧЧ вынул из своего бумажника пачку старых снимков.

– Это моя семья, Ларри, это мой аул, каким он был, когда был жив мой отец, это наш дом, который все еще занят осетинами, это их белье, которое сохнет на веревке, повешенной моим отцом, это мои братья и сестры, а это железная дорога, по которой мой народ был вывезен в Казахстан... В пути многие умирали, так что русским приходилось останавливать поезд, чтобы похоронить их в братских могилах... А это вот место, где был застрелен мой отец.

После снимков Чечеев вынул из кармана свой дипломатический паспорт и помахал им перед носом Ларри. Английский расшифровщика был, как всегда, бесстрастен:

– Ты думаешь, я родился в 46-м. Это не так. 1946-й – это год рождения человека, за которого я себя здесь выдаю. На самом деле я родился в 44-м, в День Красной Армии, 23 февраля. В России это большой государственный праздник. И родился я не в Тбилиси, а в промерзшем вагоне для перевозки скота, направлявшемся в заснеженные казахские степи.

– ...А ты знаешь, что случилось 23 февраля 1944 года, когда я родился и когда вся страна отмечала большой праздник, а все русские солдаты отплясывали в наших деревнях и веселились? Я тебе расскажу. Весь ингушский народ и весь чеченский народ приказом Сталина были объявлены преступниками и вывезены за тысячи миль от плодородных кавказских равнин в пустыни к северу от Аральского моря...

Я пролистал несколько страниц и жадно продолжил чтение:

– В октябре 1943 года сталинисты уже депортировали карачаевцев. В марте 44-го они добрались до балкарцев. А в феврале они пришли за чеченцами и ингушами... Лично, ты понимаешь? Берия и его заместители лично приехали, чтобы руководить нашим выселением... Представь себе, что ты берешь калифорнийца и переселяешь его в Антарктиду – примерно таким было и то переселение...

Я пропустил полстраницы. Сухой юмор ЧЧ пробивался через банальный стиль расшифровщиков.

– Старых и больных избавили от переезда. Их согнали в симпатичное здание, которое было подожжено, чтобы они не замерзли. Потом это здание поливали из пулеметов. Моему отцу повезло немножко больше. Сталинские солдаты застрелили его в спину за то, что он не хотел, чтобы его беременную жену силой заталкивали в вагон... Когда моя мать увидела труп моего отца, она решила, что теперь она одинока, и разродилась мною. Сын вдовы родился в вагоне для перевозки скота, везшем его в ссылку...

Здесь аккуратный расшифровщик сделал примечание о естественном перерыве в беседе, во время которого ЧЧ сходил в туалет, а Ларри долил виски в их стаканы.

– ...Пережившие дорогу попали в ГУЛАГ, им предстояло осваивать замерзшие степи и по шестнадцать часов в день добывать в шахтах золото... – именно поэтому ингушей сегодня так интересует золото... На них смотрели как на рабов, осужденных за приписываемое им сотрудничество с немцами, но ингуши честно сражались с немцами. Сталина и русских, правда, они ненавидели еще больше.

– И еще они ненавидели осетин, – догадливо вставил Ларри, как школьник, рассчитывающий на отличную отметку.

Он тронул, вероятно, намеренно, больное место, потому что ЧЧ разразился длинной тирадой:

– А как же нам не ненавидеть осетин? Они не из наших мест! Они не нашей крови! Они – персы, объявившие себя христианами, но тайно почитающие языческих богов. Они – лакеи Москвы. Они украли наши поля и наши дома. Почему? *Ты знаешь почему!* – Ларри притворяется, что не знает. – Ты знаешь, почему Сталин выслал нас и объявил преступниками и врагами советского народа? Потому что Сталин был осетин! Не грузин, не абхаз, не армянин, не азербайджанец, не чеченец и не ингуш – видит Бог, что не ингуш, – а чужак, осетин! Тебе нравится поэт Осип Мандельштам?

Увлеченный страстным порывом ЧЧ, Ларри признает, что любит Мандельштама.

– А ты знаешь, за что Сталин расстрелял поэта Мандельштама? За то, что тот написал в одном из своих стихотворений, что Иосиф Сталин – осетин. За это Мандельштам был застрелен Сталиным!

Я не уверен, что в этом была причина расстрела Мандельштама. Я держусь более обоснованного мнения, что Мандельштам умер в психиатрической больнице. И я сомневаюсь, что Сталин действительно был осетином. Возможно, Ларри тоже в этом сомневался, потому что его единственным ответом на такой яростный напор было хмыканье, после которого наступило долгое молчание. Собеседники выпили. Наконец ЧЧ возобновил свой рассказ. В 1953 году Сталин умер. Три года спустя Хрущев развенчал его, и вскоре после этого Чечено-Ингушская автономная республика снова заняла свое законное место на карте.

– Мы вернулись из Казахстана в родные места. Это был долгий путь, но мы его прошли, пусть даже некоторым из нас он оказался не по силам. Моя мать умерла в дороге, и я поклялся ей, что похороню ее в родной земле. Но, когда мы приехали, двери наших домов оказались запертыми для нас, а из наших окон на нас глядели осетинские лица. Мы были нищими, мы спали на улице, мы украдкой пробирались по нашим полям. Неважно, что в законе говорилось, что осетины должны уйти. Закон им не по душе. Они не признают законов. Они признают только оружие. И Москва дала осетинам много оружия, а у нас отобрала наше.

Я помню, что на Верхнем Этаже было много споров, должны ли мы воспользоваться этим разговором, чтобы попытаться завербовать Чечеева, ведь он нарушил добрую половину правил кодекса КГБ. Он разоблачил свою собственную легенду, он проявил антисоветские настроения, он поднял запретный этнический вопрос. Однако в конце концов верх взяли мои бесстрастные доводы, и наши боссы нехотя согласились, что самым ценным нашим достоянием является Ларри и что нам не следует предпринимать ничего такого, что могло бы поставить его под удар.

Я снова стоял в центре своего убежища под свисающей сверху лампочкой и изучал остатки папки с информационными выпусками Би-би-си в виде печатных брошюр. Уцелевшие ключевые слова в них были выделены зеленым маркером. Тошнотворный стиль дешифровщиков был сохранен в них неизменным.

Северная Осетия относительно спокой... вщину конфликта.

Агентство новостей ИТАР-ТАСС (иновещание Московского ра... ..на русском, 11.06 по Гринвичу 31 октября 1993 года

Текст сооб...

Владикавказ, 31 октября. Печальная годов... трагедии 31 октября 1992 года, ког... вооруженное столкновение началось в зон... ч... осет... ингушского конфликта... быть смягче...

Трагический итог (для... икта): 1300 убитых... сторон, более 400... домов разрушено и... без крова.

Я перевернул несколько обгоревших страниц. Подчеркивание продолжалось: Ларри или Эммы – неважно, потому что я знал, что безумие у них общее.

...ассовые беспорядки и межэтн... конфликты сопровождались применением войск, оружия и бронетехники...

...положение беженцев... катастрофическое, причем больше 60 000... становка разыгравшейся трагедии усугубляется тем, что эти люди никого не интересу... русские войска в зоне действия чрезвычайного положения на территории Северной Осетии и Ингушетии, получили приказ ликвидировать бандитские формирования с... властей, сказал генерал... временной администрации в зоне осетино-ингушского конфликта.

Слева на полях сердитыми печатными буквами рукой Ларри было написано:

ВМЕСТО БАНДИТСКИХ ЧИТАЙ ПАТРИОТИЧЕСКИХ

ВМЕСТО ФОРМИРОВАНИЙ ЧИТАЙ АРМИЯ

ВМЕСТО ЛИКВИДИРОВАТЬ ЧИТАЙ УБИВАТЬ, МУЧИТЬ, КАЛЕЧИТЬ, СЖИГАТЬ ЖИВЬЕМ

Мою грудь перехватил спазм.

Мою грудь перехватил спазм, но я полностью контролировал себя.

Я стоял, и моя спина кричала мне, что ей больно, и в ответ я кричал ей, но я нашел-таки ту папку, которую искал. На ее обложке печатными буквами в своем бюрократическом стиле я когда-то написал: «ЛП: Последние собеседования». Несмотря на все мое нетерпение, мне пришлось проковылять вдоль стены подобно раненой вороне, чтобы положить ее на мой самодельный стол.

Я взгромоздился на стул и склонился над столом, стараясь перенести вес со спины на руки, насколько это было возможно. Локтем левой руки я оперся на подушечку, как учил меня мистер Дасс. Однако боль в спине была ничем по сравнению со стыдом и гневом, наполнявшими мою душу по мере того, как я получал все больше и больше доказательств своей преступной слепоты:

Спросил ЛП, не может ли он вежливо отклонить предложение ЧЧ о поездке на Кавказ, на которой тот так настаивает. Я этого не сказал, но интерес заказчика к этому региону очень низок и полностью удовлетворяется данными спутниковой разведки, сообщениями агентов, радиоперехватами и потоком докладов от американских нефтеразведочных компаний, обследующих этот район. ЛП воспринял мою просьбу без энтузиазма:

ЛП: я обязан ему, Тимбо. Я уже много лет обещал ему и все не ехал. Он болеет за них. Он один из них.

Послунявив пальцы, я с трудом листаю страницы, пока не добираюсь до своего отчета о беседе, состоявшейся три недели спустя:

ЛП очень возбужденно реагировал на вопрос о кавказской поездке – это понятно, если учесть его взвинченное состояние. Он не может воспринимать вещи в их истинном масштабе. «Самое печальное, самое волнующее, самое трогательное и трагичное впечатление за всю мою карьеру и т. д., о многом можно будет сообщить, бурлящие события, взрыв вот-вот произойдет, всюду этническая, племенная и религиозная напряженность, русские оккупанты – олухи, бедственное положение ингушей – зеркало бедственного положения всех угнетенных малых мусульманских народов этого региона».

Примечание к отчету: неофициально глава отдела анализа постсоветских стран сообщила мне, что отчет вряд ли будет приобщен к делу.

Но Крэнмер приобщил его к делу.

Приобщил и забыл о нем.

В своей преступной близорукости он отправил в мусорную корзину истории дело ингушского народа, а с ним и ЛП, и погрузился своей глупой головой в тихий рай Сомерсета, хотя знал, что ничто, абсолютно ничто в жизни Ларри и в собственной Крэнмера идеализированной ее имитации никогда не проходит бесследно:

«...потому что я их видел, я видел их небольшие селения в долинах и в их горах... В жизни, как мы оба знаем, может повезти или не повезти, все зависит от того, кого и когда ты встретишь, и от того, что ты можешь отдать другому. Но бывает момент, когда ты говоришь себе: к черту все, вот отсюда я начинаю свой путь, вот на этом самом месте».

Открытка с репродукцией картины. Разорвана один раз по вертикали. Адресована Салли Андерсон на Кембридж-стрит. На картине одетая пара лежит посреди поля. Почтовый штемпель: Макклсфилд. Художник: некто Дэвид Макферлейн. Описание полотна: «Тихий полдень», 1979, смешанная техника, 18 x 24 дюйма. Источник: мусорная корзина Эммы.

Эмм. Очень важно. АМ нужно 50 000 на его счет к полудню пятницы. Тоскую по твоим глазкам. Л.

PS: Теперь он Натти^[18], пишется как название кекса, знаешь, орехи когда-то там, крепкий наш орешек.

Я сделал короткую передышку, потому что в моей голове начали всплывать старые воспоминания. АМ, который теперь Натти, который крепкий орешек. Орехи в мае^[19]. Человек, который говорит, как мистер Дасс, и у которого новый телефон в машине. Воспоминания всплыли, выстроились в порядке и отплыли в сторону, дожидаясь своего часа.

Я взял в руки желтый листок из казенного блокнота, смятый Эммой и разглаженный мной. Источник: ее бюро в Ханибруке.

Эмм. Очень важно. Я встречаюсь с Натти завтра в 10 в Бате. ЧЧ прислал с бородатым другом список закупок, который я должен забрать. Он сейчас В ЛОНДОНЕ, в Королевском автомобильном клубе на Пэл-Мэл. Позвони в клуб, скажи им, что ты моя секретарша, и попроси с рассылным доставить письмо мне сюда к завтрашнему дню. В моей жизни сейчас самое лучшее время. Спасибо тебе за него, спасибо за жизнь. Натти говорит, что в расходах мы должны предусмотреть двадцать процентов на взятки. Оден говорит, что мы должны любить друг друга или умереть.

Л.

Еще одна папка с выпусками службы наблюдения Би-би-си, на этот раз нетронутая огнем, и помеченные куски подобны похоронному маршу любой войны из-за границ:

1 ноября военные действия в Пригородном районе продолжались... Огневые точки ингушских нерегулярных формирований подавляются... Много жертв, как убитыми, так и ранеными, зарегистрировано во многих селениях... В зоне конфликта продолжаются перестрелки... Воздушно-десантные войска встречают упорное сопротивление... Против ингушских деревень используется реактивная артиллерия... Российский премьер-министр возможность пересмотра существующих границ... Колонна русской бронетехники вступает в Ингушетию... Ингушские беженцы уходят в горы... Наступление зимы не снижает остроту конфликта...

Крэнмер, ты выдающийся, редкий, величайший идиот, подумал я. Как насчет твоей близорукой невинности, как насчет слепоты того, кто всегда гордился тем, что не прозевает фокуса?

Наверное, это гнев заставил меня так быстро поднять голову. Я поднял ее и прислушался. Не знаю, что я услышал, но что-то услышал. Цепляясь руками за стену, я еще раз прокарабкался вдоль всех шести бойниц моего убежища. Тучи разошлись. Половинка луны кое-как освещала окрестные холмы. Постепенно я различил три мужских силуэта на примерно равных расстояниях друг от друга вокруг церкви. Между ними было ярдов по

пятьдесят, а от них до меня – ярдов по восемьдесят. Каждый, как часовой, стоял на середине склона своего холма. За то время, пока я наблюдал за ними, человек в середине сделал перебежку вперед, и его товарищи повторили ее.

Я посмотрел в сторону своего дома. У освещенного крыльца увидел четвертого, стоящего возле моей машины. На этот раз паники у меня не было. Я не побежал наверх и не позабыл телефонные номера. Паника, как и боль в спине, осталась в прошлом. Я бросил взгляд на разбросанные по полу бумаги, на свой колченогий стол, на свой беспорядочно разбросанный архив, на свой школьный ранец, брошенный на папки. Сдержав смехотворный порыв навести порядок, я быстро собрал самые важные бумаги.

Портфель с аварийным комплектом Бэйрстоу стоял открытый у двери. Я запихнул в него отобранные бумаги, добавил запасные патроны к своему пистолету, а сам 0,38 засунул за пояс. Когда я делал это, мой инстинкт напомнил мне о письме Зорина в моем кармане. Вернувшись к ранцу и порывшись в нем, я отыскал папку с надписью ПИТЕР. Я вынул из нее листок с личными данными Зорина и добавил его к важным бумагам в портфеле. Потом я выключил свет и в последний раз выглянул наружу. Кольцо вокруг церкви сжималось. С портфелем в руке я спустился по винтовой лестнице в ризницу. Задвинув за собой шкаф, я взял коробок спичек и шагнул в церковь.

Я опережал их. Лунный свет помогал мне, я отпер южную дверь и быстро пробрался к украшенной тонкой резьбой норманской кафедре. По четырем скрипучим деревянным ступеням я взобрался на нее и спрятал портфель за ее передней стенкой, где были бы ноги проповедника, будь он на кафедре. Потом я спустился к алтарю и зажег свечи. Спокойно, без дрожания рук. Выбрав скамью с северной стороны, я опустился возле нее на колени, погрузил лицо в свои ладони и, если нужно описать то, что происходило в моей голове, стал молиться о своем спасении, потому что только оно давало мне шансы спасти Эмму и Ларри от их безумия.

В положенное время я услышал звучный щелчок южной двери: ее открыли снаружи. Потом раздался скрип ее петель, которые я предусмотрительно не стал смазывать, превратив их в прекрасную сигнализацию для любого, кто захочет поработать в каморке священника. После скрипа я услышал, как пара ботинок – промокших, на резиновых подошвах – сделала несколько шагов и остановилась, а потом бросилась ко мне по проходу.

Относительно молитвы в таких случаях существуют установленные правила, и я должен был подумать и о них тоже. Вы не можете просто из-за того, что кто-то ворвался в вашу личную церковь в два часа ночи, спросить его, какого дьявола ему здесь нужно. Как не можете вы и вести себя так, словно окаменели в своей молитве. Правильнее всего, решил я, нервно содрогнуться моей обновленной спиной, втянуть голову в плечи и глубже погрузить свое лицо в ладони, показывая этим, что грубое обращение только усиливает мою тягу к небесной благодати.

Эти тонкости, однако, были выше разума моего незваного гостя, потому что в следующий момент я осознал, что на доску для коленопреклонения слева от меня бесцеремонно встал кто-то тяжелый, а на полку передо мной грохнулись два локтя в рукавах дождевика. Всего в нескольких дюймах от моего лица на меня сердито уставилась злобная физиономия Манслоу.

– Хватит, Крэнмер, откуда вдруг такая набожность?

Я откинулся назад. Мою грудь покинул тяжкий вздох. Я провел ладонью по лицу, словно возвращаясь к действительности от своих раздумий.

– Ради Бога, – прошептал я, но это только разозлило его еще больше.

– Только не вешай *мне* лапшу на уши. В твоём досье нет ни слова о набожности. Что ты тут затеваешь? Кого-нибудь прячешь здесь, да? Петтифера? Товарища Чечеева? Свою маленькую дамочку Эмму, которую тоже никто не может найти? Сегодня ты здесь уже шесть часов. Чертов папа римский не молится больше.

Я не изменил своему усталому, обращенному внутрь тону:

– У меня на совести много всего, Энди. Оставь меня. Допрашивать меня о моей вере ты не будешь. Ни ты, ни кто-нибудь другой.

– А вот и нет, как раз будут. Твоим старым хозяевам не терпится допросить тебя о твоей вере и еще кое о каких вещах, которые их беспокоят. Начнут они это дело завтра в семь утра, а кончат – как получится. А тебе тем временем придется принять у себя нескольких гостей на случай, если тебе вдруг захочется дать деру. Это приказ.

Он встал. Его колени были рядом с моим лицом, и мне пришла в голову занятая мысль сломать их, хотя я уже забыл, как это надо делать. Что-то мне говорили об этом в тренировочном лагере, кажется, нужен резкий удар, сгибающий ногу в обратную сторону. Но я не стал ломать его ноги и даже не попытался сделать это. Если бы я попытался, он, скорее всего, сломал бы мою. Вместо этого я уронил голову, снова провел ладонью по лбу и закрыл глаза.

– Мне надо поговорить с тобой, Энди. Пора мне облегчить свою душу. Сколько вас?

– Четверо. А какое это имеет значение? – Но в его голосе были жадность и нетерпение. У своих ног он видел кающегося грешника, готового сделать ему признание.

– Я предпочел бы поговорить с тобой здесь, – сказал я. – Прикажи им вернуться к дому и подождать нас.

Все еще стоя на коленях, я выслушал, как он гавкает свои команды в микрофон. Я дождался подтверждения, затем вынул свой пистолет и упер его дуло в живот Манслоу. Потом я поднялся, и наши лица оказались рядом. Его рация была на ремнях. Просунув ему руку в куртку, я повернул выключатель. Свои команды я отдавал по одной.

– Отдай мне свою куртку.

Он выполнил, и я положил ее на скамью. Все еще держа пистолет у его живота, я стянул с него ремни рации и положил ее на куртку.

– Руки за голову. Шаг назад.

Он снова выполнил мою просьбу.

– Повернись и отойди к двери.

Он сделал и это, глядя на меня. А я свободной рукой запер изнутри южную дверь и вынул ключ. Потом я отвел Манслоу к алтарю и запер его в нем. У моего алтаря отличная дверь с замком, но в отличие от большинства других церквей в моей он не имеет ни двери наружу, ни окон.

– Если станешь кричать, я застрелю тебя через дверь, – обещал я ему. И я думаю, этот дурак мне поверил, потому что сидел тихо.

Поспешив к кафедре, я достал портфель из его укрытия, оставил алтарные свечи гореть, вышел через северную дверь и запер ее за собой в качестве дополнительной меры предосторожности. Мой путь освещали первые бледные проблески нового рассвета. Извилистая тропинка бежала вдоль стены виноградника к домашней ферме, где мы разливали вино по бочкам и

по бутылкам. Я быстрым шагом направился к ней. В воздухе пахло грибами. Ключом из моей связки я отпер двустворчатые ворота сарая. Внутри стоял фургончик «фольксваген», часть имущества имения Ханибрук, на котором я изредка выезжал. После стычки с Ларри я под завязку заправил его бак и запасную канистру, а также погрузил в него чемодан одежды, потому что, когда ты в бегах, нет ничего хуже остаться без приличного костюма.

С погашенными огнями я выехал на шоссе и еще примерно милю без огней проехал по нему до перекрестка. Там я свернул на старую Мендипскую дорогу, проехал мимо пруда Придди, даже не бросив на него взгляда, и поехал дальше, пока не добрался до бристольского аэропорта. Там я оставил «фольксваген» на стоянке для длительного хранения и купил на имя Крэнмера билет на первый рейс в Белфаст. Потом на рейсовом автобусе я добрался до бристольского вокзала Темпл-Мидс. Автобус был битком набит усталыми валлийскими футбольными болельщиками, приятно певшими спокойные песни. С площади перед вокзалом я позволил себе бросить последний взгляд на холм и на Кембридж-стрит, прежде чем сесть на ранний поезд до лондонского Паддингтонского вокзала. На нем я доехал до Рединга, где снял номер на имя Бэйрстоу в гостинице кричащего стиля для заезжих коммерсантов. Я попытался уснуть, но страх не давал мне спать. Это был страх худшего вида, страх чувствующего свою вину свидетеля катастрофы, грозящей его близким, до которых он не в силах докричаться. Именно я навязал Ларри его выдуманную жизнь, именно я научил его искусству диверсанта, именно я запустил в нем тот механизм, который сейчас делал свое безумное дело. Именно я накинул свою ловчую петлю на Эмму, даже не подозревая, какой идеальной парой она окажется для Ларри.

В своем мрачном гостиничном номере я зажег весь свет и приготовил себе отвратительный чай из пакетиков и порошкового молока. Затем я засел за просмотр связок бумаг, напиханных мной в портфель при бегстве из моего убежища. После этого я написал в свой банк длинное письмо с инструкциями, касавшимися, помимо прочего, миссис Бенбоу, Теда Ланксона и сестер Толлер. Я запечатал конверт, написал на нем адрес и бросил в почтовый ящик в центре города. Затем я сделал несколько телефонных звонков из уличных автоматов, а остаток дня провел в кино, хотя даже названия фильма не запомнил. В пять вечера я в потоке возвращающихся с работы обитателей пригородов покинул Рединг на арендованном на имя Бэйрстоу красном «форде». И каждое придорожное золотое хлебное поле в коричневой рамке межи казалось мне обломком моего разбитого на куски мира.

«Звуки и запахи твоей юности возвращаются к тебе, – писал Ларри Эмме. – Это небо, которое ты видел ребенком. Ты снова начинаешь воспринимать идеи. Деньги потеряли свою власть».

Хотел бы я разделить с ним его оптимизм.

Глава 11

– Ой, *восхитительно*, Тим, – выкрикнула Клер Дагдейл своим пронзительным голосом эпохи позднего тэтчеризма, когда я позвонил ей из телефонной будки и сказал, что оказался неподалеку. – Саймон будет рад до чертиков. Ему *неделями* не с кем *потрекать*. *Заваливайся* к нам пораньше, мы *двинем* по рюмашечке, и ты *поможешь* мне загнать детей в кровать, как в добрые старые времена. Ты не *узнаешь* Петронеллу. Она у меня *потрясная*. Против рыбы ты не *возражаешь*? У Саймона новости о его сердце. Ты *придешь один*, Тим, или с кем-нибудь?

Я пересек мост и увидел под собой нашу белую гостиницу, посеревшую при экономическом спаде. Прибрежные лужайки заросли. На двери бара, в котором я когда-то ждал ее, мелом было написано «Диско». Игральные автоматы мигали своими огоньками в когда-то чинном обеденном зале, где мы ели бифштекс с кровью и она ногой в чулке обследовала мою промежность, прежде чем решить, что мы готовы отправиться в кровать, к чему мы приступали так скоро, как это позволяли приличия, потому что в четыре утра она уже крутилась перед зеркалом, поправляя свою косметику перед тем, как отправиться домой.

– Я не должна заставлять детей волноваться без меня, ведь правда, милый, – говорит она, – а бедный Саймон вполне может захотеть разбудить меня своим звонком из Вашингтона. Он всегда *плохо* спит в *коротких* командировках.

– Он ничего не подозревает? – спрашиваю я, как я теперь понимаю, больше из человеческого любопытства, чем из чувства конкретной вины.

Пауза, во время которой она проводит черту тубиком своей губной помады.

– Не думаю. Сай – берклианец^[20]. Он отрицает существование того, что не может потрогать руками.

– Прежде чем взвалить на свои плечи тяжкое бремя жены дипломата, Клер получила степень по философии в Кембридже. – А поскольку мы не существуем, мы можем вытворять все, что нашей *душеньке* угодно, разве не так? А мы все еще *не прочь* заняться этим, да?

В Мейденхеде я оставил машину возле вокзала и с портфелем Бэйрстоу в руке изловил такси до района страшных, образца пятидесятих годов, бараков, в котором они жили. Полуразрушенная рама для живой изгороди украшала собой садик перед фасадом. Видавший виды «рено» Клер был брошен поперек ведущей ко входу дорожки, начавшей зарастать травой. Поблекшая табличка возле звонка гласила: «CHIEF MERCHANT»^[21]. Как я понял, это был трофей визитов Саймона в брюссельскую штаб-квартиру НАТО в качестве эксперта по России. Дверь открылась, и *au pair*^[22] лениво воззрилась на меня.

– Анна-Грета, Боже, вы все еще здесь. Как мило.

Обойдя ее, я оказался в прихожей, где мне пришлось лавировать между детскими колясками, детскими велосипедами и вигвамом. Пока я был занят этим, Клер сбежала с лестницы и бросилась мне на шею. На ней была подаренная мной янтарная брошь. Саймон считал, что она досталась ей в наследство от дальней родственницы. Во всяком случае, так она ему сказала.

– Анна-Грета, дорогая, ты не могла бы заняться салатом и поставить блюда на плиту, – распорядилась она, беря меня за руку и увлекая вверх по лестнице. – Ты *жутко* моложав, Тим. И Сай говорит, что ты подцепил молоденькую, совершенно *клевую* деваху. Я думаю, это *жутко* правильно с твоей стороны. Петронелла, посмотри, кто пришел!

Она завела мою руку мне за спину и ущипнула меня.

– Будет не рыба, а утка. Я решила, что один раз сердце Сая это выдержит. Дай мне еще раз *посмотреть* на тебя.

Петронелла с хмурым видом появилась из ванной, одетая в мохнатое полотенце и непромокаемую шапочку. Теперь она была угловатым десятилетним подростком с проволочным устройством для выравнивания зубов и отцовской блуждающей улыбкой.

– Почему ты целуешь мою маму?

– Потому что мы *очень* старые друзья, Пэт, дорогая, – со смехом ответила Клер. – Не будь глупышкой. Я уверена, тебе *понравилось бы*, если бы тебя обнял кто-нибудь такой же аппетитный, как Тим.

– Нет, не понравилось бы.

Братья-близнецы хотели «Медвежонка Руперта», соседская девочка по имени Хабби – «Черную красавицу», и в качестве компромисса я предложил «Кролика Питера». Мы добрались до происшествия с отцом Питера в саду Макгрегора, когда я услышал шаги спускавшегося по лестнице Саймона.

– Привет, Тим, рад видеть тебя, – в одно слово сказал он, протягивая мне свою безжизненную руку. – Привет, Пэт, привет, Клайв, привет, Марк. Привет, Хабби.

– Привет, – ответили все.

– Привет, Клер.

– Привет, – сказала Клер.

Я продолжал читать, а Саймон стал слушать, стоя в дверях. В своем легкомысленном настроении я подумал, что мог бы нравиться ему больше сейчас, когда мы оба стали рогоносцами. Но по его виду сказать этого было нельзя, хотя внешность бывает обманчива.

Утка, по-видимому, была заморожена, потому что некоторые ее части так и остались неоттаявшими. Мы прокладывали себе путь сквозь ее кровоточащие конечности, а я припомнил, что так мы ели всегда, когда ели вместе: картошка была разварена до состояния киселя, а капуста плавала зеленой ряской. Приносило ли такое самоистязание утешение их католическим душам? Чувствовали ли они себя ближе к Богу и дальше от толпы?

– Как ты здесь оказался? – спросил Саймон своим сухим, слегка гнусавым голосом.

– Навещал одинокую тетку, – ответил я.

– Еще одна несметно богатая старушка, Тим? – сказала Клер.

– Где она живет? – спросил Саймон.

– Нет, это бедная тетка, – ответил я Клер. – В Марлоу, – сказал я Саймону.

– В каком приюте? – спросил Саймон.

– В «Саннимидс», – произнес я вычитанное из адресной книги название, от души надеясь, что приют еще существует.

– Это тетка с отцовской стороны? – спросил Саймон.

– Нет, она кухня моей матери, – сказал я, взвешивая вероятность того, что Саймон позвонит в «Саннимидс» и выяснит, что никакой тетки у меня там нет.

– Скажите, пожалуйста, а урожай винограда у вас большой? – пропела Анна-Грета, сегодня повышенная в статусе до гостыи.

– Ну, не *небывалый*, Анна-Грета, – ответил я, – Но порядочный. И первые пробы *вполне* хороши.

– Неужели! – воскликнула Анна-Грета, словно эта новость ее поразила.

– Сказать по правде, с имением я унаследовал и некоторую проблему. Мой дядя Боб, затеявший это дело из любви к нему, полагался больше на Создателя, чем на науку.

Клер не удержалась от смешка, но Анна-Грета слушала меня с открытым ртом. Не знаю почему, но меня понесло:

– Сначала он посадил не *тот* сорт не *в том* месте, потом он молился о солнце, а получил заморозки. К несчастью, срок жизни лозы двадцать пять

лет. Это значит, что я должен либо учинить геноцид, либо сражаться с природой еще десять лет.

Я не мог остановиться. Поиздевавшись над своими собственными усилиями, я расхвалил успехи моих английских и валлийских конкурентов и поскорбел о тяжком налоговом бремени, взваленном на них неразумным правительством. Я нарисовал широкую картину Англии как одной из старейших винодельческих держав мира. Все это время рот Анны-Греты так и не закрылся.

– Мне тебя жаль, – сказал Саймон.

– Расскажи лучше об этой несовершеннолетней девочке, с которой ты живешь, – довольно развязно вмешалась Клер. После двух стаканов румынского кларета она уже не вполне владела языком. – Ты такой старый пес, Тим. Саймон позеленел от зависти, когда узнал. Ведь так, Сай?

– Ничего подобного, – сказал Саймон.

– Она красива, она музыкальна, она не умеет готовить, и я обожаю ее, – весело продекламировал я, радуясь возможности превознести добродетели Эммы. – Еще она отзывчива и очень умна. Что вас еще интересует?

Дверь распахнулась, и в столовую ворвалась Петронелла с распущенными по ее халату русыми волосами и со взглядом голубых глаз, гневно устремленных на мать.

– Вы так шумите, что я не могу спать, – заявила она, топая ногой. – Вы делаете это *нарочно!*

Клер повела Петронеллу обратно в кровать. Анна-Грета задумчиво собирала тарелки.

– Саймон, у меня к тебе небольшой разговор, касающийся Конторы, – сказал я. – Мы не могли бы на четверть часа уединиться?

Саймон мыл, а я вытирал. На нем был голубой передник. Посудомоечной машины у них не было. Мы мыли, кажется, по несколько тарелок сразу.

– Так что ты хотел? – спросил Саймон.

Такого рода разговоры у нас были и прежде, в его скучном кабинете в Форин оффис, где больные уайт-холловские голуби разглядывали нас через грязные окна.

– Ко мне обратился некто, желающий получить кучу денег за некую информацию, – сказал я.

– А я думал, что ты в отставке.

– Я в отставке. Но это старое дело, которое вдруг всплыло вновь.

– Не стоит ворошить старые дела, они уладятся сами собой, – сказал Саймон. – Так что же он хочет тебе продать?

– Сведения о готовящемся вооруженном восстании на Северном Кавказе.

– Кто хочет восстать против кого? Спасибо, – сказал он, принимая от меня грязную кастрюлю. – Они восстанут без передышки. Это их главное занятие.

– Ингуши против русских и осетин. С некоторой поддержкой со стороны чеченцев.

– Это они пытались сделать в девяносто втором и потерпели неудачу. У них нет оружия. Только то, что им удалось украсть или купить с черного входа. А осетины, спасибо Москве, вооружены до зубов. Еще и сейчас.

– А что, если ингушам удалось раздобыть себе приличное вооружение?

– Они не могут. Они раздроблены и пали духом, и, что бы они ни достали, у осетин этого будет больше. Оружие – это конек осетин. Вот на прошлой неделе к нам поступили сведения, что они скупают оставленное Красной

Армией в Эстонии вооружение и с помощью русской разведки переправляют его сербам в Боснию.

– Мой источник настаивает, что на этот раз ингуши настроены серьезно.

– Вот как, он так говорит?

– Он утверждает, что их не удержать. У них новый вождь. Человек по имени Башир Хаджи.

– Башир – вчерашний герой, – сказал Саймон, яростно отдраивая с кастрюли засохшую грязь. – Храбр, как лев. Великолепный наездник. Суфист с черным поясом. Но, когда дело дойдет до встречи с русскими ракетами и вертолетами, больше духового оркестра я бы ему не доверил.

У нас и раньше бывали такие разговоры. Разоблачать некомпетентность разведки было любимым занятием Саймона Дагдейла.

– Если верить этому человеку, Башир достал самое современное западное оружие и собирается послать русских и осетин туда, откуда они пришли.

– Послушай! – Саймон бросил свою кастрюлю в раковину и мокрой рукой махнул в сторону моего лица, успев, к счастью, остановить ее в нескольких дюймах от него. – В девяносто втором ингуши трубили во все трубы и шли вооруженным маршем на Пригородный район. У них было несколько танков, несколько противотанковых комплексов и немного артиллерии, все русского производства, купленное или украденное, но немного. Против них были выставлены, – он загнул большой палец своей незанятой руки, – внутренние войска Северной Осетии, – он загнул указательный палец, – русские специальные части ОМОН, республиканские гвардейцы, терские казаки, – он добрался до мизинца, – и так называемые добровольцы из Южной Осетии, переброшенные русскими по воздуху, чтобы перерезать им глотки и заселить Пригородный район. Единственными союзниками ингушей оказались чеченцы, которые прислали им так называемых добровольцев и немного оружия. Чеченцы дружат с ингушами, но у них свои задачи, о которых русские прекрасно знают. Поэтому русские используют ингушей как средство давления на Чечню. И если твой человек серьезно убеждает тебя, что Башир или кто-нибудь еще затевает организованное массовое нападение на врагов Ингушетии, то либо это ему приснилось, либо Башир не в своем уме.

Высказавшись, он снова опустил руки в раковину.

Я попытался зайти с другого конца. Возможно, мне хотелось вытянуть из него что-то, что, как я подозревал, он знал. Мне хотелось еще раз услышать что-то в подтверждение эмоциональной логики Ларри.

– А как насчет справедливости всего этого? – предположил я.

– Справедливости *чего*?

Я явно выводил его из себя.

– Ингушского дела. Справедливость на их стороне?

Он с размаху бросил дуршлаг в раковину.

– *Справедливость*? – возмущенно повторил он. – Ты имеешь в виду, как в абсолютных понятиях вроде справедливости и несправедливости история обошлась с ингушами?

– Да.

Он схватил поддон и атаковал его металлической мочалкой. Саймон Дагдейл никогда не мог устоять перед искушением выступить в роли лектора.

– Триста лет их мордовали цари. Частенько получая сдачи. Пришли красные. Сначала была тишь да гладь, а потом все пошло по-прежнему. В сорок четвертом Сталин выселил их и объявил нацией преступников. Тринадцать лет в диких краях. Указом Верховного Совета были

реабилитированы, и им было позволено питаться с помоек. Пытались мирно протестовать. Не помогло. Восставали. Москва не пошевелила задницей. – Под яростным напором мочалки поддон возмущенно взвизгивал. – Коммунистов спустили в унитаз, пришел Ельцин. Были сладкие речи. Русский парламент принял туманное постановление о восстановлении прав репрессированных народов.

Он продолжал скрести поддон.

– Ингуши поверили. Верховный Совет принял закон о льготах для Ингушской республики в рамках Российской Федерации. Ура. Пять минут спустя Ельцин подложил под него тормоза, запретив изменение границ на Кавказе. Уже не так ура. Последний план Москвы предусматривает заставить осетин допустить возвращение ингушей в согласованном числе и на оговоренных условиях. Опять какая-то надежда. С моральной точки зрения, какой бы смысл в это понятие ни вкладывать, ингушский случай не допускает двух толкований, но в этом мире конфликтующих интересов, где мы имеем несчастье жить, это означает примерно: ну и зае...сь вы все. С точки зрения закона, хотя о каком законе можно говорить в дурдоме, именуемом постсоветским пространством, двух точек зрения быть не может. Осетины нарушают закон, требования ингушей абсолютно законны. Но когда это хоть что-нибудь меняло?

– А какова позиция Америки по этому вопросу?

– Позиция *кого-кого?* – Его вопрос должен был означать, что, будучи экспертом по Северному Кавказу, он никогда не слышал о такой вещи, как Соединенные Штаты Америки.

– Дяди Сэма, – сказал я.

– Мой дорогой, – никогда прежде он не говорил мне, что я ему дорог, – слушай *сюда*, не возражаешь?

В его речи появился американский акцент, который я определил бы как нечто среднее между речью плантатора с крайнего Юга и жаргоном уличного торговца овощами из лондонского Ист-Энда.

– Какие *ингуши*, парень? Из *ирокезов*, что ли, парень? *Амерингуши*?

Я изобразил должную улыбку, и, к моему облегчению, Саймон вернулся к своему обычному тусклому языку.

– Если у Америки там и есть постсоветская политика, то она заключается в том, чтобы не иметь никакой политики. Могу добавить, что это относится и ко всем остальным местам. Запланированное равнодушие – это самое мягкое определение, которое приходит мне в голову: поступать так, словно ничего не происходит, и отворачиваться в сторону, пока этнические чистильщики делают свою грязную работу и сохраняют то, что у политиков называется нормальным положением. На практике это означает, что в Вашингтоне говорят «о'кей» на все, что делает Москва, – при условии, что никто не пугает лошадей. Вот и вся политика.

– Так на что же остается надеяться ингушам? – спросил я.

– Только на Господа Бога, – выразительно ответил Саймон Дагдейл. – Там в Чечне порядочные нефтяные месторождения, пусть даже и попорченные неправильной эксплуатацией. Руды, древесина, всякие блага природы. Там есть Военно-Грузинская дорога, и Москва хочет, чтобы она была открыта, какого бы мнения ни держались на этот счет чеченцы и ингуши. И русская армия не собирается входить в Чечню, оставив Ингушетию на сладкое. А, черт!

Он плеснул чем-то на свой передник, и пятно прошло до брюк. Схватил другой передник и увидел, что он даже грязнее того, что был на нем.

– Попробуй поставить себя на место Кремля, – обвиняющим тоном произнес он. – Кого бы ты предпочел: кучку кровожадных горцев-мусульман или осовеченных, окрещенных, лижущих тебе задницу осетин, каждое утро и каждый вечер молящихся о возвращении Сталина?

– Так что бы ты стал делать на месте Башира?

– Я не на месте Башира. И даже во сне не могу на нем оказаться.

Внезапно, к моему изумлению, он заговорил так, как говорил Ларри, когда его темой были модные и немодные войны.

– Сперва я купил бы себе одного из этих самодовольных вашингтонских лоббистов с париками из синтетики. Это миллион долларов коту под хвост. Потом я обзавелся бы мертвым ингушским ребенком, предпочтительно женского пола, и показал бы его в самое ходовое телевизионное время на руках рассопливившегося телекомментатора, предпочтительно мужского пола и также в парике из синтетики. Я организовал бы запросы в конгрессе и в Объединенных Нациях. И потом, когда из этого, как всегда, абсолютно ни хрена не вышло бы, я послал бы все это ко всем чертям и, если к тому времени у меня еще остались бы деньги, поселился бы с семьей на юге Франции и видел бы все это в гробу и в белых тапочках.

– Или начал бы воевать, – предположил я.

Нагнувшись, он укладывал кастрюли в кухонный стол.

– Насчет тебя поступило предупреждение, – сказал он. – И я думаю, мне лучше сказать тебе о нем. Всякий, кто встретит тебя, должен сообщить об этом в отдел кадров.

– И ты это сделаешь? – спросил я.

– Не думаю, что я должен это делать. Ты друг Клер, а не мой.

Я подумал, что разговор окончен, но на душе у него, видимо, накопилось.

– Сказать по совести, ты мне, скорее, не нравишься. И твоя сраная Контора. Я никогда не верил ни одному твоему или твоих коллег слову, если только до этого не прочел его в газетах. Я не знаю, что ты хочешь разузнать сейчас, но я был бы благодарен тебе, если бы ты не стал разузнавать это здесь.

– Я только хочу, чтобы ты сказал мне, правда ли это.

– Что?

– Что ингуши затевают что-то серьезное. Они способны на это? У них есть оружие?

Было уже поздно, и я спрашивал себя, не слишком ли он уже пьян. Было похоже, что он теряет контроль над собой. Но я ошибался. Эта тема его интересовала.

– Вопрос интересный, – согласился он, проявляя чисто детский энтузиазм по поводу всего, что связано с катастрофами. – Судя по поступающим к нам сведениям, Башир, похоже, собирает заметные силы. Возможно, в твоих подозрениях что-то есть.

Я представил себе, что я Эмма, и попытался изобразить из себя святую невинность.

– Может ли кто-нибудь предотвратить взрыв? – спросил я.

– Разумеется. Могут русские. Они могут сделать то, что сделали в прошлый раз: спустить на них осетин. Обрушить ракеты на их селения. Выкалывать им глаза. Согнать их всех в долины, устроить для них гетто. Выслать их.

– Я говорю про нас. Про НАТО без американцев. В конце концов, все это происходит в Европе. Это наш двор.

– Превратить это в еще одну Боснию, ты хочешь сказать, – сказал он тем торжествующим тоном, который у Саймона Дагдейла означал попадание в тупик. – На русской земле? Прекрасная идея. И попросим к себе несколько частей русского спецназа, чтобы привести в чувство наших британских футбольных болельщиков, пока мы разбираемся там.

Злость, которую я возбуждал в нем, наконец нашла выход.

– *Предполагается*, – продолжал он более высоким голосом, – что Англия, как и всякая цивилизованная страна, обязана вставать между любыми двумя шайками бандитов, которым взбрело в голову истребить друг друга, я подумал, что он произносит мои мысли, – следить за порядком во всем мире и посредничать между дикарями, которые только что слезли с дерева. Что, начнем прямо сейчас?

– Что такое лес?

– Ты в своем уме? – поинтересовался он.

– С какой стати ингуш может предупреждать кого-нибудь о лесе?

Его лицо еще раз прояснилось.

– Осетинский Ку-Клукс-Клан. Серая толпа, подкармливаемая и инфильтрированная КГБ и его наследниками. Если завтра утром ты проснешься со своими яйцами во рту, что, с моей точки зрения, не самое страшное в этом мире, то это, скорее всего, будет делом рук «Леса».

Клер сидела в гостиной с журналом на коленях, глядя на экран черно-белого телевизора поверх своих очков.

– Ой, Тим, дорогой, *позволь* мне проводить тебя до вокзала, мы *совсем* не поговорили.

– Я вызову ему такси, – сказал Саймон от телефона.

Пришло такси, она взяла меня под руку и отвела к нему, а Саймон-берклианец остался дома, отрицая существование всего, что он не мог потрогать руками. Я припомнил все случаи, когда оказывал подобную же услугу Эмме, слоняясь по дому и строя гримасы своим отражениям в зеркалах, пока она прощалась с Ларри у крыльца.

– Я всегда считала тебя человеком дела, – шепнула Клер мне в ухо. – А бедняжка Сай так *академичен*.

Я не чувствовал к ней ничего. С ней спал какой-то другой Крэнмер.

Машину вел я, а Ларри сидел со мной рядом.

– Ты безумец, – сказал я ему, вынимая осенний лист из книги Саймона Дагдейла. – Опасный убежденный безумец.

Он помедлил с ответом, взвешивая мои слова, как он всегда делал перед тем, как дать отпор.

– Мое определение безумца, Тимбо, это человек, владеющий всеми фактами.

Была полночь. Я приближался к Чизвику. Съехав с главной дороги, я поплутал по проселочным и въехал в частную усадьбу. Перегруженный украшениями дом был в эдвардианском стиле. За ним чернела Темза, в поверхности которой отражались городские огни. Я припарковался, выудил из портфеля свой 0,38 и сунул его за пояс. Неся портфель в левой руке, я обошел сломанные ступеньки и остановился на тропинке. Речной воздух был влажен и липок. На скамейке обнималась парочка, она сидела у него на коленях. Я медленно пошел, стараясь не ступить в лужи, вспугивая нутрий и птиц. По другую сторону живой изгороди гости прощались с хозяевами:

– Спасибо, дорогие, все было *изумительно*, честное слово.

Это напомнило мне один из голосов Ларри. Я снова приблизился к дому, на этот раз с задней стороны. У заднего входа и у гаража горел свет. Выбрав самое низкое место изгороди, я пригнул вниз проволоку, бросил через нее свой портфель и перебрался сам, едва не кастрировав себя при этом. Приземлился я на подстриженном газоне рядом с розовой клумбой. На меня смотрели, протянув ко мне руки, два голых ребенка, но я направился к ним, потому что это были фарфоровые купидоны. Гараж был слева от меня. Я поспешил в его тень, прокрался к окну и заглянул в него. Машины не было. Он ужинает в городе. Его призвали на военный совет. Караул, караул, Крэнмер сбежал из клетки!

Я прокрался дальше вдоль стены, не спуская глаз с въездных ворот. Так я мог ждать часами. О мою ногу потерлась кошка. Я чувствовал зловонный запах лисицы. Потом я услышал машину и увидел ее фары, приближающиеся ко мне по грунтовой дороге. Я плотнее прижался к стене гаража. Машина проехала мимо и остановилась ярдах в пятидесяти дальше по дороге. Появилась вторая, получше: поярче фары, двухместная, потише мотор. Лучше без сопровождающих, Джейк, предупредил я его. Не загоняй меня в угол. Мне не нужна Еще Одна Шишка. С меня хватит одного тебя.

Отполированный до блеска «ровер» Мерримена резво вкатил в ворота и под уклон съехал к своему гаражу. За рулем был Джейк Мерримен, и кроме него в нем не было никого, ни шишек, ни нешишек, ни того, ни другого пола. Он въехал в гараж и погасил огни своей машины. Потом последовала одна из тех пауз, которые ассоциируются у меня с одинокими мужчинами определенного возраста: он сидел на водительском месте и при свете лампочки салона теревил что-то, чего я не мог видеть.

– Не поднимай шума, Джейк, – сказал я.

Я открыл для него дверцу и держал револьвер в нескольких дюймах от его головы.

– Не буду, – сказал он.

– Свет в салоне переключи на постоянный. Ключи от машины дай мне. Ладони положи на руль. Как закрыть ворота гаража?

Он вынул пульт управления.

– Закрой их, – сказал я.

Ворота закрылись.

Я сел за ним. Держа револьвер у его затылка, я левым локтем обвил его шею и осторожно притянул его голову к себе, пока наши щеки не оказались рядом.

– Манслоу сказал мне, что ты ищешь Эмму, – сказал я.

– Тогда он несчастный идиот.

– Где она?

– Нигде. Мы ищем и Петтифера, если ты заметил. Мы и его не нашли. А с сегодняшнего вечера будем искать и тебя.

– Джейк, я это сделаю. Ты ведь знаешь это, правда? И я застрелю тебя, если потребуешь.

– Меня не надо убеждать. Я на все согласен. Я трус.

– Ты знаешь, что я вчера сделал, Джейк? Я все написал в письме главному констеблю Сомерсета с копией в газету «Гардиан». Я описал, как кое-кто из работников Конторы решил обобрать русское посольство с любезной помощью Чечеева. И я взял на себя смелость упомянуть и твое имя.

– Тогда ты глупый ублюдок.

– Не в качестве заправилы, но в качестве человека, относительно которого можно быть уверенным, что в нужный момент на нужные вещи он

посмотрит сквозь пальцы. Пассивный сообщник, вроде Зорина. Письмо будет отправлено завтра в девять утра, если я не скажу пароля. А я не скажу этого пароля, если ты не скажешь мне, где Эмма.

– Я уже сказал тебе все, что нам известно про Эмму. Она шлюха. Что еще ты хочешь знать о ней?

Пот катился с него крупными каплями. Пот был на стволе 0,38.

– Мне нужны последние данные. И, пожалуйста не называй ее шлюхой, Джейк. Называй ее милой леди или как-нибудь еще, но не шлюхой.

– Она была в Париже. Звонила из телефонной будки на Северном вокзале. Ты хорошо ее выучил.

Это Ларри, подумал я.

– Когда?

– В октябре.

– У нас сейчас октябрь. Когда в октябре?

– В середине. Двенадцатого. Какого черта ты задумал? Успокойся. Приди с повинной. Вернись домой.

– Откуда ты знаешь, что это было двенадцатого.

– Американцы случайно засекли ее во время выборочного прослушивания.

– Американцы? С какой стати в этом деле замешаны американцы?

– Компьютерный век, милочка. Мы дали им образец ее голоса. Они прокрутили свои перехваты международных телефонных переговоров и выудили твою драгоценную Эмму, говорившую с фальшивым шотландским акцентом.

– С кем она говорила?

– С каким-то Филиппом.

Я не помнил никакого Филиппа.

– И что сказала?

– Что у нее все хорошо и что она в Стокгольме. Это была ложь, она была в Париже. Она хотела, чтобы все мальчики и все девочки знали, что она счастлива и что она собирается начать новую жизнь. С тридцатью семью миллионами любой согласился бы.

– Ты сам ее слышал?

– А ты думаешь, я поручил это какому-нибудь сопливному цэрэушнику?

– Повтори мне точно ее слова.

– «Я возвращаюсь туда, откуда я пришла. Я начинаю новую жизнь». На это наш Филипп ответил: «Лады, лады», как представители низших классов говорят теперь. Лады, лады. И еще: «Не подскажите, сколько время?» Она ждет тебя, тебе, наверное, будет приятно об этом узнать. Она будет верна тебе до гробовой доски. Я тобой горжусь.

– Ее слова, – сказал я.

– «Я буду ждать его, сколько потребуется» – это было сказано с *восхитительной убежденностью*. «Я буду ждать его, как Пенелопа, даже если придется ждать годы. Я буду прясть днем и распускать ночью, пока он не вернется ко мне».

С револьвером в одной руке и с портфелем в другой я бросился к своей машине. Я ехал на юг, пока не оказался в предместьях Борнмута, где в мотеле снял домик с завыванием ветра в коридорах и с тусклыми лампочками, обозначающими пожарные выходы. Я иду за тобой, повторял я ей. Держись. Ради Бога, держись.

Она до смерти замерзла и вся дрожала от холода. Я словно вытащил ее из ледяной воды. Она жалась ко мне, и ее холодная кожа прилипала к моей. Ее

лицо так крепко прижималось к моему, что у меня не было сил сопротивляться.

– Тим, Тим, проснись.

Она вбежала в мою комнату нагишом. Она сдернула с меня одеяло и обвилась вокруг меня своим замерзшим телом, шепча: «Тим, Тим», что означало в ее устах «Ларри, Ларри». Она дрожала и напрасно извивалась на мне, но я был не ее любовником, а просто телом, за которое она ухватилась, чтобы не утонуть, ближайшим, по которому она может добраться до Ларри.

– Ты тоже любишь его, – сказала она. – Ты должен.

И она ускользнула назад в свою спальню.

В Париже, сказал Мерримен. Звонила из телефонной будки на Северном вокзале. Ты хорошо ее выучил.

В Париже, подумал я. Начать новую жизнь.

– Там живет Ди, – сказала она, – там я заново родилась.

– Кто такая Ди? – спросил я.

– Ди – святая. Ди спасла меня, когда я лежала на дороге, как раздавленный червяк.

«Я начинаю новую жизнь», сказал Мерримен своим фальшивым голосом, повторяя слова Эммы. «Я возвращаюсь туда, откуда я пришла».

Серое утро без солнца. Длинная дорожка поднималась к дому, чайки и павлины встречали меня недовольными криками. Я назвал свое имя, железные ворота раздвинулись, словно я сказал «Сезам, откройся», и из стелющегося над лужайками тумана передо мной вырастал дом в стиле пародии на тюдоровскую эпоху, теннисный корт, на котором никто никогда не играл, и бассейн, в котором никто не плавал. На высокой белой мачте безжизненно висел Юнион Джек. За домом поле для гольфа. Еще дальше – на полпути к небу – похожий на призрак старинный боевой корабль. Он уже был там, когда я впервые отважился подняться на этот холм пятнадцать лет назад и робко предложил Оки Хеджесу, чтобы он, если соблаговолит, рассмотрел возможность ненадолго спуститься на землю и помочь нам в определенных делах, не совсем не имеющих отношения к торговле оружием.

– Помочь каким образом, сынок? – спросил Оки из-за своего наполеоновского стола. Некоторое время официально он занимался торговлей на острове Уайт, позже область его предпочтений по части занятий бизнесом переместилась на борнмутский холм.

– Ну, сэр, – сказал я, смущаясь. – Мы знаем, что вы вели переговоры с министерством обороны, и мы подумали, что вы могли бы побеседовать и с нами тоже.

– Побеседовать о чем, сынок? – уже более раздраженно. – Выкладывай начистоту. В чем суть?

– Русские используют западных дилеров для тайных поставок оружия.

– Конечно, используют.

– Некоторые из этих дилеров знакомы вам по бизнесу, – сказал я, воздерживаясь от того, чтобы назвать их его партнерами по бизнесу. – Мы хотели бы, чтобы вы были нашей станцией прослушивания, чтобы вам можно было задавать вопросы, чтобы мы беседовали на регулярной основе.

Последовало долгое молчание.

– Ну и? – спросил наконец он.

– Что «ну и»?

– Ну и что вы предлагаете, сынок? Какую конфетку?

– Никакой. Речь идет о вашей родине.

– Пусть меня лучше черти в аду будут поджаривать, – с чувством сказал Оки Хеджес.

Тем не менее после нескольких прогулок по ухоженному парку Оки Хеджес, потерявший детей вдовец и один из самых крупных воротил незаконной торговли оружием, решил, что ему пора присоединиться к сонму праведников.

Высокий молодой человек в форменной тужурке провел меня в гостиную. У него были широкие плечи и короткая стрижка, что Оки предпочитал видеть у своих высоких молодых людей. Двойную дверь отделанного деревянными панелями кабинета Оки сторожили два бронзовых воина с луками и стрелами.

– Джейсон, пожалуйста, принесите нам поднос славного чая, – сказал он, одновременно пожимая мою кисть и предплечье. – И, если найдется упитанный телец, заколите его. Мистер Крэнмер заслуживает только самого лучшего. Как ты поживаешь, сынок? Я сказал им, что ты остаешься поужинать.

Он коренаст, силен, ему под семьдесят, этому маленькому диктатору в коричневом костюме от хорошего портного, с золотой часовой цепочкой на двубортной жилетке, закрывающей плоский брюшной пресс. Когда он здоровается с вами, его неширокую грудь наполняет гордость; он словно назначает вас своим солдатом. Когда он жмет вам руку, ваша кисть тонет в его боксерском кулачище. Широкое окно открывает вид на парк и на море за ним. Кабинет увешан полированными трофеями, наиболее дорогими сердцу хозяина: из крикетного клуба, где он председатель, и из полицейского клуба, где он пожизненный президент.

– Нет никого, с кем мне поговорить приятней, чем с тобой, Тим, – сказал Оки. Его манера общения позаимствована у стюардов «Британских авиалиний»: тон меняется от собеседника к собеседнику и от класса к классу. – Затрудняюсь сказать, сколько раз я почти снимал трубку вот этого телефона, чтобы сказать тебе: «Тим, приезжай сюда и давай потолкуем, как разумные люди». От того молодого человека, которому ты меня представил, проку, как от козла молока. Начать с того, что ему нужен хороший парикмахер.

– Ну что ты, Оки, – сказал я со смехом. – Он не *так* уж плох.

– Да, ты так думаешь? А по-моему, он даже не просто плох. Он фантастически плох.

Мы сели, и я покорно выслушал перечень упущений моего неудачливого преемника.

– Ты открыл передо мной двери, Тим, и мне удалось хоть кое-что сделать для тебя. Пусть ты не масон, но ты поступаешь, как они. На протяжении череды лет у нас возникло взаимопонимание, и это было прекрасно. Мне жаль только одного – я так и не познакомил тебя с Дорис. Но этот твой новый юноша, которого ты навязал на мою голову, просто какая-то канцелярская крыса. И от кого вы слышали вот это, и кто сказал вам вот то, и почему они сказали то, что сказали, и повторите-ка все это еще раз. В жизни так не бывает, Тим, жизнь течет. Ты это знаешь, я это знаю, так почему же он этого не знает? У него нет ощущения *времени*. Все, что ты знаешь, относится уже ко вчерашнему дню. Но я так понимаю, что ты не собираешься сообщить мне, что снова впрягся в эту телегу, ведь так?

– Ну, во всяком случае, надолго не впрягся, – сказал я осторожно.

– А жаль. Ну ладно, так в чем твоя проблема? Я ведь знаю, что без нужды ты никогда не приходил, и я никогда не отпускал тебя с пустыми руками.

Я бросил взгляд на дверь и понизил голос:

– Дело касается Конторы... и не совсем, если ты понимаешь меня.

– Нет, не понимаю.

– Это все не для протокола. Вопрос сверхделикатный. Им нужны ты, я и никто больше. Если тебя это беспокоит, скажи мне это сейчас.

– Меня беспокоит? Ты шутишь. – Он подхватил мой тон. – Если хочешь моего совета, им надо проверить этого парня. Он пацифист. Чего стоят одни только его кричащие брюки.

– Мне нужны дополнительные сведения кое о ком, кем мы уже занимались в недобрые старые времена.

– О ком?

– Он наполовину британец, наполовину турок, – сказал я, играя на обостренном расовом чувстве Оки.

– Все люди равны, Тим. Все религии ведут к одним вратам. Как его зовут?

– Он был в хороших отношениях с некоторыми людьми из Дублина и в еще более хороших с русскими дипломатами в Лондоне. Он занимался перевозками оружия и взрывчатки на траулерах с Кипра в Северную Ирландию. Ты тоже тогда на этом заработал, помнишь?

Оки уже улыбался недоброй улыбкой.

– Через Берген, – сказал он. – Жирный маленький торговец коврами по имени Айткен Мустафа Мей^[23].

Перевести деньги на счет АМ в Макклсфилде, подумал я, не забыв мысленно поздравить Оки с отменной памятью.

– Нам нужно, чтобы ты приложил ухо к земле, – сказал я. – Его личные адреса, деловые адреса и имя его сиамской кошки, если она у него есть.

У Оки имелся вполне установившийся ритуал прикладывания уха к земле. Каждый раз, когда он это делал, перед моим мысленным взором возникала огромная карта Англии, совершенно неизвестной для нас, бедных шпионов. На ней по секретным компьютерным каналам между посвященными происходил таинственный обмен сигналами и заключались загадочные договоры. Первым делом Оки вызвал к себе мисс Пуллен, женщину с каменным лицом, одетую в серый деловой костюм, которая стоя записала то, что он продиктовал ей. Ее другой заботой была автобиография, которой Оки собирался осчастливить замерший в нетерпеливом ожидании мир.

– Да, и еще произведите осторожный зондаж фирмы «Прочные ковры» откуда-то с севера, принадлежащей мистеру Мею. Айткену М.Мею, кажется, – произнес он нарочито небрежным тоном, продиктовав ей список других поручений, имевших целью скрыть его истинное намерение. – У нас с ними была когда-то не очень большая сделка, но они теперь совсем не те, что были прежде. Я хочу знать их финансовое состояние, главных клиентов, личные адреса, номера домашних телефонов – все, как обычно.

Десятью минутами позже мисс Пуллен вернулась с отпечатанным листом, а Оки удалился в боковую комнату, закрыл за собой дверь и вел телефонные переговоры, из которых до меня доносились только отдельные слова.

– Ваш мистер Мей решил скупить весь свет, – объявил он по возвращении.

– Для кого?

– Для мафии.

Я прикинулся изумленным.

– Для итальянской мафии? – воскликнул я. – Но, Оки, у нее и так все оружие на свете.

– Не прикидывайся дурачком. Для русской мафии. Ты что, газет не читаешь?

– Но Россия доверху набита оружием и всем остальным. Военные там уже несколько лет распродают его всем желающим.

– Там мафий много, и все разные. Возможно, какой-нибудь захотелось чего-то особенного, и она не хочет, чтобы соседи заглядывали ей в кошелек. Возможно, завелись мафии с твердой валютой, которые хотят купить за нее что-то особенное.

Он изучил список мисс Пуллен, а потом свои записи.

– Мелкая сошка он, твой мистер Мей. Жуликоватый торгаш. Я удивился бы, если бы у него товара оказалось больше, чем одни демонстрационные образцы.

– Но *какая* мафия, Оки, ведь их десятки.

– Это все, что мне известно. Официально он посредник крупного государства, которое не желает фигурировать на сцене, поэтому его официальный контрагент – Иордания. А неофициально это мафия, и он вляпался в это дело по уши.

– Почему?

– Потому что он загреб больше, чем сможет проглотить, вот почему. Он старьевщик, вот кто он, грязный старьевщик. И вдруг ни с того ни с сего у него «стингеры», скорострельные пушки, противотанковые ракеты, крупнокалиберные минометы и новейшие штучки – вроде ночных прицелов. Куда он отправляет все это – отдельная история. Одни говорят, что на север Турции, другие – что в Грузию. Выскачка он. На днях он угощал моего друга ужином в «Кларидже», можешь себе представить? Я удивляюсь, как его пускают на порог. Вот, держи. И никогда не доверяй человеку, у которого столько адресов.

Он протянул мне листок, который я положил в свою папку. Приглашенные Джейсоном в столовую, мы поужинали за дубовым двадцатифутовым столом. Мы пили минеральную воду, и Оки Хеджес по очереди добродушно проклинал интеллектуалов, евреев, черных, желтых и голубых. А Тим Крэнмер улыбался своей дежурной улыбкой и жевал свою рыбу, потому что именно этим он занимался в угоду Оки Хеджесу уже пятнадцать лет: льстил тщеславию маленького человека, сносил оскорбления, пропускал мимо ушей его экстремистские высказывания ради блага и безопасности Англии.

– Все это врожденные уроды, я так считаю. И удивляюсь, почему вы их всех не перестреляете.

– Проблема в том, Оки, что тогда никого не останется.

– Их не останется, да. Останемся мы. А больше ничего и не требуется.

После ужина мы любуемся парком, в котором ни листика нет на своем месте. И последними приобретениями для его коллекции старинного оружия, которую он, как вино, хранит в камере с регулируемым климатом, куда мы спускаемся на лифте, стилизованном под опускающую решетку крепостных ворот. И уже только после четырех он стоит на своем крыльце со сложенными на груди руками. Я уже забрался в свой скромный «форд», Юнион Джек полощется за ним на своем флагштоке.

– И это все, чем родина тебя отблагодарила? – спрашивает он, выставив на меня свой подбородок.

– Теперь новые времена, Оки. Ни больших трат, ни сверкающих красивых машин.

– Заходи ко мне чаще, может быть, я куплю тебе красивую, – говорит он.

Я снова ехал, и движение на время погасило мои страхи. По дороге мне встречались мотели, но при мысли о прокуренных номерах и засаленных покрывалах у меня пропадало желание остановиться, и я ехал дальше, пока не устал смертельно. Начался дождь, небо впереди было темное. Внезапно мне, как Эмме, захотелось уюта, хотя бы в виде приличного ужина. В первой же деревне я нашел то, что мне было нужно: старую придорожную гостиницу, меню в рамке и мощный булыжником двор. За конторкой дежурила девушка со свежим деревенским лицом. Я чувствовал запах жареного мяса и дым очага. Я был спасен.

– Если можно, на тихой стороне дома, – сказал я, пока она изучала свою регистрационную книгу.

Именно тогда мой взгляд упал на лежавший у ее голого локтя вверх ногами для меня листок с напечатанными на нем цифрами. Обычно у меня плохая память на цифры, но, если речь идет об опасности, мой нос натерт собакой. Имен на листке не было, только группы чисел, как в шифровальном блокноте: по четыре группы в строке и по четыре цифры в группе. Заголовок листа гласил: «СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕРКИ», а под ним было название компании кредитных карточек, в которой Колин Бэйрстоу был старым клиентом.

Был, но больше не будет. Номер моей карточки на имя Бэйрстоу красовался в нижней части правого столбца под шапкой заглавными буквами: «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ».

– Как вы будете оплачивать счет, сэр? – спросила дежурная.

– Наличными, – сказал я и достаточно твердой рукой вписал в регистрационную книгу свои данные: Генри Портер, ул. Молтингс, 3, Шорем, графство Кент.

Я сидел в своей комнате. Машина, думал я. Избавиться от машины. Снять номерные знаки. Мне хотелось успокоиться. Если «форд» в розыске, то он опасен. Но насколько активно его ищут? Насколько активно ищут меня? Насколько активно Пью и Мерримен могут позволить себе искать меня без того, чтобы раскрыть свои карты перед полицией? Иногда, говорил я обычно своим подопечным, приходится сделать глубокий вдох, закрыть глаза и прыгнуть.

Я принял ванну, побрился и надел чистую рубашку. Я спустился в обеденный зал и заказал бутылку самого лучшего кларета. Потом я лежал в кровати и слушал голоса прорицательниц: *«Не ездь на север, Миша... Пожалуйста, Миша, не надо безрассудства... Если он уже поехал, он должен прервать поездку»*.

Но маршрут моей поездки я выбирать не мог. Меня волокло, и какая разница, Лес или целая долина теней следила за мной, проезжавшим мимо.

Склон холма был крутым, и дом, как крутая пожилая леди, твердо стоял на нем среди своих пожилых друзей. У него была внешность воскресной школы, и крыльцо с матовыми стеклами сияло в лучах утреннего солнца, как Престол Небесный. Его тюлевые занавески были как кружевной воротничок набожной прихожанки, ее же тайная печаль была в его облике. Еще у него была живая изгородь, кормушка для птиц и каштан, роняющий золотые листья. Поросшая утесником вершина холма высилась за ним, как зеленый холм из псалма, а над ней раскинулись небеса: голубое небо солнечного света, черное небо Страшного Суда и чистое белое небо английского севера.

Я нажал кнопку звонка и услышал топот молодых сильных ног по лестнице. Было двадцать пять минут десятого. Дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с хорошенькой молодой женщиной в джинсах, клетчатой рубашке и босой. Она улыбалась, но ее улыбка угасла, когда она поняла, что перед ней не тот, кого она ждала.

– Ой, простите, – сказала она, смущаясь, – мы думали, что это мой друг с приятным сюрпризом. Правда, Али? Мы подумали, что это папка.

Ее акцент был похож на австралийский, но мягче. Я решил, что это новозеландский. Из-за ее спины выглядывал босоногий мальчик наполовину азиатской внешности.

– Миссис Мей? – спросил я.

Она снова заулыбалась.

– Почти.

– Простите, что я так рано. У меня встреча с Айткеном.

– С Айткеном? Здесь, дома?

– Меня зовут Пит Брэдбери. Я покупатель. У нас с Айткеном общие дела. На половину десятого он назначил мне встречу здесь.

Мой тон был деловой, но добродушный: так могли бы болтать двое на крыльце солнечным осенним утром.

– Но он *никогда* не приводит покупателей домой, – возразила она, и в ее голосе промелькнула просительная, слегка недоверчивая нотка. – *Все* идут в магазин. Ведь правда, Али? Так заведено. Папка никогда не занимается делами дома, правда, малыш?

Мальчик взял ее за руку и потянул назад, в дом.

– Сказать по правде, я не совсем обычный покупатель. У нас уже были сделки, и я знаю, что он, как правило, предпочитает беседы с глазу на глаз, но он сказал, что на этот раз хочет показать мне что-то особенное.

Мои слова произвели на нее впечатление.

– Так вы большой, *крупный* покупатель? Тот, который собирается сделать нас сказочно богатыми?

– Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что и *меня* он сделает богатым.

Ее смущение усилилось.

– Он *не мог* позабыть о встрече, – сказала она. – Кто угодно, только не Айткен. О вашей сделке он думает день и ночь. Наверное, он уже едет сюда.

Ее сомнения вернулись:

– А вы *уверены*, что не ошиблись и что встреча у вас не в магазине? Я хочу сказать, что из аэропорта он вполне может поехать туда. Иногда он ведет себя *странно*.

– Я никогда не был у него в магазине. Мы всегда встречались в Лондоне. Я даже не знаю, как найти его магазин.

– Я тоже. Али, перестань. Я хочу сказать, что он никогда так не поступал. Видите ли, он был за границей, но должен вот-вот вернуться. Я хочу сказать, что он уже должен был бы вернуться.

Я подождал, пока она выговорится.

– Послушайте, почему бы вам не пройти в дом и не выпить чаю, пока он не появится? Он *ужасно* расстроится. Когда заставляют *ждать его*, он просто выходит из себя. В *этом* смысле он ни капли не восточный человек. Меня зовут Джули, кстати.

Я прошел за ней в дом, снял туфли и поставил их на полку возле двери рядом с обувью всей семьи.

Гостиная была кухней, детской и общей комнатой одновременно. В ней поместились старый кукольный домик, плетеная мебель и расположенные в

приятном беспорядке книжные полки с наложенными в них как попало книгами на английском, турецком и арабском. В ней нашли себе место блестящий самовар, коран и вышивки по шелку. Я узнал коптский крест и османскую гвоздику. Зелено-золотой волшебный глаз висел над дверью, отгоняя злых духов. На резном бюро богиня языческого матриархального культа скакала, свесив ноги набок, на вполне очевидном жеребце. А на телевизоре стоял цветной студийный снимок Джули и бородатого мужчины, сидящих среди розовых роз. По телевизору шел детский мультфильм. Джули убавила звук, но Али запротестовал, и она снова сделала его громким. Она заварила чай и поставила на стол печенье. У нее были длинные ноги, длинная поясница и манерная походка манекенщицы.

– Как это необычно, как глупо, как не похоже на него. Вы проделали такой путь из Лондона – и только вот ради *этого*.

– Никакой трагедии не случилось. Он давно в отъезде?

– Неделю. А на чем вы специализируетесь?

– Простите?

– Из какой области ваши сделки?

– О, все подряд: хамаданы, белуджи, килимы. И самое лучшее, когда я могу себе это позволить. А вы участвуете в бизнесе?

– Не совсем. – Она улыбнулась, в основном окну, с которого она не спускала глаз. – Я преподаю в школе, где учится Али. Ведь так, Али?

Она вышла в соседнюю комнату, мальчик побежал за ней. Я услышал, что она звонит по телефону. Воспользовавшись моментом, я подробнее рассмотрел снимок счастливой парочки. Фотограф предусмотрительно снял их сидящими, потому что стоя мистер Айткен Мустафа Мей запросто мог оказаться на голову короче своей дамы, даже несмотря на высокие каблуки своих начищенных туфель с модными пряжками. Но его улыбка была гордой и счастливой.

– Вечно приходится довольствоваться автоответчиком, – сказала она, вернувшись в гостиную. – Одно и то же всю неделю. Там в магазине есть продавец и секретарша. Но почему же они не выключили автоответчик и не снимают трубку сами? Они должны быть там с девяти.

– А вы не можете сходить к ним домой?

– Айткен нарочно нанял этих посторонних людей! – пожаловалась она, качая головой. – Он зовет их «странной парочкой», *она* – бывшая библиотечарша или что-то в этом духе, *он* – отставной военный. Они живут в коттедже на пустоши и ни с кем не общаются, кроме своих коз. Поэтому он и нанял их, ей-Богу.

– И у них нет телефона?

Она снова встала у окна, расставив босые ноги.

– Вместо водопровода – колодец, – возмущенно сказала она, – ни канализации, ни телефона, ничего. А вы *точно* уверены, что он не назначил вам встречу в магазине? Простите, я не хочу выглядеть дурочкой или невежливой, но он никогда, *никогда* не назначал своих деловых встреч дома.

– Куда он ездил?

– В Анкару, в Багдад, в Баку. Вы знаете, какой он. Когда он чует носом возможность заработать, его ничто не остановит.

Она побарабанила пальцами по стеклу.

Эти его мусульманские привычки, – сказала она. – Не допускать женщин к делам. А вы давно его знаете?

– Лет шесть-семь.

– Я предпочла бы, чтобы он рассказывал о людях, с которыми встречается. Я уверена, что среди них есть очень, очень интересные.

На холм поднялось такси и проехало мимо, не останавливаясь. Оно было свободно.

– И за что только он платит им *деньги*? – с отчаянием воскликнула она. – Двое взрослых людей должны сидеть, как идиоты, и разговаривать с дурацкой машиной. Мне просто *неловко* перед вами. Айткен убьет их, просто убьет.

– О, Боже.

– И у него просто *смешное* предубеждение против того, чтобы сообщать мне номер своего рейса, – сказала она. – Он боится, что они взорвут его или что-нибудь в этом духе. Я хочу сказать, что порой он ведет себя *странно*. Я иногда спрашиваю себя, не стану ли я похожей на него, или он станет похож на меня?

– А какая у него машина?

– «Мерседес». Голубой с отливом. Новенький. Двухдверный. Его гордость и его радость. Он купил его на доход от вашей сделки, – добавила она.

– Где он оставляет ее, когда летит за границу?

– Иногда в аэропорту, иногда у магазина. Когда как.

– Он поехал не с Терри?

– А кто это?

– В некотором смысле компаньон мой и Айткена. Терри Олтмен. Занятный такой парень. Много говорит. У него новая красивая подружка по имени Салли. Салли Андерсон. Но друзья по некоторым соображениям зовут ее Эммой.

– Если они имеют отношение к бизнесу, то я не могу знать их.

Я встал.

– Послушайте, что-то явно напутано. Нам не стоит ждать его здесь. Я поеду в магазин и попробую найти там секретаршу. Если я что-нибудь разузнаю, я позвоню вам. Адрес у меня есть, не волнуйтесь. Я пешком спущусь с холма и возьму такси.

Я взял свои туфли с полки, надел их, завязал шнурки и вышел на улицу. В горле у меня стоял ком, но моя душа пела.

Глава 12

Я ехал и холмы становились мрачнее, дорога – круче и уже, а скалы на вершинах холмов почернели, словно обожженные. Меня окружили каменные стены: я въехал в деревню. Крытые шифером крыши, крошащиеся заборы, старые автопокрышки и пластиковые пакеты. По мостовой бродили поросята и куры, овца с интересом разглядывала меня, но ни одного человеческого лица я так и не увидел. На сиденье рядом со мной лежала моя карта и список адресов Айткена Мея, полученный от Оки.

Каменные стены расступились, и подо мной развернулась широкая панорама долины с пятнами освещенных солнцем участков и лентами потоков. Гнедые кони паслись на идеальных прямоугольниках лугов. Но ощущение, которое эта мирная картина будила во мне, было ощущением, что все это опоздало. Я чувствовал не радость, а отчаяние. Почему я не играл на этих лугах ребенком, не бродил по ним мальчиком? Почему я не бегал вон на то поле, не жил вон в том коттедже, не лежал с девушкой возле вон того ручья? Почему я никогда не рисовал все эти краски? Эмма, всеми этими запоздалыми желаниями была ты!

Свернув на обочину, я сверился с картой. Невесть откуда возле окна моей машины возник старик с шишковатым лицом, напомнивший мне школьного сторожа моей начальной школы.

– Вон за тем баком... повернешь направо к церквушке... поедешь прямо, пока не увидишь перед собой мельницу... и езжай до упора...

По горбатым холмам я направился к посадкам голубых елей, которые оказались сначала зелеными, а потом пятнистыми. Взобравшись на первый холм, я увидел Ларри в его широкополой шляпе. Одной рукой он просил подвезти его, а другой обнимал Эмму, но они оказались просто путниками с собакой. Взобравшись на второй холм, я увидел их в зеркале, они сделали обидный жест в мою сторону. Но мои страхи были похуже моих фантазий. Они нашептывали мне недоговоренные фразы, еще звучавшие в моих ушах. *Неделю, сказала Джули... приходится довольствоваться автоответчиком... одно и то же всю неделю...*

Передо мной выросла церковь. Я свернул направо, как велел старик, и увидел полуразрушенную мельницу, уродину с пустыми глазницами окон. Дорога превратилась в проселок, я пересек брод и оказался в сельских трущобах посреди гниющей капусты, пластиковых бутылок и всего мусора, который способны произвести туристы и фермеры вместе. С порога обитого жестью сарая за мной следили недобрыми глазами дети. Я пересек еще один ручей, а может быть, тот же самый, обогнул каменоломню и увидел ярко-оранжевую стрелку с надписью «ПРОЧНЫЕ КОВРЫ ТОЛЬКО ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ» под ней. Я последовал указанию стрелки и обнаружил, что опустился я ниже, чем мне казалось, потому что передо мной теперь открылась вторая долина со склонами, густо поросшими лесом, над которым зеленели луга и пустоши. Верхняя часть склонов тонула в облаках. Еще одна стрелка направляла меня к деревянным воротам. Желтая табличка на них гласила: «ЧАСТНАЯ ДОРОГА». Я открыл ворота, въехал и закрыл ворота за собой. Еще одна табличка сообщала: «ПРОЧНЫЕ КОВРЫ ПРЯМО (ТОЛЬКО ПРОДАЖА)».

По обе стороны грунтовой дороги тянулась колючая проволока, на которой висели клочья овечьей шерсти. Выше среди скал паслось стадо. Дорога поднималась в гору. Я проехал по ней и ярдах в трехстах перед собой увидел цепочку неказистых каменных фермерских построек, часть которых была с окнами, а часть без. Все вместе они напоминали товарный поезд: самые высокие вагоны были слева, а за ними тянулись курятники и свинарники. Через белый мостик дорога вела к островку пустоши перед главными воротами, на которых висела табличка: «ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ». Оранжевая стрелка указывала прямо на здание.

Миновав мостик, я увидел припаркованный на подъездной дорожке «мерседес», стоявший лицом ко мне. Она сказала – «с отливом», но мне было трудно судить, с отливом он был или просто голубой. Она сказала – двухдверный. Но машина стояла носом ко мне, и я не видел дверей. Тем не менее мое сердце забилося чаще. У меня было дурное предчувствие. Айткен Мей здесь. Он вернулся. Он в здании. С ними. Ларри тоже был здесь. Ларри отправился на север, пренебрегши предостережением, – а когда он прислушивался к предостережениям? А потом он поехал в Париж разыскивать Эмму.

Я подкатил ближе к зданию, но спустившееся с холма белое облако сначала накрыло его, не давая мне войти, потом проплыло надо мной вниз по дороге. Здесь были еще две машины, одна – «фольксваген-гольф», а другая – старенький серый «дормобил» с выцветшим красным треугольным

флажком на антенне и на спущенных шинах. «Фольксваген» стоял на дальнем конце двора, «дормобил» – сиротливо в сенном сарае, и это было, кажется, его последнее пристанище. Я видел теперь, что «мерседес» действительно двухдверный и что его краска действительно с отливом, а также что его стекла покрыты толстым слоем пыли. *Он купил его на прибыль от вашей сделки*, сказала Джули. Я увидел антенну радиотелефона и вспомнил гордые слова, произнесенные с акцентом: *«Привет, Салли. Это „Прочные ковры“, я говорю из машины...»*

Припарковав свой красный «форд», я оказался лицом к лицу с проблемой, которую мне давно пора было решить: взять портфель с собой или оставить его в машине? Загораживаясь от дома своей спиной и используя в качестве ширмы открытую дверцу, я вытащил из портфеля револьвер и опять засунул его за пояс. Это движение, похоже, начинало входить у меня в привычку. Портфель я запер в багажник. Проходя мимо голубого «мерседеса», я провел пальцем по его радиатору. Он был холодным, как могила.

Покрашенная зеленой краской передняя дверь здания была защищена от ветра сложенным из грубого камня крыльцом. Дверной звонок был снабжен переговорным устройством. Рядом с кнопкой звонка полированная стальная пластинка с цифрами. Хочешь – звони, хочешь – набирай комбинацию. На двери был глазок и полосы матового стекла по бокам, но света за ними не было, и я подумал, что изнутри они, наверное, чем-то загорожены. К двери припилена визитная карточка с загнутыми краями: «Айткен Мустафа Мей, БАДА, Восточные ковры, Антиквариат, Председатель, компания „Прочные ковры“, Гмбх». Я нажал кнопку и услышал прозвеневший внутри звонок: один из тех перезвонов бубенчиков, которые должны успокаивать, но на деле выводят из себя. Глядя на «фольксваген», я позвонил во второй раз. Номера получены в этом году, местные, как и у «мерседеса». Голубой, как и «мерседес». Стекла, как и у «мерседеса», покрыты слоем пыли и грязи. Когда снаряженный Айткеном корабль доберется до берега, подумал я, у каждого будет по новой машине. *Так вы большой, крупный покупатель? Тот, который собирается сделать нас всех сказочно богатыми?* Нет, дорогая, это не я, а тот, у кого тридцать семь миллионов, украденных для того, чтобы завалить Кавказ коврами.

Я трижды нажал кнопку звонка. Чтобы не слышать больше бубенчиков, я прошел вдоль фасада постройки в поисках еще одной двери, но ее не было, а в окна был виден узкий коридор со стеной из побеленного кирпича. И, когда я стучал в стекла, ни одно улыбающееся дружеское лицо не выглянуло, чтобы поприветствовать меня, даже лицо Ларри.

Я вышел на задворки здания, пробираясь по остаткам старой лесопилки: заржавевшим дисковым пилам, громоздким станкам с порванными ремнями, куче распиленных досок, лежавших так, как будто они были брошены здесь много лет назад, ржавому топору, кучам опилок, заросшим травой и мхом; все это было словно брошено внезапно. И я спрашивал себя, что же такое тут стряслось много лет назад, что рабочие вдруг бросили работу и бежали, оставив все вот в таком виде. Похоже, что Айткен Мустафа Мей, его продавец и секретарша точно так же бросили свои роскошные новые машины и последовали за ними.

Тогда я и увидел кровь, хотя, возможно, я увидел ее раньше, но искал другие вещи, о которых можно было бы думать. Одну бесполою полосу крови, крови, может быть, Эммы, а может быть, и Ларри, подернувшийся тонкой рябью островок около фута длиной и дюймов шести шириной,

спекшийся, лежавший на опилках. Такой реальный, такой материальный, что, наклонившись к нему, я сначала принял его за твердый предмет, а не за жидкость, и хотел было взять в руки, но потом я увидел, как моя рука отдернулась. Мне почудилось, что бледное лицо мертвой Эммы смотрит на меня сквозь опилки. Я запустил в них свою руку. До самой земли это были только опилки.

Но никакой ужасный след, никакие пятна или капли не вели зоркого следопыта дальше к его цели. Была полоса крови, она лежала на куче опилок, а опилки лежали в пяти шагах от задней двери. А между опилками и задней дверью я разглядел много отпечатков торопливых ног в обоих направлениях, на этот раз не бесполой, а явно мужских: либо башмаков, либо обычных ботинок с плоской подошвой и без каких-либо особых примет. Но все же это были явно мужские ботинки, и они проделали путь туда и обратно достаточное число раз и с достаточной мужской торопливостью и энергией, чтобы образовать маслянистую реку жидкой грязи, заканчивавшуюся у островка пролитой крови, так решительно отказавшегося смешаться с опилками, на которых он покоем.

Или, возможно, река там вовсе и не кончалась. Потому что за кучей опилок теперь я разглядел следы шин двух одиночных колес, работавших в паре. Для машины они были слишком узки, но вполне подошли бы для мотоцикла с той оговоркой, что в каждой колее было по одному колесу, и, следовательно, – занятая главным образом принадлежностью лужи крови, моя голова теперь решила не спешить, – и, следовательно, это скорее было нечто вроде сельскохозяйственного прицепа.

Прицеп? Тележка вроде тех, на которых по забитым летним дорогам Сомерсета возят парусные яхты и которые проклинаят все остальные водители? Орудийный лафет? Похоронная тележка? *Такой* прицеп? О том, куда он уехал, можно было только гадать, потому что в нескольких ярдах от этого места колеса выбрались на бетонную дорожку и их следы исчезали. А бетонная дорожка и вовсе вела в никуда: с холма уже скатывалось еще одно белое, свежее, с четкими границами облако.

Задняя дверь была заперта, и это сначала меня расстроило, а потом разозлило, хотя я отлично знаю, что из всех бесполезных эмоций, которым я подвержен, – печали, отчаяния, протеста, страха – злость является наименее продуктивной и наименее взрослой. Я уже направился к машинам с намерением методично осмотреть их, когда злость заставила меня остановиться на полпути, вернуться к запертой двери и наброситься на нее с кулаками. Я колотил ее и кричал: «Откройте, черт вас возьми!» Я кричал: «Ларри! Эмма!» Несколько раз я бросался на нее с очень малыми последствиями для нее и с заметно большими – для моего плеча. У меня появилась раскованность, порожденная моей неразумностью. Я орал: «Мей! Айткен Мей! Ларри, ради Бога! Эмма!» И тут я вспомнил о ржавом топоре возле кучи досок. Более профессиональный шпион выстрелил бы в замок из пистолета, но я не чувствовал себя профессионалом и в своих растрепанных чувствах даже не убедился как следует, что дверь заперта, я просто набросился на нее, как возле пруда я набросился на Ларри, только на этот раз с топором.

Мой первый удар проделал в двери порядочную щель и поднял в воздух целую стаю протестующих грачей. Это удивило меня, потому что деревья вокруг дома были немногочисленными и по большей части засохшими, если не считать цепочки отвратительных, изуродованных ветрами ветел, которые, казалось, одновременно росли и умирали. Второй удар пришелся мимо двери

и в дюйме мимо от моей левой ноги, но я размахнулся еще раз и ударил топором снова. На четвертый раз дверь с треском разлетелась на куски. Я метнул топор в отверстие и шагнул вслед за ним сам с криками: «Всем выйти!», «Встать к стене!» и «Ублюдки!». У меня снова был приступ ярости. Но, возможно, что это был только мой способ подбодрить себя, потому что, когда я посмотрел вниз на свои ноги, я увидел, что они стоят посреди озера крови, по форме очень похожего на первое, но гораздо больших размеров. И это было первое, что мои глаза предпочли увидеть на кухне фермерского дома с остовом из деревянных брусьев. А еще на ней была битая посуда, разбросанные по каменному полу столовые приборы и кастрюли, сломанные стулья и перевернутый стол. И дерево, безошибочно узнаваемый набросок, скорее даже аккуратный рисунок дерева на побеленной кирпичной стене над разгромленной кухней. Возможно, каштан или кедр – определенно развесистое дерево. Засыхая, кровь капала с него, образуя подтеки. Лес следил.

Осетинский Ку-Клукс-Клан, слышал я голос Саймона Дагдейла. Серая толпа, подкармливаемая и инфильтрированная КГБ...

Но я позволил себе рассмотреть все эти вещи только после того, как увидел кровь у своих ног. И, когда я изучил их достаточно для того, чтобы сделать необходимые выводы, я вынул из-за пояса револьвер – как я подозреваю, скорее чтобы защититься от мертвых, чем от живых, – шагнул в коридор и двинулся по нему, прикрыв, как учат инструкторы, лицо левым локтем и выкрикивая: «Айткен Мей! Выходите! Где вы?», потому что, хотя я отлично знал, что кричать мне следует «Ларри!» и «Эмма!», я боялся найти их. И левую руку я держал у лица для того, чтобы сразу заслониться ею от картины, которую боялся увидеть.

На мне были добротные дорожные башмаки ручной работы от «Дюкера» на резиновой подошве, довольно жесткие. Глянув назад через плечо, я увидел на пыльном паркетном полу цепочку коричневых следов и понял, что, хотя происхождение крови неизвестно, следы на полу бесспорно мои. Я пробрался мимо одной закрытой двери, потом мимо другой, все время выкрикивая: «Эй, тут кто-нибудь есть?» И потом хозяйским голосом, которым я кричу на своих шести акрах: «Мей! Айткен Мей!» Тишина вслед за этими выкриками была более зловещей, чем мог бы быть любой ответ, и, боюсь, я подумал о ней, как о тишине Леса.

Проходя мимо еще одного окна, я увидел в него пасущееся белое стадо, пустошь и мостик и почувствовал благодарность за напоминание о мирной жизни. Я добрался до третьей закрытой двери, но продолжал двигаться вперед, решив начать свое систематическое обследование дома с главного входа, а не с топора у задней двери. Кроме того, я правша, и если мне придется играть роль бравого десантника, то с револьвером в правой руке удобнее врываться в двери, расположенные слева. В фильмах и на тренировочных занятиях так, возможно, не поступают, но будь я проклят, если на старости лет стану держать пистолет двумя руками, как они.

Сейчас мой возраст беспокоил меня, как он беспокоил меня всякий раз, когда я отправлялся в постель с Эммой: справлюсь ли я? Не слишком ли я стар для своих страстей? Кто-нибудь помоложе не сделал ли бы это лучше? Я добрался до входного холла. Успокойся, Крэнмер. Шагай, а не беги.

– Тут кто-нибудь есть? – спросил я более миролюбивым тоном. – Я Крэнмер, Тим Крэнмер. Я друг Салли и Терри.

Мягкая мебель. Кофейный столик со стопкой захватанных каталогов ковров и антиквариата. Стойка с телефонной станцией и автоответчиком. Все

еще работающим автоответчиком. Раскрытый женский зонтик, сохнувший на стойке для зонтов. Давно уже сухой зонтик. В тот день был дождь? Когда это было? Не забудь про грязь у задней двери.

На стене вышивки в азиатском стиле и плакат с летящими на бреющем полете над пустыней реактивными истребителями. На столе три использованные чайные чашки и пепельница в форме автомобильной шины, переполненная окурками сигарет без фильтра. Толстый слой черных чаинок без следов молока и сахара. Русский чай? Он был бы с сахаром. Азиатский? Такой крепкий они не пьют. Возможно, чай с великой границы этих двух миров. И русские сигареты, вроде тех, которые курил Ларри.

Прежде чем открыть первую дверь, я постоял, прислушиваясь, раздаются ли шаги, не едет ли по дороге машина, не стучит ли почтальон в переднюю дверь с приветливым вопросом: «Есть тут живая душа?» Я знал, что в деревне никогда не бывает полной тишины, но я не услышал ничего, что увеличило бы мою тревогу. Я сразу повернул ручку и толкнул дверь от себя настолько резко и настолько энергично, насколько это было в моих силах, и ринулся за ней в тщетной надежде, что если кто-нибудь есть внутри, то я застигну его врасплох, если, конечно, это не мертвец.

Но врасплох тут, похоже, уже кого-то застали, потому что комната была методично опустошена. По выдернутым и перевернутым ящикам столов кто-то не раз прошелся ногами. Факсы и ксероксы были обезображены до неузнаваемости. Кресло было истерзано так, что его внутренности свисали вниз. Смятые ящики картотеки валялись на полу. Шторы были исполосованы ударами ножа. Даже пол бывшего хозяина комнаты оставался для меня загадкой, пока я постепенно не догадался, что это была женщина: об этом свидетельствовали остатки наплечной сумочки из искусственной кожи, совсем не во вкусе Эммы, смятый платок со следами дешевой губной помады, которой Эмма ни за что не согласилась бы пользоваться, сам тюбик, раздавленный на полу, рассыпанная пудра, напоминающая развеянный человеческий пепел, дамский кошелек с жетонами для парковки и ключи от «фольксвагена» с пультом дистанционного запираения замков, тоже раздавленным.

И еще пара туфель. Не замызганных грязью башмаков из оленьей кожи и не черных ботинок с высокой шнуровкой, которые предпочитала Эмма, но вполне приличных лакированных почти новых открытых коричневых туфель для офиса, которые после целого дня за письменным столом хочется скинуть, чтобы дать вашим бедным старым ноженькам хоть немного отдохнуть. Пятый номер. У Эммы третий.

Когда-то секретаршу Айткена Мустафы Мея отделяли от ее босса двойные двери. Между ними был промежуток дюймов в десять, и они были обиты зеленым пластиком с заклепками. Но если Мей надеялся с их помощью обеспечить себе покой и тишину, то он допустил грубую ошибку: первая дверь была превращена в щепки размером со спичку, а вторая легкомысленно лежала поперек его письменного стола, наводя на мысль о некоей средневековой пытке, заключавшейся в том, что жертву клали плашмя, а на нее клали доску, которая буквально раздавливала несчастного грузом его грехов. В данном случае эту роль сыграли кипы журналов для наемников, авантюристов, стрелков и других потенциальных покупателей оружия, каталоги военного оборудования, инвентарные книги, преискурранты производителей оружия и сверкающие глянцем рекламные проспекты со снимками танков, орудий, крупнокалиберных пулеметов, ракетных пусковых установок, боевых вертолетов и торпедных катеров.

Брезгливо шагая среди этого хаоса, я был поражен целеустремленностью непрошенных гостей Айткена Мея. Они словно задались целью методично отыскивать и уничтожать все идолопоклоннические символы, а также некоторые символы, которые, с моей точки зрения, идолопоклонническими не являлись, например умывальник в примыкающей к кабинету ванной, стеклянные полки, сброшенные в ванну, или шторы, засунутые в унитаз.

Однако наибольший разгром был учинен любимым вещам Айткена Мустафы Мея: фотографиям его детей, которых оказалось много и, по-видимому, от разных матерей, фирменному пресс-папье с эмблемой «Мерседес», гордости нового владельца, бронзовым статуэткам и древним глиняным горшкам, новенькому, с иголки, темно-синему костюму, остатки которого еще висели на спинке кресла его хозяина, роскошно изданному Корану, вызвавшему такую ярость пришельцев, что они проткнули ножом даже стол под ним, или фотографии Джули, сделанной, как я понял, тем же фотографом, который посадил их на залитую солнцем скамейку, но на этот раз она стояла в купальнике на палубе, я думаю, курсирующего по Карибскому морю туристического лайнера, и улыбалась в объектив. А также скромным трофеям его второй жизни, например цветочной вазе, изготовленной из обрезанной гильзы артиллерийского снаряда, или бронированной шкатулке для документов с дарственной надписью благодарного, но безымянного покупателя на серебряной пластинке. Оба эти предмета были расплющены.

Я вернулся назад по своим следам в коридоре. Дверь на кухню все еще была открыта, но я прошел мимо, даже не заглянув в нее. Мой взгляд был устремлен вперед, на еще одну дверь, на этот раз стальную, которая была у меня на пути. В ее замочной скважине висела связка ключей, и, поворачивая уже вставленный в замок ключ, я заметил среди них ключ от «мерседеса» Айткена Мея. Опустив связку ключей в свой карман, я шагнул за стальной порог и в падавшем из открытой двери за моей спиной свете увидел коридор с кирпичными стенами и с окнами, доверху заложенными мешками с песком. Вспомнив расположение построек, я сообразил, что я во втором товарном вагоне поезда. Я все еще раздумывал над этим открытием, когда все вдруг погрузилось во мрак.

Отчаянно стараясь не потерять рассудок, я догадался, что стальная дверь за мной захлопнулась либо сама собой, либо с чьей-то помощью и что теперь мне нужно найти выключатель, хотя я сомневался, сохранилось ли в доме электричество после такого разгрома. Но тут я вспомнил про автоответчик и воспрял духом. И мой оптимизм был вознагражден: на ощупь пробираясь вдоль кирпичной стены, я нащупал электрическую проводку. Засунув револьвер обратно за пояс – в кого я мог попасть в кромешной тьме? – я пальцами проследил путь проводов и, к своей радости, обнаружил симпатичный зеленый выключатель фирмы «Техниколор» не далее чем в шести дюймах от своего носа.

Я был в тире. Он тянулся на всю длину здания, может быть, на сотню футов. В его дальнем конце, подсвеченные снизу лампами, стояли мишени в виде человеческих фигур в натуральную величину, выполненные с явным расистским подтекстом: ухмыляющийся негроид и людоед-азиат с автоматами на груди и приподнятой ногой, словно они отчищали ее от крови того, кого только что закололи штыком. Их форма была пятнистой желто-зеленой, а каски вызывающе сдвинуты набекрень, что должно было означать отсутствие дисциплины. То место, где я стоял, было линией огня: здесь были мешки с песком, на которые можно было встать или опуститься на колени,

металлические подлокотники в виде вилок, подзорные трубы, в которые вы могли изучить мишени, и кресла, в которые можно было сесть, если мишени вас не интересовали.

А всего в нескольких ярдах за линией огня, помещенный посреди тира и мешающий всякому серьезному клиенту, стоял залитый кровью оружейный верстак. Именно от него шел тот запах, который я услышал, но счел запахом оружейного масла или старым запахом пороховых газов. Но это было ни то, ни другое. Это был запах крови. Запах бойни. Именно в этом коридоре и была устроена бойня, в этом звуконепроницаемом бункере, в этом храме небескорыстных развлечений любителей истреблять. Именно сюда и были приволочены жертвы, одна без туфель, другая без пиджака, а третья, как я понял, увидев висящий на гвозде над верстаком коричневый хлопчатобумажный халат, без халата. Именно здесь их не спеша зарезали, за этими не пропускающими звуков стенами, прежде чем мужчины в ботинках с плоскими подошвами вынесли их через кухню на кучу опилок во дворе и потом на какую-то двухколесную тележку, ждавшую их.

Да, и по дороге кто-то остановился, чтобы нарисовать на стене дерево. Дерево Леса. Кровавое дерево.

У меня в кармане были ключи и от «мерседеса», и от «фольксвагена». Мои ноги налились свинцом, мое воображение рисовало мне трупы недельной давности в багажниках машин. Но я бежал, потому что мне приходилось или действовать быстро, или ничего не делать. «Мерседес» был заперт, и, когда я открыл левую дверцу, раздался вой сирены, на который белые коровы подняли свои головы и стали разглядывать меня, а беломордые овцы на соседнем пастбище блеяли еще долго после того, как я выключил сирену. Внутри пахло новой машиной. Рядом с драгоценным телефоном лежала пара водительских перчаток из свиной кожи. С зеркала свешивалась нитка четок, а на сиденье пассажира лежал «Экономист» восьмидневной давности.

Трупов не было.

Я набрал в грудь воздуха и открыл крышку багажника «мерседеса». Она откинулась сама, и мне пришлось лишь немного приподнять ее. Дорожная сумка, остатки стандартного набора. Черный дипломат, такой тонкий, какие заводят лишь из пижонства. Заперт. Посмотрим позже. Я хотел было перенести это в красный «форд», но, подумав, решил пока оставить здесь. Перейдя к «фольксвагену», я платком стер грязь со стекла. Заглянул внутрь. Трупов нет. Отпер багажник и поднял его крышку. Новый буксировочный трос, канистра антифриза, бутылка жидкости для омыwania стекол, ножной насос, огнетушитель, коврик, съемный радиоприемник. Трупов нет. Я направился к выдавшему виды «дормобилю» и тут встал как вкопанный, впервые увидев то, что до этого не разглядел: старую конную тележку с оглоблями и на резиновых шинах, наполовину зарытую в сено. И вверх по склону в густой траве тянулся безошибочно узнаваемый след этих шин. В конце этого следа стояла крытая шифером каменная хижина, сбоку от которой на склоне холма, как раз у края спускающегося облака, стояло сухое дерево. Когда я увидел тележку, до нее было футов пятнадцать, и я быстро прошел это расстояние и разгреб сено. Старая древесина и обивка были залиты кровью. Я вернулся к «дормобилю», схватился за дверную ручку и резко повернул ее, словно хотел сломать. Возможно, что я и сломал ее. Ручка подалась, и я открыл сразу обе двери, но не нашел внутри ничего, кроме мешков, крысиного помета и кипы старых эротических журналов.

Почти бегом я отправился вверх по холму. Трава росла здесь пучками и была мне по колено, совсем как трава в Придди. После трех шагов мои брюки промокли. Сбоку от меня тянулась каменная стена. Одинокое голые деревья, до комля расщепленные молнией и до серебристого блеска отполированные дождями и солнцем, тянули ко мне тонкие пальцы своих веток. Дважды я останавливался. Дом был обнесен колючей проволокой, но в ней был прогал там, куда вел след колес. Хижина была прямоугольной, размером не больше двенадцати футов на восемь, но на каком-то этапе ее жизни к ней была сделана неуклюжая пристройка, от которой теперь остался один каркас. Облако ушло. С обеих сторон долины на меня смотрели черные вершины, на склонах которых ветер трепал папоротник.

Я стал искать дверь или окно, но мой первый обход вокруг хижины не дал результатов. Я снова обратил внимание на следы и заметил, что они оканчивались у обращенной к вершине холма стены хижины недалеко от места, где когда-то была дверь, с которой свидетельствовали еще различные каменная притолока и деревянная дверная коробка, хотя дверной проем был наскоро заложен гранитными булыжниками и замазан раствором. У порога я увидел комки перемешанной ногами грязи и ведущие к колесному следу и от него отпечатки мужских подошв. Точно такие же отпечатки я видел у порога кухни. Следов крови здесь не было. Я вынул из кармана монету и ковырнул ею цемент. Он оказался мягче, чем за пределами дверного проема.

Итак, я получил еще один кусок информации о пришельцах: они были не только головорезами, но и людьми, привыкшими к суровой жизни на природе. Все это я говорил себе, неумело расковыривая цемент попавшейся под руку старой железкой. Я ковырял кладку до тех пор, пока не смог выворотить ее кусок, пользуясь железкой как рычагом. Тогда я заглянул внутрь, но должен был сразу отвернуться из-за дохнувшего на меня зловония. Проникший в отверстие свет выхватил из темноты три трупа с завязанными на голове руками и со ртами, открытыми, словно у участников немого хора. Но такова уж эгоистическая природа человека, что и охватившее меня отвращение не смогло заглушить беззвучные слова благодарности за то, что среди этих троих не было ни Эммы, ни Ларри.

Заложив камни обратно, насколько это было в моих силах, я медленно спустился с холма. Мокрые штанины натирали ноги. Рядом со смертью мы отчаянно хватаемся за банальности, и, несомненно, именно поэтому я вернулся в приемную, машинально извлек из автоответчика кассету с записями поступивших звонков и сунул ее в свой многострадальный карман. После приемной я стал заходить из комнаты в комнату, разглядывая свои следы и соображая, что бы еще захватить с собой, а также стоит ли мне попытаться уничтожить следы своего присутствия. Однако отпечатки моих пальцев были повсюду, отпечатки моих подошв – тоже. Я еще раз долгим взглядом оглядел кабинет Мея. Пошарил по остаткам его пиджака и осмотрел закоулки его письменного стола. Бумажника нет. Денег нет. Кредитных карточек нет. И я вспомнил о дипломате.

Не спеша вернувшись к «мерседесу», я перебрал связку ключей Мея и нашел в ней что-то вроде миниатюрного хромированного консервного ножа. Я открыл им дипломат и обнаружил внутри папку с бумагами, карманный калькулятор, немецкую авторучку и карандаш с выдвигающимся грифелем, толстый британский паспорт на имя Мея, чеки для туристов, американские доллары и стопку авиабилетов. Паспорт был такого же типа, как паспорт

Бэйрстоу: в синей обложке, с девятнадцатью страницами, с многочисленными въездными и выездными визами экзотических стран, действительный на десять лет, рост владельца один метр семьдесят, родился в Анкаре в 1950 году, выдан 10 ноября 1985 года, действителен до 10 ноября 1995 года. Моложавая физиономия владельца на третьей странице имела мало общего с господином средних лет, восседавшим на бревне со своей возлюбленной. И уж совсем ничего общего со связанным и изуродованным трупом в хижине. Билеты были до Бухареста, Стамбула, Тбилиси, Лондона и Манчестера, так что его девушка заблуждалась насчет Анкары и Баку. Только билет до Бухареста был закомпостирован и уже просрочен. На остальной части программы его поездок, включая и обратную дорогу, стоял штамп «Открыт».

Я сложил все обратно в дипломат, вынул свой собственный багаж из красного «форда», 0,38 сунул в портфель и уложил все это в багажник «мерседеса». Мне предстояло решить, какую из разыскиваемых машин выбрать: «форд», который вместе с неким Колином Бэйрстоу, может быть, значится, а может быть, и не значится в списке разыскиваемых машин у каждого полицейского, или голубой «мерседес», который скоро будет первым в этом списке, но пока совершенно безопасен. И потом, в конце концов, семь дней уже прошло, а где семь, там и восемь. Айткен Мей, как всем известно, находится за границей. Свою корреспонденцию он забирал на почте в Макклсфилде, сюда не показывал носа ни один почтальон. И сколько еще времени может пройти, прежде чем кто-нибудь обратит внимание на то, что «странная парочка» исчезла из своего уединенного коттеджа на пустоши?

Отогнав «форд» в укромное место между «дормобилем» и конной тележкой, я сгреб охапку сена и разбросал ее по крыше и капоту. Потом я сел за руль «мерседеса» и направился к белому мостику, отлично сознавая, что каждый час промедления может оказаться для меня роковым.

Эмма снова говорила мне. Говорила настойчиво. Никогда прежде я не слышал у нее такого напряженного, такого повелительного голоса.

– «Прочные ковры», – говорила она в первом послании, – это Салли. Где вы? Мы беспокоимся о вас. Позвоните мне.

– Айткен, это снова я, – сказала она во второй записи, – у меня для вас очень важная новость. Возможны большие неприятности. *Пожалуйста*, позвоните мне.

– «Прочные ковры», это снова «Прометей», – говорилось в третьей. – Слушайте внимательно. Терри пришлось отменить поездку. Обстоятельства изменились. Пожалуйста, как только вы услышите это, откуда бы вы это ни услышали, бросьте все и *позвоните мне*. Если вы не в офисе, не возвращайтесь в него. Если у вас есть семья, отошлите ее подальше. «Прочные ковры», ответьте мне. Вот мой номер на случай, если вы потеряли его. Привет. Салли.

Я остановил ленту.

Я был в состоянии запоздалого страха. Стоило мне провалиться под тонкий лед моего самообладания, и я погиб. Если раньше у меня и были сомнения насчет моей поездки, то теперь они рассеялись. Ларри и Эмма были в страшной опасности. Если Ларри мертв, Эмме грозила двойная опасность. Огонь, который я зажег в нем полжизни назад и который раздувал, пока это было полезно для дела, теперь вышел из-под контроля,

и, насколько я понимал, его языки уже лизали пятки Эммы. Рассказать же все Пью и Мерримену означало бы признать свою вину и не добиться ничего. «Они хуже, чем воры, Марджори. Они мечтатели. Они ввязались в войну, о которой никто ничего не слышал».

У меня теперь было два паспорта, один Бэйрстоу, другой Мея. У меня был багаж Мея и Бэйрстоу, и я вел машину Мея. Я перебирал в голове комбинации этих находок. Паспорт Бэйрстоу был опасен, но только в Соединенном Королевстве, потому что вряд ли Контора с ее вечным страхом засветиться рискнула бы сообщить имя Бэйрстоу Интерполу. Паспорту Мея повезло больше, чем его хозяину, но это был паспорт Мея, а наши внешности были до смешного непохожими.

В идеале я предпочел бы иметь на месте третьей страницы паспорта Мея (на которой только одна фотография без примет) третью страницу паспорта Бэйрстоу, подарив таким образом свою физиономию его хозяину. Но британский паспорт с трудом поддается усовершенствованиям, а штучные образцы, вроде паспортов Мея и Бэйрстоу, особенно. Его листы заполняются, а затем пришиваются к обложке одной нитью. Краска принтера на водяной основе и начинает осыпаться, как только вы принимаетесь манипулировать с ней. Водяные знаки и цветовые переходы весьма сложны, и облаченные в белые халаты сотрудники секции подделок Конторы не уставали обиженно повторять нам: «Когда речь идет о британском паспорте, джентльмены, вам проще подобрать человека к документу, чем наоборот». Они говорили это таким тоном, каким в армии язвительные сержанты обращаются к курсантам.

Между тем как я мог подогнать себя под описание Мея из его паспорта, если в нем говорилось о росте метр семьдесят – и это с учетом его высоких каблуков, – а во мне был метр восемьдесят три?

Ответ, к моему восторгу, отыскался в сиденье «мерседеса», которое при помощи кнопки с внутренней стороны дверцы превратило меня в карлика. Именно это открытие, сделанное час спустя после выезда из Ноттингема, побудило меня завернуть в придорожное кафе и за его столиком взять из папки с авиабилетами Мея дорожные бирки, вписать в них его имя и заменить ими бирки Бэйрстоу на моем собственном багаже. После этого я заказал билеты на имя Мея для себя и для «мерседеса» на паром, отплывающий из Харвича в голландский Хоок в половине десятого этим же вечером. Прodelав все это, я по толстому справочнику отыскал адрес ближайшего магазина театральных принадлежностей, который, что неудивительно, оказался в пятидесяти милях, в Кембридже.

В Кембридже я купил себе также легкий синий костюм и пижонский галстук того типа, которому Мей явно отдавал предпочтение, а также темную фетровую шляпу, черные очки и – раз уж это был Кембридж – подержанный Коран, который я вместе со шляпой и очками положил поверх дипломата на соседнее сиденье так, чтобы он бросался в глаза дотошному таможеннику, заглянувшему в окно моей машины, чтобы сравнить мою внешность с данными моего паспорта.

Теперь передо мной встала проблема, которая была для меня новой и которую в более счастливых обстоятельствах я считал бы забавной: куда простому шпиону уединиться на четыре часа, чтобы изменить свою внешность, причем так, чтобы никто не удивился, что вошел он туда одним человеком, а вышел совсем другим? Золотое правило гримировки заключается в том, чтобы пользоваться ею как можно меньше. Тем не менее я не мог избежать необходимости покрасить свои волосы в черный цвет, избавиться от черт сельского жителя Англии в своей внешности, не забыв о

руках, намазать клеем свой подбородок и наклеить на него полоску за полоской сидящую черную бороду, которую потом надлежало любовно подравнивать в соответствии с экзотическими вкусами Айткена Мея.

Решение этой проблемы было найдено после рекогносцировки окрестностей Харвича в виде одноэтажного мотеля, кабины которого выходили дверями прямо на размеченную автостоянку, и в виде малосимпатичного дежурного, который потребовал оплаты вперед.

– Давно дежурите? – спросил я как бы между делом, отсчитывая ему тридцать фунтов.

– Уже осточертело.

У меня в руке было еще пять фунтов.

– Мне обязательно видеть вас перед отъездом? Я буду спешить на паром.

– Я кончу в шесть, идет?

– Прекрасно, в таком случае вот вам, – великодушно сказал я: эта пятерка означала, что он не станет разглядывать мою внешность, когда я буду уезжать.

Моим последним делом в Англии было вымыть и отполировать «мерседес». Потому что, когда вы имеете дело с чиновниками, учил я всегда своих подопечных, будьте хотя бы опрятны, если не можете быть подобострастны.

Пограничные посты всегда действовали мне на нервы, и особенно пограничные посты моей родины. Хотя я всегда считал себя патриотом, я испытываю облегчение всякий раз, когда покидаю родину, а при возвращении у меня всегда такое чувство, словно мне предстоит продолжить отбывание пожизненного заключения. Вероятно, поэтому мне было легко сыграть роль уезжающего путешественника. В хорошем настроении я занял место в очереди машин на погрузку и затем подкатил к таможенному посту, персонал, если можно употребить это слово, которого состоял вовсе не из полицейского наряда с моим описанием в руках, а из одного-единственного молодого человека в легкомысленной белой шапочке на русой шевелюре до плеч. Я протянул ему паспорт Мея. Он игнорировал его.

– Билеты, парень. Би-лет-ти. Плата за проезд.

– О, простите. Вот.

Удивительно, что я вообще смог ответить ему, потому что я вдруг вспомнил о своем 0,38. Вместе с шестьюдесятью патронами он лежал не дальше четырех футов от меня в брошенном на заднее сиденье пухлом портфеле Бэйрстоу, теперь принадлежащем Айткену Мустафе Мею, торговцу оружием.

На палубе хозяйничал свежий ночной ветер. Немногочисленные закаленные пассажиры жались на скамейках. Я пробрался на корму, отыскал на ней уголок потемнее, в классической позе страдающего от морской болезни пассажира перегнулся через борт и выпустил из рук револьвер и патроны. Они исчезли в темноте, и я не слышал всплеска, но мог поклясться, что морской ветер дохнул на меня запахом травы из Придди.

Я вернулся в свою каюту и заснул так крепко, что одеваться мне пришлось в спешке, чтобы вовремя успеть к «мерседесу» и отогнать его в многоэтажный гараж в порту. Я купил карточку для телефона-автомата и в городской телефонной будке набрал номер.

– Джули? Это Пит Брэдбери, который был у вас вчера, – начал я, но она перебила меня.

– Вы же обещали позвонить мне вчера, – истерически разрыдалась она. – Он все еще не вернулся, мне все еще отвечает автоответчик, и, если он не вернется сегодня вечером, завтра с утра я сажаю Али в машину и...

– Вам не следует делать этого, – сказал я. Недобрая пауза.

– Почему?

– У вас сейчас кто-нибудь есть? Кроме Али? У вас в доме есть кто-нибудь?

– Какое это имеет значение?

– У вас есть соседи, к которым вы могли бы пойти? Или подруга, которая могла бы приехать?

– Скажите, ради Бога, что вы имеете в виду?

И я сказал ей. У меня уже не было сил подготавливать ее, смягчать удар.

– Айткен убит. Они все трое убиты, Айткен, его секретарша и ее муж. Они в каменной хижине на склоне холма рядом с магазином. Кроме ковров, он торговал оружием. И он пострадал в бандитской разборке. Мне очень жаль.

Я не знал, слушает ли она меня. Я услышал крик, и он был такой пронзительный, каким бывает детский крик. Мне показалось, что я слышал, как открылась и захлопнулась дверь и потом треск чего-то ломающегося. Я продолжал повторять в трубку: «Вы меня слышите?», но ответа не было. Перед глазами у меня стояла картина: трубка болтается на шнуре, а я говорю с пустой комнатой. Через некоторое время я повесил трубку и тем же вечером, удалив свою бороду и вернув своим волосам и коже примерно прежний их цвет, сел в поезд на Париж.

– Ди – святая, – сказала она мне, стоя у окна своей спальни.

– Ди спасла меня, когда я лежала на дороге, как раздавленный червяк, – говорила она, когда мы вдвоем бродили по холмам и она двумя своими руками держала мою.

– Ди собрала меня по кусочкам, – сонно вспоминала она, уткнувшись носом в мое плечо, когда мы лежали на полу перед камином в ее спальне. – Без Ди я никогда не выбралась бы из этого. В этом несчастье она была для меня отцом, матерью и нянькой.

– Ди вернула меня к жизни, – говорила она между нашими длинными дискуссиями о том, как мы можем помочь Ларри. – Научила музыке, любви, научила говорить «нет»... Без Ди я умерла бы...

И постепенно мое наставническое чувство собственника шаг за шагом стало уступать место этому другому наставнику ее жизни. Мне хотелось, чтобы Ди уже забыла об Эмме и не стала бы обсуждать ее, эта Ди из сказочного парижского пустого дворца, в котором не осталось ничего, кроме кровати и рояля, эта Ди с аристократическим именем и адресом, любовно обведенным в записной книжке Эммы, иначе графиня Анн-Мари фон Дидерих с острова Сен-Луи.

Глава 13

На булыжной мостовой лежали мокрые листья каштанов. Вот этот дом, подумал я, глядя именно на те высокие серые стены и окна, закрытые ставнями, которые я видел в своих снах. Именно в этой башне сидит Пенелопа, прядет свою пряжу и хранит верность своему странствующему где-то далеко Ларри, не пользуясь никакими заменителями.

Я уже несколько часов проверял, нет ли за мной слежки. Я сидел в кафе, разглядывая машины, рыболовов и велосипедистов. Я ездил в метро и в автобусах. Я бродил по известным всему миру паркам и сидел на скамейках. Я сделал все, что может сделать опытный оперативник, чтобы защитить свою неверную возлюбленную от Мерримена и Пью, от Брайанта и Лака, от Леса.

«Хвоста» за мной не было. Я это знал. Хотя эксперты говорят, что знать это невозможно, но я знал.

Дверь мне открыла морщинистая старушка. Ее волосы были схвачены узлом сзади, на ней было грубое сине-черное платье, какие носят слуги. Фильдекосовые чулки и деревянные ортопедические сандалии.

– Я хотел бы поговорить с графиней, – строго сказал я по-французски. – Меня зовут Тимоти. Я друг мадемуазель Эммы.

Я не знал, что сказать еще, не знала, видимо, и она, потому что некоторое время она стояла на пороге, наклонив голову и щуря глаза, словно пытаясь сфокусировать их на мне, но потом я понял, что она подробно изучает меня: сначала мое лицо, потом руки, туфли и снова лицо. И если то, что она увидела во мне, осталось между нами неловкой тайной, то я увидел в ней такой ясный ум и такую глубокую человечность, что было странно, как они попали в такую сморщенную маленькую оболочку. И издали, с верхнего этажа, я услышал звуки фортепиано. Возможно, кто-нибудь смог бы сказать, живая это игра или запись, но только не я.

– Следуйте, пожалуйста, за мной, – сказала она по-английски, и я последовал за ней вверх по двум пролетам каменной лестницы.

С каждым шагом звук фортепиано становился чуть громче, у меня начиналось головокружение, как от высоты, и виды Сены из окон на каждом пролете лестницы казались видами нескольких разных рек: одной – стремительно бегущей, другой – спокойной, третьей – прямой, как канал. Из дверного проема на меня таращили глаза смуглые дети. Молодая девушка в ярком хлопковом арабском платье проскользнула мимо меня вниз по лестнице. Мы добрались до высокой комнаты, в широком окне которой реки наконец соединились и снова стали Сеной с ее рыболовами в беретах и взявшимися за руки влюбленными. В этой комнате музыка была слышна хуже, хотя, по-моему, она не прекратилась: это была какая-то скандинавская пьеса из тех, на которых Эмма в Ханибруке тренировала свои пальцы до того, как печатание на машинке стало их единственным занятием. И в это утро она играла все те же отдельные музыкальные фразы, повторяя их снова и снова до тех пор, пока они не удовлетворяли ее. И я вспомнил, как захватывали меня эти ее усилия, от бесконечного повторения которых многие, наверное, устали бы. Я сочувствовал ей, почти физически хотел помочь ей преодолеть каждый пассаж, скольких бы попыток это ни стоило, потому что именно в этом я видел свою роль в ее жизни – роль наставника и терпеливого слушателя, роль товарища, готового помочь подняться всякий раз, когда она падает.

– Меня зовут Ди, – сказала женщина, словно принимая за должное мою неразговорчивость. – Я друг Эммы. Ну, да вы знаете.

– Да.

– Эмма наверху. Вы слышите ее.

– Да.

Ее акцент был скорее немецким, чем французским. Но морщины ее лица несли на себе отпечаток вселенского страдания. Она сидела прямо в своем кресле с высокой спинкой, по-вдовьи положив руки на подлокотники. Я сидел напротив нее на деревянном стуле. Голые половые доски бежали прямо от ее ступней к моим. Не было ни ковров, ни картин на стенах. В соседней комнате зазвонил телефон, но она словно не услышала его, и он замолк. Но вскоре он зазвонил снова, и мне пришло в голову, что здесь он не умолкает, как телефон в доме врача.

– И вы любите ее. И именно поэтому вы здесь.

Маленькая девочка азиатской внешности в джинсах встала в дверях, чтобы послушать, о чем мы говорим. Ди что-то резко сказала ей, и она исчезла.

– Да, – сказал я.

– Чтобы сказать ей, что вы любите ее? Она уже знает это.

– Чтобы предостеречь ее.

– Ее уже предостерегли. Она знает, что она в опасности. У нее есть все, что ей нужно. Она любит, хотя и не вас. Ей грозит опасность, но ему грозит опасность больше, чем ей, поэтому она не считает себя в опасности. И это вполне логично. Вы меня понимаете?

– Да, конечно.

– Она перестала искать оправдания тому, что полюбила его. И вы, пожалуйста, не требуйте их от нее. Извиняться дальше причинило бы ей вред. Пожалуйста, не требуйте этого от нее.

– Не буду, это мне не нужно. Я пришел сюда не за этим.

– Тогда нам придется снова вернуться к вопросу: зачем вы сюда пришли? Простите меня, ничего позорного нет, если вы не знаете этого. Но если вы поймете ваши мотивы, когда увидите ее, то, пожалуйста, подумайте прежде о ее чувствах. До встречи с вами она была грудой обломков. У нее не было внутреннего стержня, не было устойчивости. Она могла стать чем угодно. Как и вы, возможно. Все, чего она хотела, это найти себе скорлупу и забраться в нее. Но теперь это позади. Вы были последней из ее скорлуп. Теперь она живет в реальном мире. Она решилась. Она одна личность. Или, во всяком случае, чувствует себя ею. Если это не так, то разные личности в ней идут в одном направлении. Благодаря Ларри. Возможно, благодаря и вам. Вы выглядите печальным. Это из-за того, что я упомянула Ларри?

– Я пришел сюда не за ее благодарностью.

– Тогда за чем? За признанием долга? Надеюсь, что нет. Возможно, в один прекрасный день вы тоже почувствуете, что живете в реальном мире. Возможно, что у вас с Эммой очень много общего. Слишком много. Каждый ждет от другого чувства реальности. Она ждала вас. Она ждет вас уже несколько дней. Вы благополучно добрались до нее?

– А что со мной могло случиться?

– Я имела в виду безопасность Эммы, мистер Тимоти, а не вашу.

Она проводила меня до лестницы. Музыка прекратилась. Маленькая девочка следила за нами из-за угла.

– Вы подарили ей много украшений, я думаю, – сказала Ди.

– Не думаю, что это доставило ей неприятности.

– Вы поэтому и дарили их ей – чтобы избавить от неприятностей?

– Я дарил их ей, потому что она была красива, а я любил ее.

– Вы богаты?

– Достаточно богат.

– Возможно, что вы дарили их ей, потому что *не любили* ее. Возможно, что любовь для вас – угроза, что-то такое, от чего надо откупиться. Возможно, что она в противоречии с другими вашими устремлениями.

Я говорил с Пью-Меррименом, я говорил с инспектором Брайантом и сержантом Лаком. Но говорить с Ди было труднее, чем с любым из них.

– Вам нужно подняться еще на один этаж, – сказала она, – вы уже решили, зачем вы пришли?

– Я ищу своего друга. Ее любовника.

– Значит, вы в состоянии простить его?

– Что-то в этом роде.

– Но, возможно, ему следует простить вас?
– За что?
– Мы, человеческие существа, очень опасные создания, мистер Тимоти. И всего опаснее мы тогда, когда мы слабы. Мы так много знаем о силе других. И так мало о нашей собственной. У вас большая сила воли. Возможно, вы не осознаете своей силы перед ним. – Она рассмеялась. – Вы такой непоследовательный человек. Сейчас вы ищете Эмму, а через минуту – вашего друга. Знаете что? Я не думаю, что вы хотите *найти* вашего друга, мне кажется, вы хотите *стать* им. Будьте с ней осторожны. Она будет нервничать.

Она нервничала. Нервничал и я.

Она стояла в конце длинной комнаты, и эта комната была так похожа на ее половину дома в Ханибруке, что моей первой мыслью было спросить, зачем она сменила одну на другую. Комната отдаленно напоминала мансарду, которые так нравились Эмме; балки ее высокого потолка сходились в верхушке. И вид на реку из окна в другом конце комнаты наверняка тоже нравился ей. Старое пианино розового дерева занимало один угол, и я подумал, что именно о таком инструменте она мечтала на Портобелло-роуд, пока я не купил ей «Бехштейн». В другом углу стоял письменный стол – не бюро с выемками для ног, а более прозаический стол вроде того, что был у нее на Кембридж-стрит. На нем стояла пишущая машинка, а на полу опять лежала кipa бумаг вроде той, которую я недавно разбирал. И у нее был вызывающий вид, словно она гордилась тем, что нашла в себе силы возродиться после учиненного ей погрома. Я бы не удивился, если бы над ней развевалось измочаленное в битвах знамя.

Свои руки она держала по бокам. На них были черные перчатки, как в день, когда мы встретились впервые. Мятая льняная рубашка, словно объявляющая, что ее хозяйка отеклась от мирских радостей. И от меня тоже. Черные волосы собраны в пучок на затылке. И самое невероятное – это действие, которое на меня производила эта ее новая внешность: с ней она была для меня желанней, чем прежде.

– Мне жаль, что с украшениями так получилось, – начала она, как-то наклонившись вперед.

Это задело меня, потому что я не хотел создать у нее впечатление – после всего, через что я прошел по ее милости, после боли, унижительных допросов и бегства, – что меня заботит что-нибудь столь же мелкое, как украшения.

– Так значит, с Ларри все в порядке, – сказал я.

Ее голова резко поднялась, а глаза широко открылись в ожидании.

– Все в порядке? Что ты имеешь в виду? Ты что-нибудь слышал о нем?

– Извини. Я говорю вообще. После Придди.

С запозданием она поняла.

– Разумеется. Ты хотел убить его, да? Он сказал, что его смерть всегда так кстати. Я ненавижу, когда он так говорит. Даже в шутку. По-моему, он не должен так говорить. Разумеется, я сказала ему это, но он продолжает снова и снова только потому, что его просили этого не делать. – Она покачала головой. – Он неисправим.

– Где он сейчас?

– Там.

– Где там? Молчание.

– В Москве? В Грозном?

Снова молчание.

– Я вижу, что об этом лучше спросить Чечеева.

– Я не думаю, что кто-нибудь может приказывать Ларри, куда ему ехать. Даже Чечеев.

– Да, конечно. Как ты держишь с ним связь? По почте? По телефону? Как?

– У меня нет с ним связи. И у тебя не будет.

– Почему?

– Так он сказал.

– Что он сказал?

– Что, если ты придешь за ним, если будешь спрашивать о нем, чтобы я ничего не говорила, даже если буду знать. Он сказал, что это не потому, что он тебе не доверяет. Он просто боится, что Контора тебе дороже, чем он. Звонить он не будет. Он говорит, что это небезопасно. И для него, и для меня. Я получаю от него весточки: «Он в порядке...» «Он передает, что любит тебя...» «Все без перемен...» «Скоро...». Да, и, конечно: «Тоскует без твоих прекрасных глаз». Это у него обязательно.

– Разумеется.

Я подумал, что я должен сказать ей, если она не знает:

– Айткен Мей убит. Его двое помощников тоже.

Ее голова вдруг дернулась, как от пощечины. А потом она и совсем повернулась ко мне спиной.

– Лес убил их, – сказал я. – Боюсь, твое предостережение опоздало. Мне жаль.

– В таком случае Чечеев найдет им замену, – сказала она наконец. – Ларри кого-нибудь знает. Он всегда знает.

Она все еще сидела ко мне спиной, и я вспомнил, что она всегда предпочитала разговаривать именно так. Она смотрела в окно, на его светлом фоне она демонстрировала мне сквозь рубашку формы своего тела, и она будила во мне такое сильное желание, что я с трудом произносил слова. Я подозреваю, что дело тут в природе нашего секса: из-за разницы в возрасте и общественном положении мы занимались им, как совершенно незнакомые друг другу люди, и эротический разряд между нами всегда был необычайно силен. И я спрашивал себя, не соответствует ли ее желание моему, как это всегда было, или казалось, что было, в хорошие времена. И не ожидает ли она втайне, что я вот сейчас разверну ее к себе и уложу на пол, пока Ди там внизу ждет от меня честной игры. Я вспомнил поцелуй, который она подарила мне в «Конноте» и который пробудил меня от моего векового сна, вспомнил ее инстинктивную изобретательность в любви, которая открывала для меня такие ее стороны, о существовании которых я не подозревал.

– В Ханибруке все живы-здоровы? – спросила она, явно с трудом вспоминая название места.

– Да, спасибо. Там все в порядке. И виды на Урожай все лучше и лучше...

И, наверное, потому, что я считал ее кем-то вроде бодрящегося родственника в больнице, которому избыток эмоций может повредить, я понес какую-то чушь про сестер Толлер, которые становятся все отчаяннее и которые шлют ей приветы, про миссис Бенбоу, которая просит ее не забывать, и про Теда Ланксона, которого приступы кашля беспокоят меньше, и, хотя его жена по-прежнему уверена, что это рак, доктор уверяет, что это обычный бронхит. Эмма слушала, приветы принимала как что-то само собой разумеющееся, кивала головой, глядя в окно, и говорила что-нибудь ни к

чему не обязывающее вроде «*о, замечательно*» или «как это *мило* с их стороны».

Потом она с интересом спросила меня, какие у меня планы и собираюсь ли я поехать куда-нибудь зимой. Я не мог припомнить, когда прежде мы болтали бы так непринужденно, и я подумал, что мы оба испытываем облегчение, как люди, обнаружившие, что после стольких причиненных друг другу бед они оба живы, здоровы, в состоянии еще чем-то интересоваться и, самое главное, свободны друг от друга. Что при других обстоятельствах могло бы быть поводом для того, чтобы переспать друг с другом.

– А что вы будете делать, когда он вернется? – спросил я. – Где-нибудь обоснуетесь? Я никогда не мог представить себе тебя с детьми.

– Это потому, что ты меня считал ребенком, – ответила она.

После болтовни мы перешли к серьезным вещам, и атмосфера стала соответственно более напряженной.

– К тому же он, возможно, и не вернется сюда, – с собственнической ноткой в голосе сказала она. – Возможно, я поеду к нему. Он говорит, что это последний незапленный уголок земли. Война там будет не вечно. Там можно будет ездить верхом, бродить, знакомиться с чудесными людьми и с новой музыкой и все такое. Беда в том, что сейчас годовщина великих репрессий. Там сейчас ужасно напряженная обстановка. Я была бы для него обузой. Особенно если учесть, как там обращаются с женщинами. Я хочу сказать, что они там не будут знать, что со мной делать. Нет, я не против того, что там все ужасно примитивно и первобытно, но Ларри будет страдать из-за меня. Это будет отвлекать его, а в этом он нуждается меньше всего. По крайней мере, сейчас.

– Разумеется.

– Я хочу сказать, что он у них фактически генерал. Особенно когда речь идет о требующей сообразительности работе: достать снаряжение, расплатиться за него, научить людей пользоваться им и так далее.

– Разумеется.

Она наверняка что-то услышала в моем тоне, что-то знакомое и для нее неприятное.

– Что ты хочешь сказать? Почему ты повторяешь свое «*разумеется*»? Не хитри, Тим.

Но я не хитрил, во всяком случае, сознательно. Я вспоминал свои другие разговоры с женщинами Ларри: «Он скоро должен вернуться, вы же знаете, что за человек Ларри... Я уверен, что он позвонит или напишет...» А иногда: «Боюсь, что он, скорее, считает, что ваши отношения исчерпали себя». Рассуждая спокойно, я полагал, что, хотя любовь Ларри к Эмме несомненно была большой страстью, пока она продолжалась – а она, насколько я знал, еще продолжалась, – моя любовь к ней была больше и была связана с большим риском. По той причине, что женщин влекло к нему: ему стоило просто протянуть руку, и они сами падали к его ногам. А для меня Эмма была одной-единственной, хотя объяснить это Ларри никогда не было простым делом, и меньше всего в Придди. Итогом моих размышлений было то, что я решил добиться от него более ясного указания на то, что он ее любит, чем просто распоряжение прясть и ждать его. А поскольку мне в голову не приходил ни один способ такое указание получить, то лучшим образом действий для меня было побудить ее поехать разыскать его, пока его страсть не отыскала себе иной объект.

– Мне просто пришло в голову, да ты и сама знаешь об этом, что куча народа в Англии, и не только в Англии, хотела бы найти вас обоих. Я хочу

сказать, что они изрядно сердиты на вас. Полиция и другие. Все-таки тридцать семь миллионов – не такие деньги, которые оставляют под блюдечком официанту, не так ли?

Она наградила меня легкой улыбкой.

– Поэтому я считаю, что уехать на Кавказ было бы не таким уж плохим решением. Даже если тебе придется, так сказать, хлебать из одной миски с другими женщинами и не так часто видаться с Ларри. По крайней мере, некоторое время. Пока все утрясется.

– Ты рассуждаешь с *практической* точки зрения, – заметила она, с вызовом поднимая голос.

– Ну что ж, она не всегда самая плохая точка зрения, практическая. Видишь ли, ирония ситуации в том, что я с вами в одной лодке.

– *Ты?* Что за чушь, Тим? Каким образом?

– А таким, что власти предержажные, боюсь, подклеили меня к вашей афере. Они считают меня ее участником. В результате – я тоже в бегах.

– Это просто курам на смех. Скажи им, что ты не участник.

Она была тем крестом, который мне выпало вознести на Голгофу их мошеннической затеи.

– Ты ужасно убедителен, когда тебе это нужно. Твоих подписей нигде нет. Ты не Ларри. Ты – это ты. Никогда не слышала *ничего* абсурднее.

– Ну, во всяком случае, я подумал, что мне неплохо подышать свежим воздухом, – сказал я, по некоторым соображениям чувствуя себя обязанным именно так трактовать свое нынешнее и будущее положение. – Где-нибудь не в Англии. Не напрашивайся на неприятности. Пока пыль не уляжется.

Однако уже было ясно, что мое будущее не интересует ее ни в малейшей степени.

– Ну, теперь-то мы знаем, что все это не было кознями Кремля, – сказал я беззаботным тоном человека, готового во всем видеть одну только светлую сторону. – Я имею в виду тебя, Ларри и ЧЧ – и каким-то образом подцепленного на крючок меня, – которые использовали Ханибрук в качестве воровской малины. А то ведь мне приходилось строить леденящие кровь теории о страшных заговорах, когда я был не в духе. Было такое счастье обнаружить, что они лишены оснований.

Она качала головой, жалея меня, и я чувствовал, что для нее было облегчением узнать, что я еще раз увернулся от падающего мне на голову кирпича.

– Тим, *ей-Богу*. Тим, *правда*.

Я оказался в дверях еще до того, как она поняла, что я прощаюсь. У меня мелькнуло в голове сказать другие, добрые, слова: «Я всегда буду там, где ты захочешь», например, или: «Если я встречу его, то передам ему, что ты его любишь», – но если у меня и было какое-нибудь чувство, то это было чувство своей непричастности, и я не сказал ничего. Эмма у своего окна, похоже, пришла к тому же выводу, потому что она осталась сидеть у него, словно в ожидании, что Ларри большими шагами придет к ней по набережной, размахивая одной из своих шляп.

– Да, ну что ж, прощай, – сказала она.

Ты можешь связаться со мной через Сергея, который взялся отправить это письмо, читал я, лежа без сна. Позвони ему по известному тебе номеру, говори только по-английски... В мире, где жил Зорин, было очень предусмотрительно запастись Сергеем.

Я набирал московский номер, и с шестой попытки я дозвонился. Мне ответил мужской голос.

– Это Тимоти, – сказал я по-английски, – друг Питера. Я хотел бы поговорить с Сергеем.

– Сергей у телефона.

– Пожалуйста, передайте Питеру, что я еду в Москву. Скажите ему, что он может передать мне весточку с моим другом по имени Бэйрстоу. Через несколько дней он остановится в отеле «Савой».

Я продиктовал по буквам «Бэйрстоу» и для верности еще и «Колин».

– Вы получите известие, мистер Тимоти. Пожалуйста, не звоните больше по этому номеру.

В течение тех трех дней, которые я ожидал визу, я ходил по картинным галереям, ел в ресторанах, читал газеты и следил за тем, что происходит за моей спиной. Но я ничего не видел и не чувствовал. Днем я вспоминал ее с нежностью. Она была семьей, старым другом, давно прощенной обидой. Но ночами изуродованные трупы сменялись видениями мертвой Эммы, плавающей в лесных озерах. Окровавленные кучи опилок Кавказскими горами вырастали вокруг моей кровати. Я перебрал все несчастья моей жизни до сегодняшнего дня и увидел Эмму как олицетворение ее бесполезности. Я припомнил все случаи, когда я уклонялся и притворялся. Я оглянулся на все, что мне было дорого, на вещи, которые я заранее считал надежными и естественными, на предубеждения, которые я бессознательно разделял, и на хитроумные способы, которыми я избегал взглянуть на себя со стороны. Сидя у окна своей ванной и глядя на старый город, готовящийся встретить зиму, я также понял, что Эмма умерла: иначе говоря, с момента, когда мне стало ясно, что она больше не нуждается в моей защите, она удалилась от меня и стала такой же безликой, как пешеходы вон на той мостовой.

Эмма умерла, потому что она убила меня и потому что она вернулась в ту половину мира, где я нашел ее с ногами по щиколотку в грязи и с глазами, устремленными за горизонт. Один Ларри выжил. И, только настигнув Ларри, я заполню ту пустоту, которую оставил долг в моей душе.

Глава 14

Известий от Сергея не было.

Канделябры еще царских времен освещали огромный холл, гипсовые русалки плескались в подсвеченном фонтане, и их лоснящиеся торсы бесконечно отражались в карусели зеркал в золоченых рамах. Танцовщица с одного плаката приглашала меня посетить казино на третьем этаже, стюардесса с другого желала приятно провести день. Сказали бы они это лучше сгорбленным женщинам-попрошайкам на уличных перекрестках, или целеустремленно шныряющим под светофорами детям с неживыми глазами, или спящим наяву двадцатилетним старикам в подъездах домов, или унылой армии пешеходов, куда-то спешащей за крохами со стола долларовой экономики, которые можно купить на их тающие рубли.

Но известий от Сергея все не было.

Моя гостиница была в десяти минутах ходьбы от настоящей Лубянки, на темной ухабистой улице, мощенной камнями, которые звякали друг о друга, когда я наступал на них, выдавливая из-под них желтую жижу. Обороной входных дверей гостиницы были заняты шестеро: страж в голубой униформе со строгим взглядом, дежуривший снаружи, и парочка молодых людей в штатском, интересовавшихся подъезжающими и отъезжающими машинами, и

вторая троица в черных костюмах в холле, настолько мрачных, что сначала я принял их за гангстеров: оглядывая меня с головы до ног, они словно прикидывали, какого размера гроб мне понадобится.

Но от Сергея они мне ничего не передали.

Я бродил по широким улицам, ничего не анализируя и всего опасаясь, зная, что у меня нет прибежища, где я мог бы укрыться, нет телефонного номера, по которому я мог бы позвонить в случае чего, что я гол, что я под фальшивым именем живу на территории того, кто всю жизнь был моим врагом. Семь лет прошло с тех пор, когда я последний раз был здесь, официально в качестве мелкого чиновника министерства иностранных дел, присланного в двухнедельную служебную командировку в посольство, а на самом деле для тайной встречи с высокопоставленным технократом, готовым продать свои секреты. И, хотя я пережил несколько неприятных моментов, проскальзывая из машины в темную подворотню и обратно, самым неприятным было разоблачение и высылка из страны с последующим бесславным возвращением в Лондон, несколькими неточными строчками в газетах и натянутыми приветствиями коллег в столовой для руководящих работников Конторы. Если бы раньше меня спросили, кем я себя чувствую, глядя на несчастные лица вокруг себя, я ответил бы, что тайным посланцем иного, высшего мира. Сейчас таких возвышающих мыслей у меня не было. Я стал их частью, мое прошлое не оставляло мне выбора, как и их прошлое им, и своего будущего я тоже не знал. Я был бездомным беглецом без роду и племени.

Я бродил по городу, и всюду на глаза мне попадались гримасы истории. В старом здании ГУМа, некогда торговавшего самой уродливой в мире одеждой, плотные жены «новых русских» примеривали дорогие платья от «Гермеса» и покупали духи от «Эсти Лаудер», Пока их шоферы и телохранители ждали их снаружи в роскошных лимузинах. И все же, если на улице посмотреть по сторонам, повсюду увидишь разбросанные среди серости и грязи приметы вчерашнего дня: железные звезды, ржавеющие на виселицах кронштейнов, вырезанные в камне крошащихся фасадов серпу и молоты, обрывки партийных лозунгов под дождливым небом. И всюду с наступлением сумерек зажигаются маяки новых завоевателей, яркими вспышками выкрикивающие свои псалмы: «Купи нас, съешь нас, выпей нас, надень нас, сядь за наш руль, закури нас, умри из-за нас! Мы – это то, что ты получил взамен рабства!» Я вспоминал Ларри. Я часто его вспоминал. Может быть, из-за того, что Эмму вспомнить было слишком больно. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – говорил он, когда хотел позлить меня. «Нам нечего продать, кроме своих цепей».

Я вернулся в свой номер и увидел коричневый конверт, смотревший на меня с роскошных подушек моей королевской кровати.

«Пожалуйста, приходите по этому адресу завтра в 1.30 пополудни. Седьмой этаж, комната 609. У вас должен быть букет цветов. Сергей».

Это был узкий дом на грязной улице на восточной окраине города. О его назначении ничто не говорило. Я купил букет завернутых в газету гвоздик без запаха. Добирался я на метро, нарочно делая лишние пересадки. Я вышел на одну остановку раньше и с полмили прошел пешком. День был мрачный, даже березки на бульваре выглядели серыми. «Хвоста» за мной не было.

Номер дома был 60, но об этом приходилось догадываться по номерам домов на противоположной стороне, потому что на этом доме номера не

было. Перед невзрачным подъездом стоял «ЗИЛ», в котором сидели двое, один из них за рулем. Они оглядели меня и мой букет и отвернулись. Русский вариант Брайанта и Лака, подумал я. Я нажал кнопку звонка, стоя на пороге, и через щели двери на меня потянуло камфорной вонью, напомнившей мне склеп Айткена Мея. Открыл мне старик; женщина в белом халате, сидевшая близ входа за письменным столом, не обратила на меня ни малейшего внимания. На скамейке сидел мужчина в кожаной куртке. Поверх своей газеты он оглядел меня, затем вернулся к своему чтению. Я находился в высоком неопрятном холле с мраморными колоннами и неработающим лифтом.

Ковров на мраморных ступенях лестницы не было. Звуки были тоже враждебными: стук каблуков по камню, скрип больничных тележек и грубые голоса женщин-врачей, перекрывающие бормотание их пациентов. Некогда привилегированное заведение, больница переживала свои не лучшие времена. На седьмом этаже лестничную площадку освещало окно с матовыми стеклами. Под ним робко жался бородатый человечек в очках, одетый в черный костюм. В руках у него был букет желтых лилий.

– Ваш друг Питер посещает мисс Евгению, – торопливо сказал он мне. – Охранники отпустили его на полчаса. Пожалуйста, будьте кратки, мистер Тимоти.

И он протянул мне свой букет лилий.

Мой друг Сергей – закоренелый христианин, признался мне однажды Зорин, и, если я спасу его от тюрьмы, он возьмет меня с собой в рай.

Мисс Евгения была продолговатым белым холмиком под накрывающей ее не очень чистой простыней. У нее было маленькое желтое личико, и она дышала отрывисто и хрипло, а Зорин сидел возле нее, выпрямившись, как солдат на посту, отведя плечи назад и выпятив вперед грудь, словно она была увешана орденами. На чеканных чертах его лица лежала печать скорби. Он следил за мной глазами, пока я наливал воду в кувшин и ставил в нее цветы. Потом я протиснулся к его стороне койки, чтобы пожать его протянутую руку. Он встал, и наши ладони пошли сначала влево, потом вправо, как ладони борцов, и после поцелуя он позволил мне сесть возле койки напротив него на то, что было, по-видимому, столиком для кормления больного.

– Спасибо, что ты приехал, Тимоти. Извини за неудачную обстановку.

Он взял в руку ладонь мисс Евгении и подержал ее некоторое время. Эта ладонь могла быть ладонью и ребенка, и старика. Он вернул ее на грудь Евгении, но потом положил рядом, словно из страха, что она слишком тяжела для нее.

– Она твоя жена? – спросил я.

– Должна была бы быть.

Мы неловко смотрели друг на друга, и ни один не решался заговорить первым. Под глазами у него были темные круга. Я, наверное, выглядел не лучше.

– Ты должен помнить Чечеева, – сказал он.

Этика моей профессии требовала, чтобы я порылся в памяти.

– Константин. Ваш атташе по культуре. А что?

Он нетерпеливо нахмурился и посмотрел на дверь. По-английски он говорил быстро, но тихим голосом.

– Культура была прикрытием. Думаю, тебе это отлично известно. Он был моим заместителем в резидентуре. У него был друг по фамилии Петтифер, буржуазный интеллектуал-марксист. Думаю, что и его ты знаешь.

– Отдаленно.

– Давай не будем играть в эти игры сегодня, Тимоти. У Зорина на это нет времени, да и у мистера Бэйрстоу тоже. Этот Петтифер в сговоре с Чечеевым украл у русского правительства огромные деньги, пользуясь лондонским посольством как ширмой. Если ты помнишь, официально я был коммерческим представителем. Чечеев подделал мою подпись на нескольких документах. Сумма, которую они украли, превосходит любое воображение. Возможно, это пятьдесят миллионов. Тебе это известно?

– Слухи дошли до меня, – сказал я и подумал, что в свои пятьдесят пять Зорин еще говорит на изысканном английском своей шпионской школы, отмеченном педантизмом и обилием старомодных идиом. Я вспомнил, как, слушая его на явочной квартире на Шепард-маркет, я пытался представить себе его учителей, язвительных фабианцев с неизлечимой любовью к Бернарду Шоу.

– Моему правительству нужен козел отпущения. Выбрали меня. Зорин сговорился с черножопым Чечеевым и с английским диссидентом Петтифером. Зорина надо судить. Какую роль сыграла в этом твоя бывшая служба?

– Никакой.

– Ты клянешься?

– Клянусь.

– Но тебе известно об этом деле. Они советовались с тобой.

Частота и интенсивность его вопросов, серьезность, с которой он их задавал, заставили меня отбросить в сторону осторожность.

– Да, – сказал я.

– Чтобы узнать твое мнение?

– Чтобы допросить и обвинить меня. Они отвели мне аналогичную роль, роль твоего сообщника. Мы с тобой вели секретные переговоры, следовательно, и воровали вместе.

– И поэтому ты Бэйрстоу?

– Да.

– Где Петтифер?

– Здесь, наверное. А Чечеев?

– Мои друзья сказали мне, что он исчез. Возможно, он в Москве, возможно, в горах. Эти идиоты ищут его повсюду, они схватили нескольких его друзей. Однако ингушей не так просто допрашивать. – Его лицо исказила невеселая усмешка. – Добровольного признания пока ни один из них не сделал. Чечеев умный мужик, он мне нравится, но в душе он черножопый, а мы давим таких, как вшей. Он украл деньги, чтобы помочь своему народу. Ваш Петтифер ему помогал – может быть, за деньги, кто знает? А может быть, даже по дружбе.

– Ваши идиоты тоже думают так?

– Конечно, нет! Они идиоты, но не настолько!

– А почему же?

– Потому что они не в силах переварить гипотезу, подразумевающую их некомпетентность! – ответил он, с трудом сдерживая гнев и стараясь не кричать. – Если Чечеев ингушский патриот, то они не должны были посылать его в Лондон. Ты же не думаешь, что Кремль хочет, чтобы весь мир узнал о национальных устремлениях племени дикарей? Ты же не думаешь, что они рвутся сообщить мировому сообществу банкиров, что простой черножопый может через русское посольство выписать себе чек на пятьдесят миллионов фунтов?

Евгения закашлялась. Он обнял ее своими ручищами и усадил прямо, безнадежно глядя в ее лицо. Я никогда не думал, что на его лице может быть столько боли и обожания. Она издала тихий извиняющийся стон. По его знаку я поправил изголовье, и он осторожно положил ее голову на подушку.

– Найди мне Чечеева, Тимоти, – приказал он. – Скажи ему, чтобы он на весь мир объявил о своем деле, о том, что он честный человек, о том, что и почему он сделал. И пусть он скажет всем, что Володя Зорин невиновен и что ты невиновен. Скажи ему, чтобы он пошевеливал своей черной жопой, пока эти идиоты не всадили мне пулю в спину.

– Как найти его?

– Черт возьми, Петтифер же твой агент! Он написал нам это. Написал *нам*. Написал в КГБ, или как там нас теперь называют. Он полностью сознался в своих преступлениях. Он сказал, что сначала его завербовали вы и уж потом мы. Но что теперь он не хочет служить никому. Ни нам, ни вам. К несчастью, письмо у этих идиотов и света оно не увидит никогда. Все, чего он побился, это превратил себя в мишень. Если этим кретинам удастся убить и Петтифера, и Чечеева, они будут в восторге.

Зорин вынул из кармана коробок английских спичек и положил его передо мной.

– Поезжай к ингушам, Тимоти. Скажи им, что ты друг Петтифера. Он подтвердит это. Подтвердит и Чечеев. Тут телефоны представителей их движения здесь, в Москве. Скажи им, чтобы переправили тебя к нему. Они могут. Они могут и убить тебя, но в этом не будет ничего личного. Черножопый есть черножопый. И, если встретишь Чечеева, отрежь ему за меня яйца.

– Есть одна проблема.

– Проблем сотни. Какая?

– Если бы я был твоим начальством, и если бы я хотел поймать Чечеева, и если бы ты сидел у меня под домашним арестом, то первым делом мне в голову пришло бы приказать тебе сказать Крэнмеру, когда он войдет в эту комнату, именно то, что ты сказал мне. – Он открыл было рот, чтобы возразить мне, но я продолжал говорить, не обращая на него внимания: – И потом я подожду, пока Крэнмер выведет меня на Чечеева. И на своего друга Петтифера, естественно...

Едва сдерживая гнев, он оборвал меня:

– Ты думаешь, я не воспользовался бы малейшим шансом, если бы он был? Боже мой, да я пошел бы к этим кретинам сам! «Послушайте, кетины, ко мне едет английский шпион Крэнмер! Он, лопух, думает, что я ему друг. Я заманил его. Дайте мне проводить его к ингушам. Мы вместе выследим их, как раненого зверя по пятнам крови. И тогда мы раздавим их бандитское гнездо и оставим с носом их английских хозяев». Я сделал бы все это и многое еще, чтобы вернуть свое честное имя и свое положение. Всю свою жизнь я верил в наше дело. «Да, – говорил я, – мы ошибаемся, мы выбираем неправильные пути, мы только люди, мы не ангелы. Но наше дело справедливое, в наших руках будущее человечества. За нами правда истории». Когда началась перестройка, я ее поддержал. Моя служба тоже. «*Только не сразу, – говорили мы, – по ложечке*. Каждый раз по капельке свободы». Но они не хотели по ложечке. Они опрокинули тарелку и сожрали все сразу. И что мы теперь имеем?

Он не отрываясь смотрел на Евгению. Казалось, он обращался к ней, потому что его голос понизился и звучал теперь даже нежно.

– Да, мы расстреливали людей, – сказал он. – Мы расстреляли много людей. Среди них были и хорошие люди, которых не надо было расстреливать. Другие были подонки, которых и десять раз расстрелять мало. Но скольких убил Бог? И за что? Он несправедливо убивает каждый день, убивает без причин, без объяснений, без сострадания. А мы *были* только люди. И у нас были причины.

Уже на полпути к двери я оглянулся. Он склонился к ней, напряженно вслушиваясь в ее дыхание, и на его великолепном лице были слезы.

В моем номере два телефона, красный и черный. Красный, если верить глянцевой листовке на столе рядом с ними, моя Личная Прямая Связь со Всем Миром. Но в два часа ночи из моей дремоты меня пробудил черный...

– Скажите, пожалуйста, вы мистер Бэйрстоу? – спросил мужской голос на хорошем английском, но с акцентом.

– Кто говорит?

– Говорит Исса. Скажите, пожалуйста, что вы хотели от нас, мистер Бэйрстоу?

Исса с автоответчика Эммы на Кембридж-стрит, подумал я.

– Я друг Миши, – сказал я.

Я уже два дня повторял это из уличных будок и кафе автоответчикам и немногословным дежурным на телефонах на своем доморощенном, как Ларри называл его, русском, звоня по телефонным номерам, полученным от Зорина: я здесь, я Бэйрстоу, я друг Миши, это срочно, пожалуйста, свяжитесь со мной, вот мой номер телефона в гостинице. И мне было немного странно, должен признаться, наблюдать себя, хотя бы частично, в роли агента Зорина.

– Простите, какого Миши, мистер Бэйрстоу?

– Миша – английский джентльмен, как и я, Исса, – весело ответил я, потому что не хотел, что бы наш разговор выглядел сговором заговорщиков для двадцати других наших слушателей.

Пауза, во время которой Исса переваривал сказанное мной.

– Простите, а чем этот Миша занимается?

– Он торгует коврами. Он покупает их за границей и поставляет своим постоянным клиентам. – Я подождал, но реакции не последовало. – К несчастью, тот конкретный экспортер, услугами которого Миша пользовался...

Исса не дал мне закончить.

– Простите, по какому делу вы в Москве, мистер Бэйрстоу?

– По долгу дружбы. У меня для Миши очень важное сообщение.

Разговор оборвался. Как и Ларри, лишь немногие русские считают нужным попрощаться по телефону. Я молча смотрел в темноту. Десятью минутами позже телефон зазвонил снова. На этот раз Исса говорил на фоне других голосов.

– Простите, как ваше имя, мистер Бэйрстоу?

– Колин, – ответил я. – Но иногда мои знакомые зовут меня Тим.

– Тим?

– Это сокращенное от Тимоти.

– Колин Тимоти?

– Колин *или* Тимоти. Тимоти – вроде клички. – Я повторил слово «кличка» по-русски. Я повторил имя «Тимоти» сначала по-английски, потом по-русски.

Исса исчез. Через двадцать минут он снова объявился.

– Мистер Колин Тимоти?

- Да.
- Это Исса.
- Да, Исса.

- У дверей гостиницы вас будет ждать машина. Это будет белая «Лада». Ее номер, – он прикрыл рукой трубку, видимо, советуясь с кем-то, – ее номер 686.

- Кто в ней будет? Она заберет меня?

Голос в трубке стал повелительным и настойчивым, словно он сам получал распоряжения, разговаривая со мной.

- Она уже у подъезда вашей гостиницы. Водитель – Магомед. Пожалуйста, выходите немедленно. Выходите сейчас же.

Я торопливо оделся. В коридоре была выставка кошмарных картин, изображающих счастливых русских крестьян, пляшущих на заснеженной лесной поляне. В казино два угрюмых финна играли против целого зала крупные и девиц. Я вышел на улицу. Стайка проституток со своими сутенерами бросилась на меня. Я крикнул им «нет!» более энергично, чем следовало бы, и они отошли от меня. Хлопья мокрого снега падали попеременно с ледяным дождем. Шляпы на мне не было, только тонкий макинтош. Желает ли герр такси, по-немецки спросил швейцар. Такси герр не желал. Герр желал Ларри. Над люками канализации клубился пар. Тени прохожих мелькали мимо.

«Лада» стояла между двумя грузовиками посреди дороги, была не белая, а зеленая, и с номером не 686, а 688. Но это была «Лада», и это была Москва. Широкоплечий мужчина с озорными глазами, ростом не больше пяти футов, улыбаясь мне, держал дверь машины открытой. На нем была вязаная шапочка с кисточкой, тренировочный костюм и жилетка на подкладке, и он имел вид печального клоуна. Второй человек терялся в полумраке заднего сиденья, его узкое лицо почти целиком закрывала шляпа. Но на его светло-синюю рубашку время от времени падал свет уличных фонарей, и, поскольку в напряженные моменты человек видит все или ничего, я обратил внимание, что у его рубашки не было воротника в западном смысле слова, что сшита она была из плотной домотканой материи, высоко облегла шею и вместо пуговиц имела свернутые в трубочку кусочки ткани.

- Мистер Тимоти? – спросил клоун, пожимая мне руку. – Меня зовут Магомед, сэр, как и пророка, – объявил он по-русски так же серьезно, как и я ответил ему. – Мне жаль, что большинство моих друзей убиты.

Я сел на место рядом с водителем, прикидывая, имел ли он в виду, что и мой друг убит тоже. Он обошел машину спереди, чтобы поставить дворники. Потом он осторожно сел на водительское сиденье, хотя оно было явно широко для него. Он повернул ключ зажигания раз, потом еще несколько раз. Он покачал своей шапочкой с кистью, словно и не ждал, что мотор заведется, и попробовал еще раз. Мотор завелся, мы тронулись, объезжая ухабы на дороге, и я видел, что Магомед делал именно то, чего я ждал от него: все время поглядывал в зеркало заднего вида.

Человек на заднем сиденье бормотал что-то в радиотелефон на языке, которого я не понимал. Время от времени он прерывал это занятие, чтобы дать Магомеду указания, куда нам ехать, а минуту спустя отменял их, так что наша поездка представляла собой серию ложных бросков и торопливых возвращений к прежнему курсу. Наконец мы остановились у длинной вереницы лимузинов с дежурившими возле них мужчинами. Из подъезда вышли крепкие молодые люди в норковых шапках, укутанные шарфами и в ковбойских сапогах. Один из них был с автоматом и с золотой цепью на

кисти. Магомед что-то спросил его и через некоторое время получил неторопливый ответ. Он лениво бросил взгляд влево и вправо по улице и потом тронул меня за локоть, показывая, куда нам идти. Магомед направился в проход между двумя складами, соединенными балками. Он широко шагал, выставив вперед свою огромную грудь, откинув назад голову и торжественно прижимая руки к бокам. Двое или трое молодых людей следовали за нами.

Мы прошли под арку и по каменным ступеням спустились к красной металлической двери на огромных петлях и с горящим над ней фонарем. Магомед постучал, и мы стали ждать, ежась под дождем. Дверь открылась, и облако сигаретного дыма окутало нас. Я услышал громохание рок-музыки и увидел перед собой на лиловой кирпичной стене белые лица мертвых друзей Магомеда. Потом лиловая стена превратилась в оранжевую, и я увидел под лицами одетые в черное тела, блеск оружия и напряженные руки, готовые пустить его в ход. Передо мной был отряд из семи или восьми вооруженных людей в маскировочной форме. На их поясах висели гранаты. Дверь за мной закрылась. Магомед и его друзья ушли. Двое провели меня по малиновому коридору на затемненный балкон, с которого через дымчатое стекло открывался вид сверху на ночной клуб московских богачей, тут и там сидевших в его бархатных альковах. Среди них медленно передвигались официанты, несколько пар танцевали. На искаженных перспективой тумбах в ритме рок-музыки бездумно крутились голые танцовщицы. Атмосфера была столь же эротична, как атмосфера зала ожидания аэропорта, и столь же напряженна. Балкон обогнул угол и превратился в проекционную и в офис. У стены рядом с ящиками патронов и гранат стояли «Калашниковы». Двое молодых людей занимали наблюдательную позицию у окна, третий, с рацией у уха, – перед линейкой видеомониторов, на которых была аллея, припаркованные лимузины, каменная лестница и холл.

В дальнем углу комнаты на стуле сидел прикованный к нему наручниками лысый мужчина в нижнем белье. С опущенной головой он наклонился вперед, словно интересуясь лужей собственной крови. За письменным столом не далее чем в четырех футах от него сидел пухленький живой человечек в коричневом костюме и пропускал стодолларовые купюры через электронный детектор валюты, откладывая результаты своих трудов на деревянных счетах. Время от времени он качал головой или сдвигал свои очки на нос и поверх них заглядывал в бухгалтерскую книгу. Иногда он прерывал свои занятия, чтобы с важным видом сделать глоток кофе.

И господствуя над комнатой, обозревая каждую ее часть неподвижным, лишенным выражения взглядом, стоял атлетического телосложения мужчина лет сорока в темно-зеленой куртке с позолоченными пуговицами, пальцы которого были сплошь в золотых кольцах и на запястье которого красовался золотой «Ролекс» с алмазами и мелкими рубинами. Он был ширококул и широкоплеч, я ясно представил себе, как мускулиста его шея.

– Вы Колин Бэйрстоу, которого зовут Тимоти? – спросил он на английском, который я слышал в телефонных записях.

– А вы Исса, – ответил я.

Он пробормотал распоряжение. Мужчина справа от меня положил свои руки мне на плечи. Второй встал передо мной. Я почувствовал, как их четыре руки обследуют мою грудь, спину, промежность, бедра, лодыжки. Из внутреннего кармана моего пиджака они извлекли мой бумажник и передали его Иссе, который принял его двумя пальцами, словно боясь об него испачкаться. И я обратил внимание на его запонки: большие, как старый пенс, и с выгравированным на них, по-моему, волком. После бумажника они

передали ему мою авторучку, носовой платок, ключ от номера, пропуск в гостиницу и мелочь. Исса аккуратно сложил все это в коричневую картонную коробку.

- Где ваш паспорт?
- В гостинице забирают его, когда вы вселяетесь.
- Оставайтесь на месте.

Из кармана своей куртки он извлек небольшой фотоаппарат и нацелил его на меня с расстояния в ярд. Дважды сработала вспышка. Неторопливым хозяйским шагом он обошел меня. Он сфотографировал меня с обеих сторон, прокрутил пленку в камере, вытряхнул кассету себе в ладонь и передал ее моему стражу, который поспешил с ней из комнаты. Человек на стуле коротко вскрикнул, запрокинул назад голову, и из его носа полилась кровь. Исса пробормотал еще один приказ, и двое молодых людей разомкнули наручники и увели человека по коридору. Кассир в коричневом костюме невозмутимо продолжал пропускать сотенные бумажки через свою машинку и откладывать костяшки на счетах.

- Сядьте сюда.

Сам Исса сел за стол. Я сел с другой его стороны. Он выудил из своего кармана листок бумаги и развернул его. Потом вынул карманный диктофон и положил его между нами, заставив меня вспомнить Лака, Брайанта и полицейский участок. Руки Иссы были велики, уверенны и странным образом элегантны.

- Как полное имя человека, которого вы называете Мишей?
- Доктор Лоуренс Петтифер.
- Каковы склонности этого человека?
- Простите?
- Его способности, его достоинства? Что не так со «склонностями»?
- Нет, ничего. Я просто не сразу понял. Он исследователь революций. Он друг малых наций. Он лингвист. Как вы.

- Что еще вы можете сказать об этом человеке?
- Он бывший агент КГБ, но в действительности он агент британской секретной службы.

- Каково сейчас в Великобритании официальное положение этого человека?

- Он в розыске. Англичане подозревают его в хищении большой суммы денег из русского посольства. Как и русские. И они правы, он совершил это.

Исса изучал свою бумагу, не давая мне разглядеть ее.

- Когда была ваша последняя встреча с человеком по имени Миша?
- Восемнадцатого сентября этого года.
- Опишите ее обстоятельства.
- Она произошла ночью, в местности с названием Придди, на Мендипских холмах графства Сомерсет. Мы были одни.
- Что на ней обсуждалось?
- Личные проблемы.
- Что обсуждалось?

Среди русских чиновников бытует выражение, которое я не без успеха иногда употребляю и которое некстати вспомнил сейчас:

- Не надо мне хамить. Если я говорю личные, значит, личные.

В школе я получал пощечины, и довольно часто. Мне давали их женщины, правда, второго шанса они никогда не получали. Я занимался боксом. Но те две пощечины, которые закатил мне Исса, перегнувшись через стол, были совершенно новой для меня цветовой и звуковой гаммы. Он почти

одновременно ударил меня сначала левой, а потом правой рукой, и это было похоже на удары металлической трубой из-за золотых колец, унизывавших пальцы. И, когда он бил меня, я видел между его руками его карие глаза охотника, устремленные на меня так пристально, что я испугался, что он решил забить меня до смерти. Однако он остановился, потому что его позвали из другого конца комнаты. Отодвинув кассира, он взял рацию, протянутую ему оператором видеомониторов. Он выслушал и что-то спросил кассира, который покачал головой, не прекращая считать сотенные бумажки.

– Шутники, – пожаловался он по-русски. – Они называют это третьей, а тут и десятой части трети нет. Тут кот наплакал, а не наша доля. Если они такие кретины, то зачем они подались в рэкетиры?

Одним движением локтей он сгреб деньги в кучу, передал ее Иссе, еще несколько раз щелкнул костяшками счетов, взял линейку и красный карандаш и провел линию под каждой из четырех страниц своей бухгалтерской книги. Потом он снял очки, уложил их в железный очешник и спрятал его во внутренний карман своего коричневого костюма. Тотчас же вся наша группа – кассир, боевики, Исса и я – по малиновому коридору поспешила к выходу. Железная дверь была открыта, каменные ступени свободны, вооруженные молодые люди маячили повсюду. Свежий воздух пахнул на меня дыханием свободы. В бледном утреннем небе мерцали последние звезды. У верхней ступени лестницы стояла длинная машина. Худощавый товарищ Магомеда сидел за рулем, положив на него ладони в кожаных перчатках. А у задней дверцы стоял сам Магомед с шарфом в горошек, которым он с молчаливой тщательностью няньки стал завязывать мне глаза.

Я перехожу в Зазеркалье, сказал я себе в наступившей тьме. Тону в пруду Придди. Я берклианец. Я не могу видеть, следовательно, я не могу дышать. Я кричу, но все вокруг глухи и слепы. Последним виденным мной предметом, когда Магомед медленно затягивал мою повязку, были элегантные итальянские туфли Иссы. У них были коричневые плетеные кожаные шнурки и пряжки с золотой цепью.

Чего они хотят?

Чего мы ждем?

Что-то пошло не так. Их планы нарушены.

Мне снится, что на рассвете меня должны расстрелять, и, когда я просыпаюсь, светает, и я слышу шаги и тихие голоса за своей дверью.

Мне снится, что Ларри сидит у моей кровати, смотрит на меня сверху вниз и ждет, когда я проснусь. Я просыпаюсь и вижу склонившегося надо мной Зорина, который вслушивается в мое дыхание, но это только мои юные стражи принесли мне завтрак.

Я слышу, как Эмма играет Питера Максвелла Дэвиса в ханибрукской церкви.

Моя камера представляла собой гимнастический зал со старинными гимнастическими снарядами у стен, а табличка на двери гласила: «ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ». Он находился в подвале жилого дома в форме уродливого бруска в часе езды с завязанными глазами от самой Москвы, в конце ухабистой первобытной дороги среди запахов мусора, бензина, гниющих деревьев, и был самым неудобным местом на земле или его подземельем. Сырой воздух был полон зловония. Вода всю ночь журчала в трубах и капала с них. Трубы были проложены по потолку и уходили в растрескавшийся

цементный пол, сточные трубы, трубы для холодной и горячей воды, трубы отопления и трубы с электропроводкой и телефонными проводами. И еще маленькие серые крысы, в основном спешащие по своим делам куда-то еще. Если я не ошибся в арифметике, я пробыл там девять дней и десять ночей, но время в заключении ведет себя по-особому: когда вы впервые в темнице, между несколькими движениями секундной стрелки ваших часов могут пройти годы, а расстояние между двумя кормежками равно переходу через всю пустыню вашей жизни. Одну ночь вы проводите со всеми известными вам женщинами, а когда просыпаетесь, то все еще ночь и вы все еще дрожите в одиночестве.

Окон в моем подвале не было. Две решетки под потолком предназначались, видимо, для вентиляции, но сейчас они были наглухо задраены. Взобравшись на изъеденного крысами гимнастического коня и осмотрев их, я обнаружил, что их железные рамы сплошь покрыты слоем ржавчины. В первый день зловоние моей темницы было невыносимым, на второй день оно стало волновать меня меньше, а на третий исчезло совсем, и я знал, что стал его частью. Но доносившиеся сверху запахи были целым театром запахов: тут было и подсолнечное масло, и лук, и чеснок, и жареная баранина, и цыплята – одинаковая по всему свету симфония запахов тесных конур, битком набитых большими семьями.

– *Башир Хаджи!*

Вздвогнув, я проснулся от этого то ли радостного, то ли горестного вопля моих стражей посреди ночи.

Сначала зазвонил их радиотелефон. А потом этот крик то ли муки, то ли восторга.

Они что, приветствовали его?

Они клялись ему в верности, выкрикивая его имя горным вершинам? Или посылали ему проклятья? Или оплакивали его?

Я лежал с открытыми глазами, ожидая следующего акта. Его не последовало. Я уснул.

Пленнику ингушей может быть одиноко, но он никогда не будет один.

Бездетного мужчину, меня одолели дети. Они бегали над моей головой, прыгали по ней, колотили ее, смеялись и вопили в ней, и их матери в ответ кричали на них. То и дело раздавался звучный шлепок, за которым следовало горькое, обиженное молчание, после чего крики начинались снова. Я слышал скулеж собак, но только с улицы. Я мечтал о том, чтобы оказаться снаружи, а им хотелось внутрь. Отовсюду я слышал кошек. Я слышал, как самоуверенно талдычат что-то включенные весь день телевизоры. Я слышал переведенные на русский мексиканские сериалы и прерывающие их срочные сообщения о крахе очередного финансового афериста. Я слышал шлепки белья при стирке, слышал ссоры сердитых мужчин, слышал пьяных мужчин, слышал взбешенных женщин. Я слышал плач.

Из музыки я слышал дешевую русскую танцевальную музыку и безмозглый американский рок, прерываемый чем-то более глубоким и более человеческим: медленными ритмичными гортанными звуками, возбуждающими и настойчивыми, призывающими меня встать, бодро встретить новый день, призывающими добиваться своего и не сдаваться. Я знал, что это тот род музыки, который нравился Эмме, музыки, рожденной в родных горах и

долинах изгнанников, слушавших ее. А по ночам, когда большая часть этих звуков утихала, я слышал похожий на гул моря ровный гул разговоров у походных костров.

Так я во всех смыслах приобщился к подпольной жизни, потому что и мои хозяева были далеко от родного дома и презираемы, и если я был их узником, то одновременно я был и удостоен чести быть их почетным гостем. Когда каждое утро мои стражи с угрюмыми лицами вели меня по коридорам здания в крохотный туалет со свежееоторванными кусками газетной бумаги умываться, приложенными к губам пальцами призывая меня к молчанию, я чувствовал себя скорее их сообщником, чем пленником.

Я слушал Петтифера со страхом. Это была не длинная лекция и уж точно не воскресный семинар. Наш отель был в Хьюстоне, штат Техас, и он только что провел десять дней в кубинской тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении наркотиков, но в действительности, как он подозревал, ради того, чтобы служба безопасности получила возможность как следует разглядеть его. Сначала они не давали ему спать. Потом они сутки продержали его без воды. Потом они привязали его к четырем вмурованным в стену кольцам и предложили сознаться, что он американский шпион.

– И тут я разозлился как следует, – уверял меня Ларри, развалившись возле гостиничного бассейна, разглядывая проходящие мимо бикини и потягивая через соломинку ананасный сок. – Я сказал им, что из всех оскорблений, которые только можно обрушить на голову английского джентльмена, самым тяжким является обвинение в том, что он шпионит для янки. Я сказал, что это хуже, чем назвать мою мать шлюхой. Потом я сказал, что их матери шлюхи, и примерно на этом месте беседы ввалился Рогов и приказал им отвязать меня, дать мне ванну и отпустить.

Рогов – резидент КГБ в Гаване. Я подозревал, что допрос был организован им.

Я задал ему совершенно неожиданный для меня самого вопрос: на что это было похоже? Ларри притворился тоже удивленным.

– После Винчестера? На детские игры. Да я день в колледже променял бы на месяц в кубинской тюрьме. Послушай, Тимбо, – он тронул меня за локоть, – как она? Сменила меня на тебя, сознавайся?

У меня двое стражей, и у них нет других обязанностей, кроме как сторожить меня. Днем и ночью они всегда вместе. У обоих походка слегка на цыпочках, которую я подметил у их товарищей из ночного клуба. Оба говорят с мягким южнорусским акцентом, но русский у них второй, а теперь даже, наверное, третий язык, потому что они оба первокурсники Исламского университета в Назрани, где они изучают арабский, коран и историю ислама. Они отказались назвать мне свои имена, как я полагаю, тоже по приказу, и, поскольку их вера запрещает им лгать, на эти десять дней они вообще без имен.

Как они с гордостью сказали мне, они мюриды, они посвятили себя Богу и своим духовным наставникам, посвятили себя праведной и достойной жизни и стремлению к священным знаниям. Мюриды, сказали они, моральный стержень дела ингушей, вооруженного и политического сопротивления России. Они дают клятву быть примером благочестия, правдивости, храбрости и самопожертвования. Более высокий и более начитанный – я не дал бы ему больше двадцати – был родом из Экажево, большого поселка на окраине Назрани, его менее рослый товарищ – из Джайраха, аула высоко в

горах вблизи Военно-Грузинской дороги, на южной окраине знаменитого Пригородного района, занимающего, по их словам, половину исконной территории Ингушетии.

Все это они рассказали в первый же день моего заключения, когда они робко стояли в дальнем углу моей камеры, одетые в кожаные куртки и с автоматами в руках, и смотрели, как я поглощаю завтрак, состоящий из того же крепкого черного чая, что я обнаружил в приемной конторы Айткена Мея, дольки драгоценного лимона, хлеба, сыра и сваренных вкрутую яиц. С самого начала моя кормежка была торжественной церемонией. Мои мюриды по очереди торжественно вносили поднос, чрезвычайно гордые своей щедростью. И поскольку я быстро обнаружил, что их собственная еда была куда более скромной и состояла, по их словам, из тех продуктов, которые они привезли с собой из Назрани, чтобы не нарушать религиозных запретов, то я старался всем своим видом показать что наслаждаюсь едой. Со второго дня стали показываться сами поварихи, заглядывавшие в мою темницу через дверной проем женщины со скромными глазами и платками на волосах. Та, что помоложе, была более скромной, а та, что постарше, сверкнула на меня своими любопытными глазами. Только раз, и то по недоразумению, я столкнулся с менее приятной стороной наших отношений. Я спал на своей кровати, и мне, вероятно, что-то приснилось, потому что, когда я открыл глаза и увидел над собой моих мюридов, одного, гордо держащего кусок туалетного мыла и полотенце, а другого – поднос с моим ужином, я с воинственным криком попытался вскочить с постели. Мне удалось только опустить на пол ноги, и я собирался встать на них, когда почувствовал приставленное к своей шее маслянистое дуло пистолета. Оставшись один, я услышал писк их рации и их спокойные голоса, докладывавшие о происшествии. Потом они вернулись, чтобы наблюдать, как я ем. Забрав поднос, они приковали меня наручниками к кровати.

Ради своего спасения я оставил всякую мысль о физическом или духовном сопротивлении. Вялый и безразличный ко всему, я убеждал себя, что величайшая в мире свобода – это когда ты не властен над своей судьбой.

И все же утром, когда мои стражи расковали меня, мои запястья кровоточили, а мои лодыжки так свело, что нам пришлось отмачивать их в холодной воде.

Магомед приехал с бутылкой водки. Его глаза были красными от усталости, а круглое лицо под шапочкой поросло щетиной. Что его заботило? Или его улыбка всегда была такой печальной, как сейчас? Он налил мне водки, но сам пить отказался. Спросил меня, доволен ли я. Я ответил: «Королевский прием». Он рассеянно улыбнулся и повторил: «Королевский». Мы обсуждали без всякой видимой системы Оскара Уайльда, Джека Лондона, Форда Мэдокса Форда и Булгакова. Он заверил меня, что разговор на такие темы был для него редкостью, и спросил, часто ли такие разговоры случаются у меня в Англии.

– Только с Ларри, – ответил я, тайно надеясь перевести разговор на него.

Но в ответ он только улыбнулся еще одной печальной улыбкой, которая ни признавала существование Ларри, ни отрицала его. Он спросил, как я лажу с мюридами.

– Они вежливы?

– Идеально.

– Их родители погибли, – еще одна печальная улыбка, – возможно, они считают вас орудием в Божьих руках.

– А почему они могут думать так?

– Было пророчество, широко известное в суфистских кругах с прошлого века, когда имам Шамиль писал письма вашей королеве Виктории, о том, что Российская империя однажды рухнет и что Северный Кавказ, включая Ингушетию и Чечню, отойдет под правление британской короны.

Я выслушал эту новость столь же серьезно, как он сообщил ее.

– Многие из наших стариков говорят об английском мессии, – продолжал он. – И если часть пророчества, касающаяся Российской империи, вот-вот сбудется, то где же второе знамение, говорят они.

Откуда-то из дальнего уголка моей памяти всплыло, что что-то подобное Ларри говорил мне.

– Но я нигде не читал, – сказал я осторожно, взвешивая свои слова не менее тщательно, чем Магомед свои, – что королева Виктория когда-либо посылала оружие имаму Шамилю, чтобы помочь ему свергнуть русских угнетателей.

– Возможно, – согласился Магомед без особого интереса. – Имам Шамиль был не из нашего народа и, следовательно, не является величайшим из наших героев.

Он провел широкой ладонью сначала по своим бровям, потом по бороде, словно хотел стереть с себя неудачную мысль.

– Есть также предание, что основатели чеченской и ингушской наций были вскормлены волчицей. Возможно, вы сталкивались с этой легендой в другом контексте.

– Да, – сказал я, вспомнив волка на золотых запонках Иссы.

В более практической плоскости среди нас всегда существовало мнение, что Великобритания может умерить русскую решимость поработить нас. Как вы думаете, это очередное наше бесплодное мечтание или мы можем надеяться, что вы замолвите за нас слово на тех совещаниях, на которые нас не допускают? Я спрашиваю вас об этом совершенно серьезно, мистер Тимоти.

У меня не было оснований сомневаться в этом, но и ответить ему мне было трудно.

– Если Россия нарушит договоры со своими соседями... – начал я осторожно.

– Да?

– Если она введет танки в Назрань, как она ввела их в Прагу в шестьдесят восьмом...

– Но они уже сделали это, мистер Тимоти. Вы, наверное, проспали этот момент. Ингушетия оккупирована Россией. Здесь, в Москве, мы парии. Нам не доверяют и нас не любят. Мы – жертвы тех же предрассудков, которые существовали еще в царские времена. Коммунисты не дали нам ничего нового. Сейчас в правительстве Ельцина полно казаков, а казаки ненавидят нас испокон веку. У него генералы-казаки, шпионы-казаки, казаки в комитетах, где определяются наши новые границы. Можете быть уверены, что они не упустят случая свести с нами счеты. Для нас за последние двести лет мир не изменился ни на каплю. Нас подавляют, на нас клеветают, нас вынуждают к сопротивлению. И мы яростно сопротивляемся. Вам, наверное, стоило бы рассказать об этом вашей королеве.

– Где Ларри? Когда я смогу его увидеть? Когда вы выпустите меня отсюда?

Он уже поднялся, чтобы уйти, и я подумал сначала, что он решил оставить без ответа мои вопросы, в которых, к моему сожалению, прозвучало отчаяние, несовместимое с хорошими манерами. Помедлив, он молча обнял

меня, пристально посмотрел мне в глаза и пробормотал что-то, чего я не понял, но что было, как я опасался, молитвой о моей безопасности.

– Магомед – лучший борец во всей Ингушетии, – гордо сказал старший из мюридов. – Он великий суфист и доктор философии. Он отважный боец и духовный вождь. Он убил многих русских. В тюрьме они мучили его, и, когда его освободили оттуда, он с трудом ходил. А сейчас у него самые сильные ноги на Кавказе.

– Магомед – ваш духовный вождь? – спросил я.

– Нет.

– А Башир Хаджи?

Я снова коснулся запретной темы. Мои стражи умолкли, а потом удалились в свою комнатушку в конце коридора. Оттуда не доносилось ни звука, лишь изредка слышался шепот. Полагаю, что дети мучеников молились.

Появился Исса, выглядевший огромным в своей новенькой топорщившейся и блестящей кожаной куртке. В руках у него были мой чемодан и дипломат из гостиницы. Его сопровождали двое его вооруженных молодых людей. Как и Магомед, он был небрит и имел озабоченный, серьезный вид.

– У вас есть жалобы? – спросил он, набрасываясь на меня так энергично, что я заподозрил, что он решил надавать мне еще пощечин.

– Со мной обращались достойно и с уважением, – ответил я тоже с вызовом.

Но, вместо того чтобы бить меня, он взял мою руку и притянул к себе в том же самом однократном объятии, которым меня удостоил Магомед, и так же дружески похлопал меня по спине.

– Когда меня выпустят отсюда?

– Посмотрим. Может быть, через день или два, в зависимости от обстоятельств.

– Каких обстоятельств? Чего мы ждем? – Мои разговоры с мюридами придали мне уверенности. – Я ничего не имею против вас. У меня нет никаких злых умыслов. Я здесь по уважительной причине: я хочу увидеться со своим другом.

Его сердитый взгляд озадачил меня. Его щетина и его опустошенные глаза придавали ему вид человека, видевшего что-то страшное. Он мне не ответил. Вместо ответа он повернулся и вышел, сопровождаемый своими боевиками. Я открыл дипломат. Бумаг Айткена Мея в нем не было, не было и записной книжки Эммы. Я спрашивал себя, расплатился ли Исса за меня в гостинице, и если да, то не объявленной ли в розыск кредитной карточкой Бэйрстоу?

В голосе Петтифера из трубки междугородного телефона я слышу одиночество шпиона. Одна его половина жалуется, другая довольна. Он сравнивает свое существование со скалолазанием, которое он обожает.

– А над тобой в темноте нависшая одна чертова скала. Одно мгновение ты гордишься, что ты добрался сюда в одиночку. Минутой спустя ты полжизни отдал бы за еще пару блоков на веревке. А бывают случаи, когда хочется просто вынуть нож, протянуть руку, к чертовой матери перерезать веревку и навеки уснуть.

Дни шли, и мои самые интересные – и самые поучительные – часы проходили в беседах с моими мюридами.

Иногда безо всякого смущения они начинали молиться при мне после того, как помолились в уединении. Обычно они приходили в мою комнату в своих

шапочках, садились и, отвернувшись от меня в сторону и закрыв глаза, начинали перебирать четки. Мюрид, объяснили они, никогда не берет пальцами бусину четок, не произнося имя Божие. А поскольку у Бога девяносто девять имен, бусин тоже девяносто девять, и упомянуть Бога надо как минимум девяносто девять раз. Однако некоторые суфийские секты – они имели в виду свою собственную – требуют, чтобы четки были перебраны много раз. Перед тем, как пройти посвящение, мюрид должен многократно доказать свою верность. Иерархия мюридов сложна и децентрализована. Каждое селение делится на несколько кварталов, и в каждом квартале имеется свой небольшой кружок, возглавляемый тургом, или руководителем кружка, который подчинен тамаде, который в свою очередь подчиняется векилю, или заместителю шейха... Слушая их, я испытывал сострадание к несчастным офицерам русской разведки, получавшим невыполнимое задание проникнуть в их организацию. Пять раз в день мои мюриды исполняли обязательные молитвы, стоя на коленях на ковриках, которые они хранили в своей комнатухе. Молитвы, которые они совершали в моем присутствии, были дополнительными молитвами, посвященными отдельным святым и особым случаям.

– А Исса мюрид? – спросил однажды я, и мой вопрос вызвал у них веселый смех.

Исса *очень* светский человек, ответили мне они между двумя приступами смеха. Исса очень нужный для нашего дела бандит! Он отдает нам деньги, добытые его рэкето! Без Иссы у нас не было бы оружия! У Иссы много друзей в мафии, он из нашей деревни, он лучший стрелок во всей деревне, лучший дзюдоист, лучший футболист и...

Потом они успокоились, а я стал обдумывать роль Иссы как сообщника Чечеева и, возможно, организатора кражи тридцати семи миллионов русских фунтов...

Я, наверное, не стал бы задавать им вопросы, если бы не их жгучий интерес ко мне. Едва успев поставить передо мной свой поднос, они усаживались за мой стол и выпаливали свою очередную серию вопросов: кто самый храбрый в Англии? Кто лучший воин, борец, драчун? Элвис Пресли – англичанин или американец? Власть королевы – абсолютная? Она может разрушать деревни, казнить людей, распускать парламент? Высокие ли горы в Англии? В парламенте заседают только старейшины? Есть ли у христиан тайные ордены, секты, святые, шейхи и имамы? Кто учит англичан сражаться? Какое у них оружие? Правда ли, что христиане убивают животных, не выпустив предварительно из них кровь? И – поскольку я сказал им, что веду сельский образ жизни, – сколько у меня гектаров земли, сколько голов скота, сколько овец?

Мое семейное положение чрезвычайно их озадачило. Если я мужчина, как все, то почему у меня нет ни жены, ни детей, которые утешили бы меня в старости? Я тщетно пытался объяснить им, что я разведен. Развод был для них мелкой деталью, процедурой, которая не занимает больше нескольких часов. Почему я не обзавелся новой женой, которая родила бы мне сыновей?

В расчете на ответную откровенность я отвечал им на вопросы с полной серьезностью.

– Что привело вас обоих в Москву? Ведь вы должны быть сейчас в Назрани и посещать занятия, не так ли? – спросил я их однажды вечером за одной из бесконечных чашек черного чая.

Они посоветовались между собой, решая, кому достанется честь говорить первым.

– Нас выбрал наш духовный руководитель, чтобы охранять важного английского пленника, – с гордостью заявил парень из долины.

– Мы – двое лучших воинов Ингушетии, – сказал горец, – нам нет равных, мы самые храбрые, мы лучше всех воюем, мы самые твердые и самые верные.

– И самые самоотверженные! – добавил его друг.

Но тут они, видимо, вспомнили, что их вера не поощряет хвастовство, потому что их лица вдруг стали серьезными и они заговорили спокойнее.

– Мы приехали в Москву, сопровождая большую сумму денег для знакомого моего дяди, – сказал первый юноша.

– Эти деньги были зашиты в две красиво вышитые подушки, – сказал второй. – Это потому, что кавказцев всегда обыскивают в аэропортах. Но глупые русские не обратили внимания на наши подушки.

– Мы думаем, что деньги, которые мы везли, были фальшивыми, но мы не уверены в этом, – честно признался первый. – Ингуши всегда были прекрасными фальшивомонетчиками. В аэропорту к нам подошел человек, назвал себя и увез наши подушки на джипе.

Некоторое время у них заняла напряженная дискуссия на тему, что они купят на деньги, полученные за эту услугу: стерео, разные шмотки, еще золотых колец или краденый «мерседес», контрабандой вывезенный из Германии. Я не спешил. Я мог хоть всю ночь ждать своей очереди.

– Магомед сказал мне, что вы дети мучеников, – сказал я, когда тема была исчерпана.

Юноша-горец стал очень серьезным.

– Мой отец был слепым, – сказал он. – Он зарабатывал на жизнь, читая наизусть Коран. Осетины пытали его на глазах у всей деревни, а потом русские солдаты связали ему руки и ноги и танком раздавили его. А когда жители деревни попытались унести его тело, русские солдаты открыли по ним огонь.

– Мой отец и двое моих братьев тоже сейчас с Богом, – тихо сказал парень из долины.

– Когда нам придет время умереть, мы будем готовы, – сказал его друг с тем же спокойствием, с которым рассказывал о своем отце, – мы отомстим за наших отцов, братьев и друзей, и мы умрем.

– Мы поклялись вести газават, – в том же тоне сказал его товарищ. – Это священная война, которая освободит нашу родину от русских.

– Мы должны спасти наш народ от несправедливости, – добавил горец. – Мы сделаем его сильным и благочестивым, и он не будет больше добычей неверных.

Он встал, вынул из-за спины большой кривой нож и протянул его мне.

– Вот мой кинжал. Если у меня не будет другого оружия, если я буду окружен и если у меня не будет патронов, я выбегу из своего дома и убью первого русского, которого увижу.

Нужно было некоторое время, чтобы разговор принял более мирный характер. Но слово «неверный» дало мне шанс, которого я ждал весь вечер.

– А может ли мюрид помолиться за неверного? – спросил я.

Парень из долины явно считал себя более компетентным в вопросах веры.

– Если неверный – человек высоких достоинств и морали и если он служит нашему делу, мюрид будет за него молиться. Мюрид будет молиться за всякого, кто служит орудием в руках Бога.

– А может ли неверный высоких достоинств и морали жить среди вас? – спросил я, втайне спрашивая себя, подходит ли Ларри под это описание.

– Когда неверный является нашим гостем, его зовут хашах. Хашах для хозяев священен. Если ему причиняют вред, то для хозяина это такое же оскорбление, как если бы этот вред был причинен роду, под покровительством которого хашах находится. Смерть хашаха требует кровной мести, которая смыла бы позор с чести рода.

– А сейчас какой-нибудь хашах живет среди вас? – спросил я и, ожидая их ответа, добавил: – Англичанин, быть может? Человек, который служит вашему делу и говорит на вашем языке?

Только одно счастливое мгновение я надеялся, что моя терпеливая тактика себя оправдает. Они возбужденно глядели друг на друга, их глаза горели, они переговаривались между собой короткими, отрывистыми предложениями, дававшими мне не передаваемую словами надежду. Но потом я постепенно понял, что горец хотел бы ответить на мой вопрос, но его друг с равнины приказывал ему хранить молчание.

Той же ночью мне приснился Ларри в роли современного лорда Джима, коронованного монарха всего Кавказа, и Эмма в роли его несколько перепуганной супруги.

Они пришли за мной на рассвете, в час, когда приходят палачи. Сначала они снились мне, а потом оказались явью. Магомед, его худощавый товарищ и те двое молодых людей, которые в ночном клубе наблюдали, как я получал пощечины. Мои мюриды исчезли. Вероятно, их отослали в Назрань. Возможно, они предпочли бы не участвовать в том, что должно было произойти. У ножки моей кровати лежала папаха и кинжал, и они, вероятно, положили их, когда я спал. Щетина Магомеда превратилась в полноценную бороду. На нем была норковая шапка.

– Пожалуйста, мистер Тимоти, мы должны ехать немедленно, – объявил он. – Пожалуйста, приготовьтесь к отъезду и ни о чем не спрашивайте.

После этого он по-хозяйски расположился в моем кресле с антенной рации, торчащей из кармана его жилета, и стал наблюдать, как его спутники торопливо помогают мне собраться: кинжал в мой чемодан, папаху мне на голову, одновременно прислушиваясь к доносившимся из коридора звукам.

Рация Магомеда пискнула; он пробормотал в нее приказ и похлопал меня по плечу, словно приглашая чемпиона на беговую дорожку. Один из молодых людей сгреб мой чемодан, другой – дипломат. В другой руке каждый из них держал по автомату. Я шагнул за ними в коридор. Там меня встретил морозный воздух, напомнивший мне о моем легком плаще и заставивший с благодарностью подумать о папаше. Худощавый прошипел по-русски: «Быстрее, черт тебя побери» и дал мне тычка. Я поднялся по двум коротким пролетам лестницы и на последних ступенях второго увидел падающий снег. Через пожарный вход я выбрался на засыпанный снегом балкон, где меня ждал человек с пистолетом. Он знаком показал мне на железную лестницу. Я поскользнулся и получил ниже спины довольно болезненный пинок. Человек прикрикнул на меня. Я огрызнулся на него и неловко двинулся вперед.

Подо мной двое парней с моим багажом почти исчезали за занавесой падающего снега. Я находился на задворках здания посреди куч земли, канав и брошенных тракторов. Я увидел ряд деревьев и за ними несколько стоящих машин. Снег набивался мне в ботинки и под штаны. Я соскользнул в канаву и выбрался из нее с помощью локтей и пальцев. Снег слепил меня. Вытирая его с лица, я с удивлением увидел, как впереди меня Магомед резко продвигался прыжками, наполовину как клоун, наполовину как олень. Худощавый не отставал от него. Я поспешил вперед по протоптанному ими

следу. Но снег был таким глубоким, и я с каждым шагом словно погружался все глубже в трясину Придди, с трудом отрываясь от одной мысли и переволакивая себя к следующей.

Магомед и его товарищ несколько раз возвращались ко мне. Дважды они грубо поднимали меня на ноги, пока наконец Магомед, недовольно рывкнув, не сгреб меня в охапку и не потащил через снег между деревьями к микроавтобусу-вездеходу с грузовой площадкой сзади, закрытой тентом. Вскарabкиваясь в кабину, я видел, как второй страж из ночного клуба забирался под этот тент. Магомед сел за руль, худощавый – по другую сторону от меня с «Калашниковым» между коленями и запасными обоймами на полу. Мотор вездехода возмущенно взвыл, и заснеженный пейзаж поплыл мимо. Сквозь покрытое хлопьями снега ветровое стекло я видел фантастическую картину, на которую только теперь обратил внимание: мрачные дома, словно из фильмов о войне, и пар из разбитых окон, клубящийся, словно дым.

Мы выбрались на широкую улицу; кругом теснились грузовики и легковые машины. Магомед положил руку на гудок и не снимал ее до тех пор, пока перед нами не образовался просвет. Его товарищ справа от меня внимательно разглядывал каждый автомобиль, обгонявший нас. В руке у него была рация, и по его смеху и поворотам головы я понял, что он переговаривался с молодыми людьми под тентом. Дорога виляла, и мы виляли вместе с ней. Впереди нас возник крутой поворот. Мы уверенно вошли в него, но наш вездеход, словно упрямый конь, отказался вписаться в него, проскользнул прямо, взобрался на сугроб у обочины и благополучно завалился на него боком. В один момент Магомед и трое его людей были снаружи и дружным усилием поставили машину на колеса, так что мы продолжили путь еще до того, как я успел испугаться.

Теперь вдоль дороги тянулись дачи в пышных шапках выпавшего снега с накрытыми белоснежной простыней крохотными участками. Потом дачи кончились. Мимо нас проплывали ровные поля и опоры линии электропередачи, сменившиеся высокими деревянными и трехметровыми сетчатыми заборами, огораживающими дворцы сверхбогачей. Мы были, к общему облегчению, в лесу – частично сосны, частично березы с поникшими ветками обступали со всех сторон прямую, как стрела, дорогу, по обочинам которой попадались сваленные стволы деревьев и загадочные обгорелые останки автомобилей. Дорога сузилась, стала темнее. Хлопья морозного тумана проносились над капотом вездехода. Мы выехали на опушку и остановились. Сначала Магомед не выключал мотора, так что печка продолжала работать. Потом он заглушил мотор и опустил стекло дверцы. Мы вдыхали пахнувший сосной и свежестью воздух и вслушивались в таинственные шлепки и шорохи языка, на котором говорит заснеженный лес. Мой промокший во время падений плащ стал сырым, тяжелым и холодным. Я начал беспокоиться о людях под тентом. Потом я услышал свист, три мягкие ноты. Я посмотрел на Магомеда, но глаза праведного человека были закрыты, а голова в раздумье откинута назад. В руке он держал зеленую гранату, в кольцо которой был вставлен его мизинец. Это был единственный палец, который мог пройти туда. Я услышал второй свист, одну ноту. Я осмотрел деревья слева и справа, потом перед собой и позади на дороге, но не увидел ничего. Магомед издал ответный свист из двух нот. Никто не двинулся с места. Я снова повернулся к Магомеду и в раме окна увидел наполовину заросшее бородой лицо Иссы.

Один из стражей остался в микроавтобусе, все остальные отошли от него. Я слышал, как он отъезжал, и видел, как следом за ним на дорогу обрушилась настоящая лавина снега. Исса шел впереди, Магомед шагал рядом с ним, как пара охотников, и «Калашников» каждого смотрел в свою сторону леса по бокам. Худощавый боевик и двое молодых парней замыкали шествие. Магомед дал мне варежки и бахилы на повязках, с помощью которых я смог чувствовать себя не так уж неудобно в снегу.

Наша группа спустилась по крутому склону. Деревья над нами сомкнулись в плотный свод, и небо проглядывало через него серыми клочьями. Снег сменился мхом и кустарником. Мы проходили мимо разбросанного мусора и старых автопокрышек, потом мимо деревянных скульптур оленя и белок. Наконец мы вышли на поляну, уставленную столами и скамьями, в дальнем углу которой стояло несколько деревянных домиков. Мы были в летнем лагере. В центре поляны был кирпичный сарай. На его двери с висячим замком зеленой защитной краской было написано «КЛУБ».

Исса двинулся вперед. Магомед стоял под деревом с поднятой рукой, приказывая нам оставаться там, где мы были. Я бросил взгляд вверх и увидел три неподвижные фигуры над нами на склоне холма. Исса условным сигналом постучал в дверь, потом еще раз. Дверь открылась. Исса кивнул Магомеду, и тот знаком позвал меня к себе. Одновременно худощавый нелюбезно толкнул меня в спину. Магомед отступил на шаг, приглашая меня войти первым. Я вошел в сарай и в дальнем конце комнаты увидел единственного человека, одиноко сидевшего на сцене с темной головой, безнадежно опущенной в ладони. На рваном занавесе героические крестьяне со своими лопатами бодро шагали к победе. Дверь за мной закрылась, и на этот звук он поднял голову, словно очнувшись ото сна, и посмотрел на меня. В тусклом свете, проникавшем через занесенные снегом окна, я узнал изможденное, заросшее бородой лицо Константина Абрамовича Чечеева, которое выглядело на десяток лет старше, чем на его первой, сделанной тайком, фотографии.

Глава 15

– Вы Крэнмер, – сказал он. – Друг Ларри. Его второй друг. Тим, великий английский мастер шпионажа. Его мелкобуржуазная судьба.

Его голос был голосом бесконечно уставшего человека. Он провел ладонью по подбородку, заставив меня вспомнить моих мюридов.

– О, Ларри все рассказал мне о вас. Всего не сколько месяцев назад, в Бате. «ЧЧ, ты крепко сидишь на стуле? Тогда хлебни виски, я сейчас сделаю признание». Я был удивлен, что ему еще есть в чем признаваться. Вам знакомо это чувство?

– Даже слишком знакомо.

– И он сделал признание. Я был потрясен. Я был идиотом, конечно. Что тут удивительного? Если я предал свою страну, почему он не мог предать свою? Я выпил еще виски, и потрясение прошло. Хорошее было виски. «Глен Грант» от «Берри бразерс энд Радд». Очень старое. Потом я рассмеялся. И смеюсь до сих пор.

Но ни его изможденное лицо, ни его бесцветный голос не свидетельствовали об этом: я видел перед собой смертельно уставшего и, я сказал бы, ненавидящего себя человека.

– Кто Бэйрстоу? – спросил он.

– Это псевдоним.

– Откуда его паспорт?

– Я украл его.

– У кого?
– Из своей бывшей Конторы. Он был изготовлен для одной операции несколько лет назад. Я сберег его до своей отставки.

– Зачем?
– Для подстраховки.
– От чего?
– От неудачного стечения обстоятельств. Где Ларри? Когда я смогу увидеть его?

Его рука снова погладила подбородок, но на этот раз выразительным жестом недоверия.

– Вы серьезно пытаетесь убедить меня, что вы здесь по личному делу?
– Да.
– И что никто не подослал вас? Что никто не сказал: привези нам голову Петтифера, и мы наградим тебя? Привези нам две головы, и мы наградим тебя вдвойне? Вы действительно здесь один и разыскиваете своего друга и шпиона?

– Да.
– Ларри сказал бы, что это чушь собачья. Поэтому и я скажу то же. Чушь собачья. В моей стране не очень принято клясться. Мы слишком серьезно воспринимаем оскорбления, чтобы верить клятвам. Но все равно это чушь собачья. Бред сивой кобылы.

Он сидел за столом, выставив вперед одну ногу, одинокой фигурой на пустой сцене, и смотрел в сторону от меня на плакаты с фигурами рабочих на стене. На столе стояла зажженная свеча. Другие свечи горели на полу на некотором расстоянии друг от друга. Я увиделдвигающуюся тень и понял, что мы не одни.

– Как поживает великий и добрый полковник Зорин? – спросил он.
– Он здоров и шлет вам привет. Он хочет, чтобы вы сделали какое-нибудь публичное заявление о том, что это вы украли эти деньги для вашего дела.

– Так вас, наверное, послали они все, и англичане, и русские? В духе новой великой Антанты?

– Нет.
– А может быть, вас послала единственная настоящая сверхдержава? Мне это пришлось бы по душе, Америка – большой полицейский с большой дубинкой. Он карает воров, подавляет восстания, восстанавливает порядок, сохраняет мир. Войны не будет, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Помните этот анекдот времен «холодной войны»?

– Я не помнил, но сказал, что помню.
– Русские просят у Запада денег на сохранение мира. А этот анекдот слышали?

– Кажется, я читал что-то в этом роде.
– Это правда. Это анекдот из жизни. И Запад дает их. Это анекдот еще похлеще. На сохранение мира в бывшем Советском Союзе. Запад дает эти деньги, Москва дает солдат и обеспечивает этнические чистки. И на кладбище все спокойненько, все довольны. Сколько вам заплатили?

– Кто?
– Те, кто вас послал?
– Меня никто не посылал. Соответственно, ничего и не заплатили.
– Значит, вы на свой страх и риск. Свободный охотник в духе свободного предпринимательства. Вы здесь представляете рыночную стихию. И сколько же мы двое стоим на свободном рынке, Ларри и Чечеев? Контрактом вы запаслись? Ваш адвокат оформил сделку?

– Никто мне не платит, и никто меня не посылал. Никто мной не командует, и отчетов я никому не даю. Я приехал сюда по своей воле, чтобы найти Ларри. Я не стал бы продавать вас, даже если бы я смог это сделать. Я – агент на свободе.

Он вытащил из кармана фляжку и отхлебнул из нее. Она была невзрачна и потерта, но по виду это была такая же фляжка, как и та, что подарил мне Зорин, с той же самой алой эмблемой его бывшей службы.

– Я ненавижу свое имя. Свое грязное, проклятое имя. Если бы они выжгли его на мне каленым железом, я не ненавидел бы его больше.

– Почему?

– «Эй, черножопый, как насчет Чечеева?» «Нет проблем», сказал я. «Это имя черножопого, но не *слишком*. И звучит отлично». Любой другой ингуш, если назвать его черножопым, убьет вас на месте. А я? Я наемник, я шут. Их белый негр. Я произношу их оскорбления еще до того, как они откроют рот. «А как насчет Константина?», спрашивают они. «Нет проблем», отвечаю я. «Великий император, знаменитый блядун». Но особой потехой для них было отчество. «Слушай, черножопый, давай-ка мы сделаем тебя немного евреем, – сказали они, – это собьет их со следа. У Абрама было много сыновей. Одним больше, одним меньше – он не заметит». Поэтому я черножопый, и я еврей, и я все еще улыбаюсь.

Но он не улыбался. Он был в яростном отчаянии.

– Что вы сделаете, если я найду его? – спросил он, вытирая горлышко фляжки рукавом.

– Скажу ему, что он пошел по дороге несчастий и увлек за собой свою девушку. Скажу ему, что в Англии из-за него уже убиты три человека.

Он оборвал меня.

– Три? Уже *три*? Помните любимый анекдот Сталина? Когда в автокатастрофе погибают трое, это национальная трагедия. Но когда целый народ выслан и половина его погибла, это статистика. Сталин был великий мужик. Куда до него Константину.

Но я решительно продолжал:

– Они совершили грандиозное мошенничество они занялись незаконной торговлей оружием, они поставили себя вне закона...

Он поднялся и с заложенными за спину руками встал посреди сцены.

– Какого *закона*? – спросил он. – Какого закона скажите на милость? Какой *закон*, скажите мне, Ларри нарушил?

Я начинал терять терпение. Холод делал меня отчаянным.

– Каким *законом* вы тычете мне в нос? Британским законом? Русским законом? Американским законом? Международным законом? Законом Объединенных Наций? Законом тяготения? Законом джунглей? Я не понимаю этих законов. За этим послали вас они – ваша Контора, моя Контора, такой чувствительный и такой добрый полковник Зорин, – чтобы читать *мне* лекции о законе? Они нарушили все свои законы, которые сами же и написали! Они не сдержали ни одного своего обещания нам. Любое их похлопывание по плечу за последние триста лет было ложью! Они убивают нас в деревнях, в горах, в долинах, и они хотят, чтобы *вы* рассказывали *мне* о законе?

Его гнев подхлестнул мой собственный.

– Никто не посылал меня, вы слышите? Это я нашел дом на Кембридж-стрит, это я услышал, что вы посещали Ларри в Бате, это я все это сопоставил, это я отправился на север и обнаружил трупы. И это мне потом пришлось бежать за границу.

– Почему?

– Из-за вас. Из-за ваших интриг. И Ларри. И Эммы. Из-за того, что меня заподозрили в пособничестве ЧЧ. Меня едва не арестовали, как Зорина. Из-за вас. Мне нужно его видеть. Я люблю его. – И, как настоящий англичанин, я поспешил уточнить: – Я ему обязан.

Обернуться меня заставил шорох из тени, а может быть, просто желание отвести глаза от его яростного взгляда. У двери сидели Магомед и Исса, наклонив головы друг к другу и наблюдая за нами. Двое других сторожили у окна, а третий на примусе готовил чай. Я снова посмотрел на Чечеева. Его усталый взгляд был все еще устремлен на меня.

– Вам, наверное, не давали пощечин, – предположил я, опасаясь, что могу спровоцировать его на действия. – Могу я поговорить с кем-нибудь, кто может мне сказать «да» вместо «нет»? Может быть, вы отведете меня к вашему главному вождю? Может быть, вы отведете меня к Башир Хаджи и позволите мне поговорить с ним?

Произнеся это имя, я почувствовал, что в комнате сразу возникло напряжение, словно воздух разом сгустился. Уголкем глаза я заметил, что страж у окна повернул в нашу сторону голову, и ствол его «Калашникова» повторил это движение.

– Башир Хаджи мертв. С ним убиты многие наши люди. Мы не знаем, кто. У нас траур. Похоже, это не делает нас добрее. Возможно, что у вас траур тоже.

Смертельная усталость овладела мной. Казалось, что дальше бороться с холодом бесполезно. Чечеев стоял, прислонившись к стене в углу сцены с руками в карманах, и его бородатая голова тонула в воротнике его длинного пальто. Магомед и Исса впали в своего рода транс. Только молодые люди у окон не казались заснувшими. Я попытался заговорить, но язык не слушался меня. Но я, наверное, все-таки сказал все, потому что я услышал ответ Чечеева, не помню, по-английски или по-русски.

– Мы не знаем, – повторил он. – Это случилось в деревне высоко в горах. Сначала говорили, что двадцать, теперь говорят, что двести. Трагедия стала статистикой. Русские применили оружие, о котором мы прежде не слышали. Это все равно что с ружьем против бомбардировщика. Ты не успеваешь даже выстрелить, а они уже изжили тебя. Люди кругом так напуганы, что разучились считать. Хотите?

Он протянул мне фляжку. Я сделал долгий глоток.

Как-то неожиданно наступили сумерки, и мы сидели вокруг стола, ожидая продолжения поездки. Чечеев сидел во главе стола, а я рядом с ним, озадаченный охватившими меня чувствами.

– А все его дивные субагенты, – сказал он, – это вы придумали их?

– Да.

– Вы лично? Это была ваша профессиональная выдумка?

– Да, – сказал я.

– Неплохо. Для мелкобуржуазного обывателя совсем неплохо. Возможно, что в душе вы художник больше, чем думаете сами.

Я вдруг ощутил близость Ларри.

Магомед возился с армейским приемником. Он оживал только ненадолго и торопливой скороговоркой. Исса сидел, положив руки на свой

«Калашников». Чечеев сидел, обхватив голову ладонями и вглядываясь в темноту полузакрытыми глазами.

– У нас вы не найдете исламских демонов, – сказал он по-английски, обращаясь не то к себе, не то ко мне. – Если вас прислали за нами, забудьте про это. У нас нет ни фундаменталистов, ни сумасшедших, ни бомбометателей, ни мечтающих об исламском сверхгосударстве. Спросите Ларри.

– А что Ларри делает у вас?

– Вяжет носки.

На некоторое время он, казалось, погрузился в свои мысли.

– Хотите еще одну шутку? Мы – мирный народ.

– Случайного наблюдателя можно извинить за то, что он, однако, этого не заметил.

– Евреи живут среди нас сотни лет, спросите Константина Абрамовича. Им рады. Просто еще один род. Еще одна секта. Я не хочу сказать, что нас нужно благодарить за то, что мы не преследуем их. Я говорю, что мы мирный народ и в нашей истории масса тому примеров, хотя никто не ставит нам этого в заслугу.

Мы наслаждались достигнутым перемирием, как два вымотанных боксера.

– И вы никогда не имели подозрений относительно Ларри, – спросил я, – в глубине души?

– Я был чиновником. Ларри был первосортным товаром. Половина маразматиков Президиума ЦК КПСС читала его отчеты. Вы что, хотите, чтобы я первым пошел к ним и сказал, что Петтифер бяка и что бяка он уже двадцать лет, – я, черножопый, которого едва терпят?

Он вернулся к своим отрывочным размышлениям.

– Ладно, пусть мы злобные дикари. Но не такие же злобные, как казаки? Казаки – звери. Но не такие плохие, как грузины. Грузины хуже казаков. И уж точно не такие плохие, как русские. Скажем так: у ингушей избирательный подход к добру и злу. Мы религиозны, но не настолько, чтобы не быть мирянами.

Он клюнул носом, но резко вздернул голову.

– И если какой-нибудь сумасшедший полицейский попытается утвердить среди нас Уголовный кодекс, то половина из нас окажется в тюрьме, а другая половина будет с автоматами Калашникова в руках пытаться освободить их. – Он отпил из фляжки. – Мы – горстка непокорных горцев, которые любят Бога, пить, воевать, хвастать, красть, немного подделывать деньги, немного приторговывать золотишком, исполнять кровную месть, и нас не организовать в группу, где больше одного человека. Хотите еще?

Я снова взял у него фляжку.

– Союзы, политика – забудьте о них. Вы можете сегодня обещать нам что угодно, завтра нарушить свое слово, и послезавтра мы поверим вам снова. У нас неслыханная диаспора и мучения, которых вам не покажут по телевизору даже со специальной антенной. Мы не любим сыщиков, у нас нет потомственных лордов, и за тысячу лет мы не породили ни одного деспота. За Константина!

Он выпил за Константина, и некоторое время мне казалось, что он уснул, но вдруг его голова снова вздернулась, и он показал на меня пальцем.

– И когда ваши западные беложопые решат раздавить нас – а вы решите, мистер Тимоти, решите, потому что вы суете свой английский нос во все, – то часть из вас умрет. Потому что у нас есть то, за что вы не раз сражались, когда были мужчинами. Спросите у Ларри.

Радио вдруг заверещало, Магомед вскочил на ноги, Исса отдал приказ молодым людям у окна. Чечеев повел меня к двери.

– Ларри все знает. Или знал.

Автобус вез нас: Магомеда, Иссу, двух мюридов, Чечеева и меня. Армейский автобус с маленькими окошками и чьим-то багажом на крыше. Таблички спереди и сзади говорили, что это автобус маршрута 964. Вел его толстяк в армейской форме, мюриды в кожаных куртках сидели за ним, опустив свои «Калашниковы» в проход между сиденьями. В нескольких рядах за ними сидели Магомед и Исса, перешептываясь по-воровски. Толстяк гнал машину и, казалось, получал удовольствие, прижимая другие машины к обочине обледелой сельской дороги.

– Для черножопого я был смышленным малым, – признался мне Чечеев, неуверенно протягивая мне свою выдавшую виды фляжку и снова забирая ее. Мы сидели на самой задней скамейке. Мы говорили по-английски, и только по-английски. У меня было ощущение, что русский он воспринимал как язык врага. – А вы были смышленным малым для беложопого.

– Не слишком-то смышленным.

В освещавшем салон синем свете его изможденное лицо казалось посмертной маской. Его устремленные на меня глаза в глубоких глазницах выражали яростную зависимость.

– Вы когда-нибудь были на грани потери рассудка? – спросил он.

Я не ответил. Он отпил из фляжки. Я передумал и отпил тоже, чувствуя себя на этой грани.

– Знаете, что я сказал ему, когда мой шок прошел? Ему, Ларри? После того, как он сказал мне: «Я дитя Крэнмера, а не твое»?

– Нет.

– Почему я рассмеялся?

Он и сейчас рассмеялся отрывистым сухим смехом.

– Знаешь, сказал я ему, до октября девяносто второго я не помнил, что я ненавижу русских. А сегодня всякий, кто шпионит за Москвой, – мой друг.

Ларри мертв, подумал я. Убит вместе с Баширом Хаджи. Застрелен при попытке к бегству от своей мелкобуржуазной судьбы.

Он лежит в воде, и уже неважно, лицом вверх или вниз.

Его смерть – трагедия, а не статистика. Он нашел свою байроническую смерть.

Чечеев произносит еще один свой горький монолог. Он поднял воротник и обращается к сиденью перед собой.

– Когда я вернулся в родное селение, мои друзья и родные все еще любили меня. Ладно, я был гэбэшником. Но я не был гэбэшником дома, в Ингушетии. Мои братья и сестры гордились мной. Ради меня они забыли, что ненавидят русских. – Он печально усмехнулся. – Возможно, это другие русские выслали нас в Казахстан, говорили они. Возможно, они никогда не стреляли в нашего отца. И потом посмотрите, они выучили нашего великого брата, они сделали его западным человеком. Меня тошнило от такой доброты. Разве они не слушали проклятого радио, не читали проклятых газет? Почему они не забросали меня камнями, не застрелили, не зарезали, почему они не кричали мне в лицо: «Предатель!» Кто захочет, чтобы его любили, если он предал свой народ? Вы можете это понять? Кого предали *вы*? Всех. Но вы англичанин, и все в порядке.

Он говорил возмущенно.

– И, когда великая советская империя шлепнулась на свою белую задницу, вы знаете, что они стали делать, мои друзья и родные? Они стали утешать меня! Они просили меня не переживать! «Этот Ельцин, он хороший парень, ты увидишь. Теперь, когда нет больше коммунистов, Ельцин вернет нам справедливость».

Он снова отпил, шепча себе какие-то оскорбления.

– И знаете что? Я сказал им, что это те же глупые сказки, которыми они тешили себя, когда к власти пришел Хрущев. Сколько раз можно быть такими идиотами? Вы собираетесь слушать их. Зорина. Всех этих Зориных. Сидят в столовой. Переходят на шепот, когда белый негр оказывается слишком близко. Советская империя еще не сдохла, а Российская уже выкарабкивается из могилы. Украина золотая – ушла! Наше бесценное Закавказье – ушло! Наша любимая Прибалтика – ушла! Смотрите, смотрите, зараза пошла на юг! Наша Грузия – уходит! Нагорный Карабах – уходит. Армения, Азербайджан – уходят! Чечня – ушла! Весь Кавказ уходит! Уходят наши ворота на Ближний Восток! Уходит наш путь к Индийскому океану! Наш турецкий фланг оголен! Все насилуют матушку-Россию! – Автобус замедлил ход. – Притворитесь, что спите. Наклоните голову и закройте глаза. Покажите им вашу красивую папаху.

Автобус остановился. Через распахнутую дверь дохнуло морозным воздухом. Чечеев рванулся вперед. Из-под опущенных век я увидел, как в автобус вошел человек в длинном сером пальто и крепко обнял Чечеева. Я слышал тихий шепот и видел, как толстый пакет перешел из рук в руки. Человек в пальто исчез, дверь захлопнулась, и автобус тронулся. Чечеев остался стоять рядом с водителем. Мы проехали мимо бараков и через залитое светом футбольное поле. Люди в тренировочных костюмах на снегу играли в футбол. Мы миновали столовую, и в окнах я видел русских солдат, ужинающих под лампами дневного света. Для меня они были теперь врагами в совершенно новом смысле. Водитель вел автобус не спеша, мы ни от кого не бежали и никуда не спешили. Чечеев стоял возле выхода с рукой, опущенной в карман. Впереди возник контрольный пост. Красно-белый шлагбаум перегораживал нам дорогу. Двое мюридов положили свои «Калашниковы» на колени. Шлагбаум поднялся.

Резко прибавив скорость, мы двинулись к темному краю летного поля, двигаясь по черной колее в снегу. У меня было ощущение, что в любой момент по автобусу могли начать стучать пули. В свете наших фар вдруг возник старенький двухмоторный транспортный самолет с открытой дверцей и опущенной на землю лесенкой. Наш автобус затормозил рядом с ним, и мы выпрыгнули в морозную ночь. Пули не летели нам вдогонку. Винты самолета вращались, посадочные огни горели. Из кабины на нас в ожидании смотрели три белые физиономии. Я поспешил вверх по хлипкой лесенке, по привычке запомнив номер на хвосте, но тут же обозвал себя идиотом. Кузов самолета был пуст, если не считать нескольких коричневых картонных коробок, перевязанных шпагатом, и стальных чашек сидений, прикрепленных к боковым стойкам. Самолет пробежал по земле, взлетел, потом моторы сбавили обороты, и мы снизились. За окном в призрачном лунном свете я увидел на склоне холма трехглавую церковь. Самая большая ее луковка была позолочена, остальные две стояли в лесах. Мы снова набрали высоту и заложили такой крутой вираж, что я подумал, что мы перевернемся.

– Магомед травил вам эти байки про английское пророчество? – выкрикнул Чечеев, плюхаясь на сиденье рядом со мной и протягивая мне фляжку.

– Да.

– Эти лопухи верят любым сказкам.

Ларри, подумал я. Это путешествие в твоем вкусе. *Долетел до Баку. Пешочком по берегу, потом поворачиваешь налево. Проще пареной репы.* Опасность вселила в меня спокойствие. Если Ларри пережил эту дорогу, то он вынесет все.

Скорчившись в своей стальной чашке, Чечеев рассказывал о той осени, два года назад.

– Мы думали, что русские стрелять не будут, что такое не повторится. Ельцин не Сталин. Конечно, он не Сталин. Он Ельцин. У осетин были танки и вертолеты, но русские все равно пришли, чтобы уж наверняка осетин никто не тронул. Пропагандистская машина у них что надо. Ингуши – кровожадные дикари, русские и осетины – добрые полисмены, хорошие ребята. Думаю, я мог бы назвать великих ученых, которые писали все это. Осетины показали нам небо с рогожку, а русские стояли рядом и посмеивались, когда шестьдесят тысяч ингушей бежали, спасая свою жизнь. Большинство русских были терскими казаками, и они особенно злорадствовали. Русские привезли еще осетин с юга, где они уже подвергались этнической чистке со стороны грузин, так что они знали, как такие чистки делаются. Русские блокировали весь район танками и объявили в Ингушетии чрезвычайное положение. Не в Осетии, а в Ингушетии, потому что осетины культурные ребята, старые помощники Кремля, христиане.

Он отпил и снова предложил мне фляжку. Я отстранил ее, но он этого не заметил.

– Именно тогда вы и ушли из разведки, – предположил я, – и вернулись домой.

– Ингуши обращались ко всему миру, но мир чертовски занят, – продолжал он, словно не слыша меня. Он перечислил причины, по которым мир оказался так занят. – И кто, в конце концов, эти ингуши? А, да это задворки России. Потом, послушайте, все это дробление России зашло слишком далеко. Пока мы ломаем *экономические* границы, эти этнические психи воздвигают национальные границы. Это диссиденты, разве не так? Они мусульмане, ведь правда? И уголовники. И речь не о русских уголовниках, а об уголовниках настоящих, черножопых. Они не знают, что значит законность для больших стран? Так пусть Борис покажет им это.

Моторы нерешительно закашлялись и продолжили на более низкой ноте. Мы стали снижаться.

– Они справятся с этим, – сказал он. – За полгода. Никаких проблем. Будут военные действия. Несколько голов отлетят дальше своих тел. Будут сведены кое-какие старые счета. Если бы не русские, этим пришлось бы заниматься нам.

– Мы идем на посадку или падаем? – спросил я.

У меня время от времени повторялся кошмарный сон: я лечу ночью в самолете, который петляет между зданиями во все сужающемся коридоре. Сейчас этот сон я видел наяву, только на этот раз мы петляли между маяками, направляясь к черному склону холма. В этом склоне возник пробел, мы летели в освещенном посадочными огнями туннеле, и посадочные огни были выше нас. По одну сторону от нас бежала дорожка красных, по другую

сторону – зеленых огней. За ними лежала неглубокая бетонированная котловина со стоящими за проволочным ограждением истребителями, пожарными машинами и бензовозами.

Отрешенное настроение Чечеева сразу покинуло его. Он протрезвел еще до того, как мы начали выруливать по летному полю. Он открыл дверцу самолета и выглянул наружу. Двое мюридов стояли за его спиной. Магомед сунул мне в руку пистолет. Я засунул его за пояс. Мирянин Исса стоял по другую сторону от меня. Летчики напряженно смотрели перед собой. Моторы нетерпеливо ревели. Из темноты нам дважды мигнули две фары. Чечеев спрыгнул на бетон, мы последовали за ним и рассыпались веером, образовав наконечник стрелы, острием которого был Чечеев, а краями – мюриды. Мы торопливо продвигались вперед, и мюриды держали под прицелом наши флаги. У основания длинного склона нас ждали два грязных джипа. Когда Магомед и Исса подсаживали меня под локти через заднюю стенку второго джипа, я увидел, как наш потрепанный транспортный самолет выруливал на взлет. Джипы взобрались по склону и мимо безлюдного контрольного поста направились по бетонной дороге. На перекрестке мы пересекли заезженный островок безопасности и свернули на то, что я по местным меркам называл бы главной дорогой. Дорожный указатель сообщал по-русски, что до Владикавказа 45, а до Назрани 20 километров. В воздухе пахло навозом, сеном и Ханибруком. Я вспомнил, как Ларри в своей широкополой шляпе и деревенской блузе собирал виноград и распевал «Зеленые рукава» к восторгу девиц Толлер и Эммы. Я вспомнил его плавающим не то лицом вверх, не то лицом вниз. И подумал, что он снова жив после того, как я убил его.

Наше убежище представляло собой два домика на огороженном белой стеной дворе. В стене было двое ворот, одни на улицу, другие на открытое пастбище. За пастбищем поднявшаяся на звездное небо луна освещала склоны холмов. Над холмами высились горы и снова горы. На склонах холмов тут и там мерцали огоньки далеких селений.

Мы были в гостиной с коврами на полу и накрытым клеенкой столом в центре. На стол собирали две женщины с платками на головах, как я догадался, мать и дочь. Хозяин, плотный мужчина лет шестидесяти, что-то серьезно говорил, пожимая мою руку.

– Он говорит, что приветствует вас, – сказал Чечеев без своего обычного цинизма. – Он говорит, что очень польщен вашим присутствием здесь и что вы должны сесть рядом с ним. Он говорит, что мы сами сражаемся за себя и что нам не нужно посторонней помощи. Но если англичанин хочет нам помочь, то мы признательны ему и благодарим Бога. Он искренен в каждом своем слове, поэтому улыбнитесь и примите вид английского короля. Он суфист, и его авторитет здесь непререкаем.

Я сел рядом с ним. Пожилые заняли места за столом, молодые остались стоять, а женщины подавали хлеб, мясо с чесноком, чай. На стене висела фотография Башира Хаджи. Такая же, как на Кембридж-стрит, только без надписи чернилами в углу.

Молодые в почтительном молчании слушали, а Чечеев переводил слова нашего хозяина:

– На селение напали ночью. Оно пустовало многие годы с тех пор, как русские ворвались в дома и переселили жителей в долину. Раньше мы всегда могли спастись в горах, но сегодня у них техника. Они обстреляли селение ракетами, а потом высадились из вертолетов. Не знаю, были это русские или

осетины, скорее всего, и те, и другие. – От себя Чечеев добавил: – Осетины ублюдки, но это наши ублюдки. Мы всегда сочтемся с ними по-своему.

Он продолжал переводить:

– Люди из соседних деревень рассказывают, что слышали громовые раскаты и видели вспышки в небе. Он говорит, это были *бесшумные* вертолеты. Крестьянские сказки. Тот, кто придумает бесшумный вертолет, станет хозяином мира.

Он не изменил ни голоса, ни темпа рассказа, от перевода перейдя к своим собственным мыслям:

– Суфисты здесь единственная сила, способная противостоять русскому вызову. Они – хранители местного сознания. Но, когда дело доходит до оружия и выучки, они беспомощны, как перевернутая черепаха, вот почему им и нужны Исса, я и Ларри.

Он вернулся к переводу:

– Одна женщина была на похоронах своей матери в десяти километрах отсюда. Возвратясь, она нашла всех мертвыми. Она повернулась и пошла снова в селение, где она похоронила свою мать. На следующий день оттуда пришла группа мужчин. Они омыли останки тех, кого смогли разыскать, произнесли над ними положенные слова и похоронили, как велят наши обычаи. Башир был обезображен ножами, но они узнали его. Наш хозяин говорит, что мы были преданы.

– Кем?

– Он говорит, что предателем. Осетинским шпионом. Это все, что ему известно.

– А вы что об этом думаете?

– Выслежены со спутника? Сняты тайной камерой? Подслушаны тайными микрофонами? Я могу назвать целый список современных средств, с помощью которых мы могли быть преданы.

Я открыл рот, чтобы спросить, но он опередил мой вопрос.

– Других подробностей нет. И было бы невежливо вытягивать их из него.

– Да, но европейца... – Я осекся, вспомнив черный вихор Ларри, не отличавшийся от вихров, которые я видел сейчас вокруг, и его кожу, ставшую на солнце коричневой, а не розовой, как у меня.

Магомед произносил вечернюю молитву.

– Мы убьем каждого из них, – переводил мне Чечеев среди тихого одобрительного хора окружающих во главе с нашим хозяином. – Мы узнаем имена пилотов вертолетов, тех, кто планировал эту операцию, того, кто командовал ею, тех, кто участвовал в ней, и с Божьей помощью убьем их всех. Мы будем убивать русских до тех пор, пока они не сделают то, что обещал Ельцин: выведут свои танки, и орудия, и вертолеты, и ракеты, и солдат, и чиновников, и шпионов за Терек и дадут нам самим решать наши проблемы и управлять собой в мире. Такова воля Божья. Знаете что?

– Да?

– Я ему верю. Я был идиотом, на двадцать лет взяв отпуск от самого себя. Теперь я вернулся домой, и мне жаль, что я вообще уезжал отсюда.

Гостиная напоминала лазарет нашего колледжа во время эпидемии кори в Винчестере: у всех стен койки, на полу циновки и ночные горшки. Один мюрид стоял у окна, следя за дорогой, пока другой спал. Вокруг меня один за другим мои спутники засыпали. Иногда Ларри что-то говорил мне, но я не вслушивался в его слова, потому что слишком хорошо знал их. Черт тебя возьми, просто останься живым для меня, предупредил я своего агента.

Просто останься живым, это приказ. Ты жив для нас, пока я не узнал, что ты умер. Однажды ты уже пережил смерть. Сделай это теперь еще раз, и *заткнись*, пожалуйста.

Часы шли, я слышал крики петухов, бление овец и гнусавое пение муэдзина по громкоговорителю. Я слышал, как мимо прогоняли стадо. Я встал, подошел к дежурившему у окна мюриду и снова увидел горы и над ними еще горы, и вспомнил, как Ларри в письме к Эмме поклялся, что бросил свою бурку здесь, по дороге на Владикавказ, и что будет сражаться здесь до конца. Я видел, как в предрассветной мгле женщины вели коров по двору. Мы быстро позавтракали, и по настоянию Чечеева я дал по десять долларов каждому ребенку, вспомнив при этом черного мальчишку, отслеживавшего меня на Кембридж-стрит.

– Если вы собрались играть роль английского пророка, то вам лучше оставить о себе хорошие воспоминания, – сухо пошутил он.

Было еще темно. Мы ехали сначала по главной дороге, потом по расширяющейся долине, пока дорога наконец не превратилась в усеянное валунами поле. Передний джип остановился, и мы подъехали к нему. В свете фар я видел пешеходный мостик через реку и круто поднимающуюся вверх тропинку на том берегу. Возле самой реки нас ждали восемь уже оседланных лошадей, старик в высокой папахе, сапогах и бриджах и стройный мальчик-горец с глазами, горящими ожиданием. Я снова вспомнил письма Ларри к Эмме и помолился, вслед за Негли Фарсоном, чтобы мне было позволено взять Кавказ под свою защиту.

В сопровождении одного из мюридов первым отправился в путь мальчик. Мы дождались, пока стук копыт их коней не растворился в темноте. Следующим двинулся вперед наш проводник, за ним Чечеев, потом я. Исса, Магомед и второй мюрид замыкали колонну. К пистолету, который дал мне Магомед, он добавил ремень для патронов с кобурой и металлическими кольцами для гранат. Я было отказался от гранат, но Чечеев сердито скомандовал:

– Возьмите эти чертовы штуки и прицепите их. Мы рядом с осетинской границей, рядом с Военно-Грузинской дорогой и рядом с русскими лагерями. Здесь вам не Сомерсет.

Он наклонился к нашему старику-проводнику, и тот что-то прошептал ему на ухо.

– Он сказал, что надо говорить тихо и только при необходимости. Без нужды не стрелять и не останавливаться, не зажигать огня и не ругаться. Вы справитесь с лошадью?

– Справлялся, когда мне было десять.

– Не бойтесь грязи и крутых мест. Лошадь знает дорогу, на нее можно положиться. Не наклоняйтесь. Если испугаетесь, не смотрите вниз. Если на нас нападут, сдаваться никто не будет. Это традиция, так что, уж пожалуйста, не нарушайте ее. В крикет мы здесь не играем.

– Благодарю.

Они снова пошептались с проводником, и оба мрачно рассмеялись.

– А если захотите помочиться, потерпите, пока мы не убьем парочку русских.

Мы ехали четыре часа, и, если бы я не боялся того, что ждало меня впереди, дорога испугала бы меня. Спустя десять минут после начала пути внизу, в тысяче футов под нами показались огни деревень, а рядом с нами высилась черная стена горы. Стоявшие у меня перед глазами истерзанные

тела порождали у меня странное чувство самоотречения: неважно было все, что могло случиться со мной на моем пути к ним. Небо посветлело, среди облаков возникли черные пики, над ними возвышались снеговые шапки, и мое сердце взволнованно забилося при виде этой величественной картины. Обогнув скалу, мы увидели стадо овец с черной густой шерстью, пасшееся на склоне ниже нас. Двое пастухов сидели под грубым навесом, греясь у костра. Глубоко сидящими глазами они оценивающе оглядели наше оружие и наших коней. Мы подъехали к перепутанному лианами лесу, но он был по одну сторону от нас, а по другую в пропасти лежала долина, полная клубящегося утреннего тумана, дуновений ветра и птичьих криков. От высоты у меня кружится голова, и я должен был бы падать в обморок при каждом взгляде в бездну между скользящими шагами моей лошади, при каждом взгляде в узкое извилистое дно долины, при каждом взгляде на осыпающуюся каменистую тропу шириной в несколько дюймов, а иногда и меньше, мою единственную опору на горном склоне, и при неземных и удивительно прекрасных звуках водопада, которые можно было, казалось, не только слушать, но и вдыхать и пить. Но молился я не о своем спасении, а о спасении Ларри, и сияющее, ни с чем не сравнимое величие гор влекло меня вверх.

Погода менялась так же неожиданно, как и ландшафт, гигантские насекомые гудели возле моего лица, шлепались о мои щеки и весело утанцовывали прочь. Вот веселые белые облачка приветливо проплывают по голубому альпийскому небу, а минутой позже я тщетно пытаюсь спастись от проливного дождя под сенью огромных буков. А потом я попадаю в знойный июньский Сомерсет с запахами первоцвета, скошенной травы и теплым запахом скота, принесенным из долины.

Все эти внезапные перемены действовали на меня, как перемены в настроении любимого и легкомысленного друга, и иногда этим другом был Ларри, а иногда Эмма. Я буду вашим защитником, вашим другом, вашим союзником, я буду волшебником, осуществившим ваши сны, шептал я про себя проплывающим мимо скалам и лесам. Только сохраните мне живым Ларри, когда я перевалю через гребень последнего холма, и я никогда не буду снова тем, кем был раньше.

Мы въехали на открытое место, и старик-проводник велел нам остановиться и собраться под нависающей скалой. Яростное солнце жгло наши лица, птицы кричали и вились в восторге. Магомед спешил и стал поправлять свою седельную сумку, не спуская глаз с дороги. Исса сидел спиной к нему, прижимая к груди автомат и держа под прицелом дорогу, по которой мы только что поднялись. Лошади стояли с опущенными головами. Из-за деревьев впереди нас подъехал мальчик-горец. Он что-то прошептал старику, и тот коснулся края своей папахи, словно ставя на нее метку.

- Мы можем ехать дальше, – сказал Чечеев.
- А из-за чего мы стояли?
- Из-за русских.

Сначала я не понял, что мы въехали в селение. Я видел широкое плато, похожее на спиленную гору, но оно было покрыто разбитыми камнями, которые напомнили мне вид из моего убежища в Ханибруке. Я видел четыре осыпающиеся башни с вьющимся над ними голубым дымком, и по своему невежеству я решил, что это старинные печи, – на эту мысль меня навели следы копоты на башнях, которые я принял за свидетельство того, что печи топились древесным углем или чем там еще могли топить сто или больше лет

назад сложенные из камня печи в забытых Богом горных селениях на высоте восемь тысяч футов над уровнем моря. Но потом я вспомнил, что эти места знамениты своими древними каменными сторожевыми башнями; вспомнил я и рисунок Эммы, на котором они с Ларри смотрят из окон верхнего этажа.

Я увидел разбросанные по плато темные фигурки, приняв их сначала за пастухов возле своих отар, потом за сборщиков чего-то, потому что, когда мы подъехали ближе, я обратил внимание, что они наклонялись, потом выпрямлялись, потом снова наклонялись, и я подумал, что они одной рукой поднимают что-то, а другой прячут собранное.

Потом в шуме ветра – а ветер на этом диком открытом месте дул с яростной силой – я услышал настойчивый высокий носовой звук, похожий на вой, то более громкий, то тихий, который я попытался приписать какому-то горному животному, то ли полудикой овце, то ли козе, то ли шакалу, а может быть, волку. Я обернулся и увидел силуэт рыцаря в широких черных доспехах, но это была только бородатая фигура Магомеда на коне, который был выше моего на несколько ладоней. На Магомед была местная меховая папаха, расширяющаяся кверху, и, к моему изумлению, традиционная черкеска с широкими плечами и кармашками для патронов на груди. Из-за спины, как большой лук, торчал его «Калашников».

Вой стал громче, и дрожь пробежала по мне, когда я понял, откуда он: это был плач женщин по мертвым. Каждая выла по своему мертвецу, и голоса сливались в страшном диссонансе. Я слышал запах горящего дерева и видел два костра на полпути к склону передо мной, возле которых возились женщины и играли дети. Я смотрел по сторонам, отчаянно надеясь увидеть знакомую позу или знакомый жест, чисто английскую позу Ларри с выставленной вперед ногой и заложенными за спину руками или смахивающее вихор на сторону движение его руки, когда он отдавал приказ или приводил довод в споре. Я надеялся напрасно.

Я видел поднимающийся над кострами дым, который ветер сносил вниз по склону ко мне. Я видел мертвую овцу, висящую головой вниз на дереве. И вслед за запахом костра я услышал запах смерти и понял, что мы прибыли именно туда, куда шли. Сладковатый, навязчивый запах крови и обожженной земли, обращенной к небу. С каждым нашим шагом ветер становился крепче, а завывание громче, словно ветер и женщины заключили между собой союз, и чем сильнее дул ветер, тем больше звука извлекал он из женщин. Мы ехали тесной группой, Чечеев впереди, а Магомед рядом со мной, вселяя в меня уверенность своей близостью. За Магомедом ехал Исса. Исса, великий безбожник, мошенник и мафиозо, по этому случаю надел траурную одежду: кроме высокой папахи на нем была тяжелая накидка, превращавшая его фигуру в пирамиду, но не совсем скрывавшая позолоченные пуговицы его зеленой куртки. Как и у Магомеда, глаза у него свирепо сверкали между кромкой папахи и черной бородой.

Я начал различать функции бродящих среди камней фигур. Не все были в черном, но у всех головы были накрыты. У края плато, на пяточке, равноудаленном от двух самых дальних башен, я разглядел грубо сложенные продолговатые кучи камней в форме гробов, возвышающихся над поверхностью земли и расширяющихся к голове. Я увидел, что передвигавшиеся между ними женщины по очереди наклонялись к этим кучам, припадали к камням, положив на них ладони, и что-то говорили тем, кто был внутри. Говорили тихо, словно боясь разбудить их. Дети держались от них на расстоянии.

Другие женщины чистили овощи, носили воду для котлов, резали хлеб и ставили его на переносные столы. Я понял, что прибывшие раньше нас принесли с собой баранину и другие продукты. Но самая большая группа женщин стояла отдельно плотной группой вокруг того, что было, видимо, разрушенным сараем, и они встречали каждую новую делегацию криками горя и ненависти. Примерно в пятидесяти ярдах от сарая и ниже по склону от него были остатки дома с обгоревшей оградой. Над ним возвышалась опора крыши, и в него вел проем двери, хотя ни двери, ни самой крыши не было, а его стены были так изрешечены, что трудно было назвать их стенами. Тем не менее каждый из вновь прибывших мужчин входил в эту дверь, приветствовал находившихся внутри, здоровался за руку и обнимался с каждым, молился, потом садился и говорил с хозяевами. Потом выходил из дома с серьезностью, освященной столетиями. Все, подобно Магомеду и Иссе, были одеты согласно традиции: мужчины в высоких папах и бриджах фасона двадцатых годов, мужчины с широкими кавказскими ремнями, в сапогах по колено и с золотыми часовыми цепочками, мужчины в шапочках с белыми или зелеными полосами, мужчины с кинжалами на боку, бородатые священники и один старец, блиставший своей буркой, огромной войлочной попоной, больше напоминающей не плащ, а палатку, под которой по традиции его дети прячутся от непогоды или от опасности. Но, как ни старался, я так и не увидел высокого англичанина с озорным вихром на лбу, с непринужденными манерами и с пристрастием к чужим шапкам.

Чечеев спешил. Сзади меня Магомед и Исса легко соскочили на землю, но Крэнмер после стольких лет пешей ходьбы словно влип в седло. Я попытался освободиться, но мои ступни застряли в стремях. Я так барахтался, пока Магомед, еще раз придя мне на помощь, сперва поднял меня в воздух, потом наклонил в своих руках и поставил на ноги. И поддержал, когда я начал падать. Молодые ребята приняли наших лошадей.

Мы вошли в дом, первым Чечеев и за ним рядом Исса и я. Войдя, мы сразу услышали приветствие по-арабски и увидели, что сидевшие мужчины поднялись навстречу нам, а те, кто стоял, подтянулись, словно по стойке «смирно». Все собрались около нас полукругом, старшие справа от нас. Слева стоял мужчина гигантского роста в свободной куртке и бриджах, который говорил от имени всех. Я понял, что это самый близкий родственник погибших и что у него погибло больше родных, чем у других, хотя на его лице было написано мрачное отрицание печали, напомнившее мне Зорина у койки его умирающей любовницы. И я знал, что как здесь нет приветствий, так не должно быть и проявлений слабости или неуместной печали и что сейчас время стоицизма, мужества, безмолвного единения и мести, но не женских слез.

ЧЧ заговорил снова, и на этот раз я знал, что он призывал к молитве, и, хотя молитва не была прочитана, все мужчины вокруг меня сложили руки чашей и воздели их в причащении, а примерно через минуту опустили глаза, пошевелили губами и одновременно пробормотали «аминь». После молитвы они совершили жест омовения, с которым я теперь был знаком, словно втирая молитву в лицо и одновременно умывая его для следующей. Наблюдая за ними, я осознал, что мои собственные руки повторяют их движения – частично из духовной вежливости, а частично оттого, что эти люди приняли меня, как приняла меня сегодня природа, и я не мог больше сказать, какой их жест мне знаком, а какой нет.

Справа от меня старик сказал что-то по-арабски, что каждый из присутствующих воспринял по-своему, и не как слова, а как движение губ,

подтверждающее «аминь». Я услышал, как Исса заговорил совсем рядом со мной по-английски своим обычным голосом.

– Они благославляют его мученичество, – сказал он.

– Чье? – прошептал я, хотя почему я говорил тихо, когда никто вокруг не понижал голоса?

– Башира Хаджи, – ответил он. – Они просят Бога простить его, быть к нему милостивым и благословить его газават. Они клянутся отомстить. Месть – это наше дело, а не Бога.

– А Ларри – тоже мученик? – спросил я, но не вслух.

Чечеев говорил с великаном и через великана обращался ко всем.

– Он говорит, что наша жизнь или смерть в Божьих руках, – твердо перевел Исса на английский.

Был еще один момент, когда все тихо пробормотали что-то и потом омыли лица. Кому жить? – спросил я. – Кому умереть? Но опять не вслух.

– Что еще он сказал? – спросил я, потому что слово Ларри, которое произнес Чечеев и на которое отреагировали все от гиганта слева до самых старых и уважаемых справа, кинжалом пронзило меня. Некоторые кивали мне, другие качали головами и выражали дружеские чувства, а гигант смотрел на меня с поджатыми губами.

– Он сказал им, что вы друг англичанина Ларри, – сказал Исса.

– Что еще? – настаивал я, потому что гигант сказал несколько слов Чечееву и я услышал «аминь» в цепочке людей.

– Они говорят, что Бог берет к себе самых дорогих и самых лучших, – ответил Исса. – И мужчин, и женщин.

– Так значит, Бог принял к себе Ларри? – выкрикнул я, хотя мой голос прозвучал не громче голосов остальных.

Чечеев повернулся и обратился ко мне. На его искаженном лице были и гнев, и предупреждение. И я понял, что если я не оказал Ларри чести убить его раньше, то я сделал это здесь, в месте, которое дальше от земли, чем Придди, и ближе к небу.

В голосе Чечеева был приказ:

– Они ожидают от вас, что вы будете мужчиной и будете говорить, как мужчина. Скажите по-английски. Всем им. Пусть они услышат ваше мужество.

И я обратился на английском к великану, очень громко, что совершенно против моего характера и привычек. Обратился ко всем вокруг него. Чечеев переводил, а Магомед и Исса стояли за мной. Я сказал, что Ларри был англичанин, любивший свободу больше всего. Он любил храбрость ингушей и разделял их ненависть к убийцам. И что Ларри будет жить, потому что он любил, а умирают те, кто не любит. И что поскольку храбрость всегда идет рука об руку с честью, а обе они – с верностью, то нужно отметить, что в мире, где все труднее сказать, что такое верность, Ларри пытался остаться человеком чести, даже когда для этого нужно было встать и встретить смерть, как воин. Мне пришло в голову, пока я говорил, – хотя я и старался не говорить так много слов, – что если Ларри и вел несправедную жизнь, то он, по крайней мере, встретил праведную смерть.

Я никогда не узнаю, перевел ли Чечеев мои слова верно. И если да, то как их приняла моя аудитория, потому что прибыла еще одна делегация и повторение всего ритуала уже началось.

По пути вверх по склону нас сопровождала ватага маленьких ребятишек, цеплявшихся за руки шагающего Магомеда, в восхищении смотревших на

великого героя и в некотором замешательстве – на меня. Когда мы подошли к сараю, Чечеев вошел в него, а остальные остались стоять на пронизывающем ветру. Здесь, среди женщин, некоторое проявление чувств было, по-видимому, позволительно, потому что, когда Чечеев вернулся к нам с белолицей женщиной и тремя ее детьми и сказал, что это дети Башира, на его глазах я увидел слезы, объяснить которые ветром было нельзя.

– Скажите ей, что ее муж умер смертью мученика, – резко приказал он мне.

Именно так я и сказал, и он перевел. Потом, вероятно, он сказал ей, что я друг Ларри, потому что я снова услышал слово «Ларри». При его упоминании она торопливо обняла меня и так разрыдалась, что мне пришлось поддержать ее. Она все еще плакала, когда он увел ее обратно в сарай.

Нас вел молодой парень. Магомед нашел его на дворе и привел к нам. Мы шагали за ним, прокладывая себе путь среди развалин домов и разбитой мебели, мимо груды обгоревших циновок и ванны из оцинкованного железа, пробитой пулями. Я вспомнил галечный пляж в Сент-Лое в Корнуолле, на который дядя Боб иногда брал меня в каникулы и где я собирал обломки дерева, пока он читал газету.

Несколько мужчин резали овцу, и дети наблюдали за этим. Они связали ей попарно передние и задние ноги, и теперь она лежала на земле головой, я думаю, к Мекке, потому что был спор о том, как ее положить. Потом последовала краткая молитва и ловкий удар ножом. Овца была мертва, и ее кровь стекала по камням на землю, смешиваясь с уже пролитой на нее кровью. Мы прошли мимо костра, на котором в огромном железном котле кипела вода. Мы подошли к сторожевой башне на дальнем конце плато, и я вспомнил страсть Ларри к удаленным местам.

Наш молодой проводник был в длинном дождевике, но он не был ни зеленым, ни австрийским. Когда мы подошли к башне и остановились, он жестом экскурсовода поднял руку к возвышавшимся над нами развалинам и через Чечеева сообщил: он сожалеет, что в результате нападения башня лишилась половины своей первоначальной высоты. Потом он дал красочное описание битвы, которое Чечеев перевел, но я не очень внимательно слушал рассказ о том, что все сражались до последнего патрона и до последнего удара кинжалом, что Бог милостиво взглянет на павших здесь героев и мучеников и что со временем здесь будет место поклонения. Я подумал, как это понравилось бы Ларри: стать святым, имя которого произносят в месте поклонения.

Наконец мы вошли внутрь, но, как часто бывает с величественными монументами, внутри смотреть было особенно не на что, разве что на вещи, упавшие с верхних этажей, потому что первый этаж, по традиции предназначенный под стойло для скота и лошадей, был пуст. Хотя на рисунке Эммы, помнится, в нем была корова. Валялись несколько тарелок, кухонная плита, кровать, несколько лоскутков ткани. Никаких книг, да и трудно было бы ожидать увидеть их здесь. Как и радиоприемник, насколько я понимаю. Скорее всего, нападавшие, окружив селение, расстреляв его и позаботившись, чтобы живых в нем не осталось никого, в том числе и Ларри, затем разграбили его. А может быть, и грабить было особенно нечего. Я поискал себе на память какую-нибудь маленькую вещицу, но здесь действительно не было ничего, что можно было бы сунуть в карман, чтобы скрасить себе когда-нибудь одинокую минуту. Наконец я нашел обгорелый кусочек лакированной соломы пары дюймов длиной и с одним закругленным концом. Солома была отбелена и покрыта лаком. Возможно, что это были

остатки какой-то плетеной вещи – корзинки для фруктов, например, или чего-нибудь еще в том же роде. Но я все равно оставил ее себе в тайной надежде, что это подлинный фрагмент винчестерской плетеной шляпы Ларри.

Здесь же была куча камней, возможно, надгробие, и она находилась на почетном удалении от остальных и на небольшом основании. Ветер свистел над ней, бросая на нее жесткие снежинки, и она, казалось, уменьшалась под моим взглядом. Крэнмер был камерой, куда попал Петтифер, повторил я, но все было так оттого, что на эту могилу я смотрел, как на свою собственную. Чечеев нашел мне пару кусков дерева, а Магомед – кусок проволоки. Не без сомнений, поскольку я столько слышал о том, как Ларри, сын священника, поносил своего Создателя, я соорудил самодельный крест и попытался укрепить его в изголовье могилы. У меня, конечно, ничего не вышло, потому что земля была тверда, как камень. Магомеду пришлось вырубить мне ямку своим кинжалом.

Мертвец хуже живого врага, подумал я.

Ты ничего не можешь сделать с его властью над тобой.

Ты ничего не можешь сделать со своей любовью или со своим чувством вины.

И уже слишком поздно просить его о прощении.

Он обыграл тебя по всем статьям.

Потом я вспомнил то, что сказала мне Ди в Париже и что я постарался не услышать: возможно, вы хотите не *найти* своего друга, а *стать* им.

На ровном месте возле уцелевшего дома мужчины образовали кольцо и стали танцевать, произнося имя Бога. К ним присоединились юноши, и вокруг них столпились люди. Старики, женщины и дети пели, молились и омывали лица руками. Танец становился все более быстрым и все более диким, переноса людей, казалось, в иное время и в иное место.

– Что вы будете делать теперь? – спросил я Чечеева.

Этот вопрос мне следовало бы адресовать себе, потому что Чечеев, конечно, знал, что ему делать. Он отпустил нашего проводника и вел нас быстрым шагом по узкой тропе, ведущей с края плато прямо в бездну. Я осознал, что мы идем по таким теснинам и опасным местам, какие не встречались нам в поездке верхом. Ниже нас, но настолько ниже, что, казалось, на совсем другом уровне земли, возможно, даже совсем не связанном с нашим, крохотная серебристая река текла среди идиллических зеленых лугов, на которых пасся скот. Но здесь, на склоне горы, где завывал ветер и скалы нависали над нами, где место, куда ставилась нога, всегда было меньше ступни, мы были в небесном Гадесе, царстве мертвых, и рай располагался под нами.

Мы обогнули скалу, и еще одна ждала нас. Мы все молча и сознательно шли, я был уверен, к нашей смерти. Мы готовились занять наши места среди мучеников и героических неверных. Я огляделся еще раз и увидел, что мы стоим на поросшей травой площадке, защищенной со всех сторон настолько, что это делало ее похожей на огромную комнату в скале с видом на Апокалипсис из широкого окна. И на траве были те же выжженные пятна, которые я видел на плато, а также следы сапог и вмятины от тяжелых предметов. Неподвижный воздух пещеры пах снова гарью и взрывами.

Мы прошли дальше в глубь пещеры и увидели останки целого арсенала: взорванные и лежащие на боку противотанковые орудия, пулеметные стволы, разорванные пополам умелым взрывом, раздавленные пусковые

установки для ракет. А ведущие к обрыву многочисленные отпечатки ног напомнили мне ферму Айткена Мея, на которой большая часть его легких ковров шутки ради была свалена в одну кучу.

Ветер на плато стих, оставив после себя пронизывающий альпийский холод. Кто-то дал мне пальто, кажется, Магомед. На склоне нас стояло трое: Магомед, Крэнмер и Чечеев. Во дворе уцелевшего дома ниже нас горел костер, вокруг него сидели мужчины всех возрастов и совещались. Исса и наши мюриды были среди них. Вот на ноги вскочил какой-то молодой парень, и Чечеев сказал, что он говорит о мести. Потом бесстрастно говорил старик, и Чечеев сказал, что он рассказывает о высылке и о том, что ничего, ничего не изменилось.

– Вы ей расскажете? – спросил я.

– Кому?

Он действительно, кажется, забыл о ней.

– Эмме. Салли. Его девушке. Она в Париже, ждет его.

– Ей скажут.

– А сейчас о чем они говорят?

– Они обсуждают достоинства покойного Башира. Называют его великим учителем, настоящим мужчиной.

– А он и был таким?

– Когда здесь человек умирает, мы очищаем наши умы от плохих мыслей о нем. Советую и вам делать так же.

До нас донесся голос старика. Чечеев перевел:

– Мечь священна, об этом не может быть споров. Но достаточно ли будет убить пару осетин или пару русских? Нам нужен новый вождь, который спасет нас от порабощения.

– А они знают, кого бы они хотели? – спросил я.

– Об этом он их и спрашивает.

– А вы?

– Вы хотите, чтобы шлюха возглавила монастырь?

Мы прислушались, и он снова перевел:

– Кто у нас достаточно велик, достаточно умен, достаточно храбр, достаточно предан, достаточно скромн?

Почему они не скажут: достаточно безумен, хватило бы этого.

– Так кто же? – настаивал я.

– Это называется тауба. Эта церемония называется тауба. Это значит покаяние.

– А кто кается? Что они сделали плохого? В чем каяться?

Некоторое время казалось, что он не слышал моего вопроса. У меня было ощущение, что я раздражаю его. А возможно, что его мысли, как и мои, были далеко отсюда. Он отхлебнул из фляжки.

– Им нужен мюрид, который знает суфистские каноны и получил религиозное образование, – ответил он наконец, глядя вниз по склону. – А это десять лет работы. Может быть, двадцать. В резидентурах КГБ этому не научишься. Это должен быть мастер медитации. Птица высокого полета. И первоклассный воин.

Голоса становились громче и переходили в крик. Исса стоял близко к центру круга. Пламя костра отразилось в его бородатой щеке, когда он повернулся к нам и подал сигнал. В нескольких шагах ниже нас за ним следил Магомед, на широкой спине которого черкеска собралась складками.

Другие голоса присоединились к голосу Иссы, выражая ему поддержку. Двое мюридов выбежали из круга и бросились к нам. Я слышал, как имя Магомеда стало повторяться, пока наконец все не стали распевать его. Оставив нас с Чечеевым, Магомед медленно двинулся навстречу мюридам.

Началась новая церемония. Магомед сидел в центре круга, где для него был расстелен ковер. Мужчины, старые и молодые, образовали вокруг него кольцо, с закрытыми глазами снова и снова в унисон распевая одно и то же слово. Мужчины в кольце хлопнули в ладоши и в такт пению стали медленно кружиться в танце.

– Сейчас что, говорит Магомед? – спросил я, потому что я мог поклясться, что слышал его голос, возвысившийся над хлопками в ладоши, над молитвой и над топаньем ног.

– Он призывает Божью милость на мучеников, – сказал Чечеев. – Он говорит им, что впереди еще много битв с русскими. И он чертовски прав.

Здесь, не сказав больше ни слова, он повернулся ко мне спиной, словно ему осточертела моя западная никчемность или своя, и направился вниз.

– Подождите! – крикнул я ему.

Но то ли он не слышал меня, то ли не хотел слышать, только он продолжал спускаться, не поворачивая головы.

С наступлением темноты ветер стих. Над горными вершинами засияли огромные белые звезды, вторя земным огням. Я приложил ладони рупором ко рту и снова крикнул:

– Подождите!

Но пение толпы снова стало таким громким, что он не смог бы услышать меня, даже если бы захотел. Еще минуту я постоял один, обращенный в ничто, ни во что не верящий. У меня не было мира, куда бы я мог вернуться, и не к кому было бежать, кроме меня самого. Рядом со мной лежал «Калашников». Закинув его за плечо, я поспешил вниз.